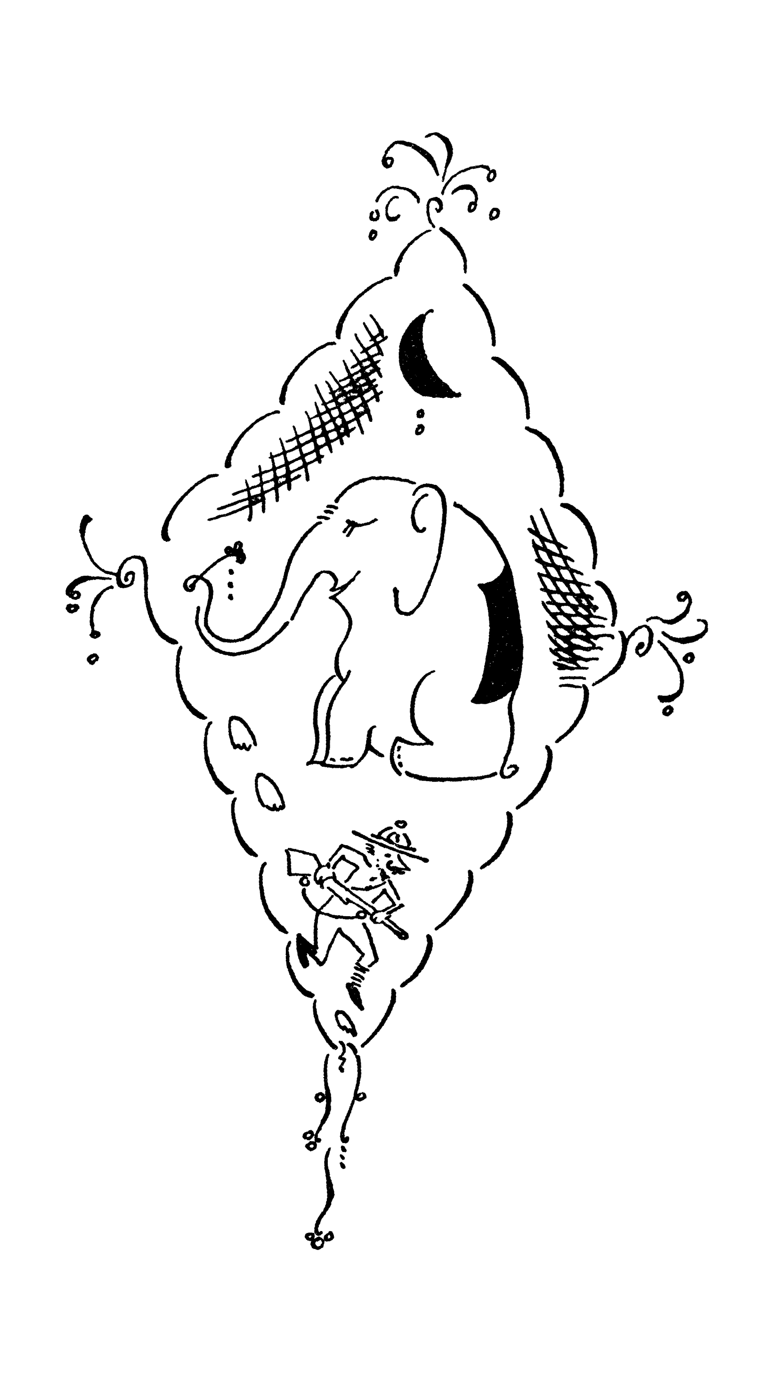
Арк. Аверченко

КРИВЫЕ УГЛЫ

Арк. Аверченко КРИВЫЕ УГЛЫ







КРИВЫЕ УГЛЫ

Рассказы

МОСКВА
· Советская Россия ·
1989

Составление и предисловие **П. Горелова**

Художник **В. Юрлов**

А $\frac{4803010101-354}{М\text{-}105(03)89}$ 207—1989

ISBN 5—268—00867—6



ЧИСТОКРОВНЫЙ ЮМОРИСТ

«Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения».

Так в 1910 году в сборнике «Веселые устрицы» начал изложение своей автобиографии Аркадий Тимофеевич Аверченко.

Если пренебречь точными указаниями часовой и минутной стрелок, то родился он 18 марта 1881 года в городе Севастополе.

Знакомя читателей со своей биографией, Аверченко любил деликатно указывать им еще и на тот факт, что в день его появления на свет звонили в колокола и было вообще народное ликование. Правда, злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником. «...Но я,— искренне удивлялся юморист,— до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?»

Материальное благополучие не грозило семье будущего писателя. Незадачливый предприниматель, Аверченко-старший не обращал на сына никакого внимания, так как — по свидетельству последнего — по горло был занят своими собственными хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться?

«Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым добросовестным способом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и — пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями».

Видимо, нет ничего удивительного в том, что уже с пятнадцати лет Аверченко-сын вынужден был определяться на службу — младшим писцом в транспортной конторе по перевозке кладей.

Он прослужил там недолго и в 1897 году — шестнадцати лет — уехал из родного Севастополя в поселок Исаевский, на каменноугольные рудники.

«Это было для меня наименее подходящим,— вспоминал он впоследствии,— и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь там была выше колен, а в другое время — ниже».

Шутки шутками, но читать воспоминания Аверченко, как, впрочем, и лучшие из его юмористических рассказов, прежде всего — грустно.

«Однажды я ехал перед Рождеством,— вспоминал он,— с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежащих без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.

— Что это такое?— изумился я.

— А шахтеры,— улыбнулся сочувственно возница.— Горилку куповалы у селе. Для божьего праздничку.

— Ну?

— Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!»

«...И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским Мальчиком-с-пальчиком по всему пути».

Вместе с правлением рудников Аверченко, в конце концов, переезжает в Харьков.

Именно там, в Харькове, в 1903 году он начинает свою литературную деятельность: 31 октября в газете «Южный край» появляется его первый рассказ «Как мне пришлось застраховать свою жизнь».

Вскоре он уже редактирует журнал сатирической литературы и юмористики с рисунками — «Штык».

Увлекшийся молодой литератор совершенно забрасывает службу: «...лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор

Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что я немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег...»

Одним словом, начинающий писатель вынужден был перебираться в Петербург.

После столь грозных провинциальных изданий — «Штык», «Меч» («...я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить три номера журнала «Меч»)— в северной столице юмористу пришлось довольствоваться беззубой «Стрекозой» М. Г. Корнфельда.

Знаменитая в свое время «Стрекоза», смешившая в течение четверти века всероссийское купечество, после 1905 года уже никем не читалась.

Вместо нее в конце 1907 года группа сотрудников газеты «Свободные мысли» во главе с А. Т. Аверченко решила организовать новый сатирико-юмористический журнал...

— Хотим и название уничтожить,— говорил Аверченко.— Будем называть — «Сатирикон»...

Впрочем, название редактора заботило мало.

— Важно содержание,— считал он.— Важно: таланты... Дайте материал хороший. Это главное...

В январе 1908 года первый номер «Сатирикона» вышел в свет.

Материал был действительно хороший. В «Сатириконе» блестяще проявилась уникальная способность Аверченко-редактора — его редкое умение объединить вокруг общего дела подлинно талантливых людей.

В журнале сотрудничали художники: Ре-ми (Н. Ремизов), Яковлев, А. Радаков, А. Юнгер, Н. Альтман, А. Бенуа, Д. Митрохин, Л. Бакст, М. Добужинский, И. Билибин; юмористы — Тэффи (Н. Бучинская) и О. Дымов; поэты — Саша Черный, С. Городецкий, О. Мандельштам, В. Маяковский; прозаики — Л. Андреев, А. Куприн, А. Толстой, А. Грин...

Одни эти имена уже говорят сами за себя.

Аверченко-редактор любил и уважал авторскую свободу, а потому никогда не правил чужих рукописей, не добивался переделок. «Пусть сами за себя отвечают»,— любил говаривать он. Если же автор несколько раз подряд писал плохо, его просто переставали печатать в «Сатириконе».

Но талантливых сотрудников Аверченко неизменно защищал.

Так, например, было с Маяковским.

Сатириконовцы считали, что Аверченко, пригласив Маяковского сотрудничать в журнале, «впал в ошибку», но главному редактору стихи молодого поэта нравились.

В конце концов, шум вокруг публикаций Вл. Маяковского шел на пользу «Сатирикону», способствовал его успеху у читателей.

Аркадий Аверченко безраздельно царствовал в литературном отделе журнала.

Он, наконец, вполне проявил свою поразительную плодовитость и работоспособность, был просто вездесущ: передовицы и фельетоны, заметки и репортажи, переписка «Почтового ящика»...

Медуза Горгона, Фальстаф, Волк, Ave, Фома Опискин...— это все тот же Аверченко.

К нему быстро пришло самое широкое и безусловное признание — признание массового читателя. Слава и успех, казалось, окутали его совершенно непроницаемой для неудач завесой.

Теперь он ежегодно издает сборники своих рассказов. По подсчетам исследователей, за десятилетие с 1908 года А. Аверченко издал более 40 сборников, наиболее удачные из которых выдержали за это время до 20 переизданий.

О. Л. Д'Ор вспоминал, что Аверченко периода «Сатирикона» часто улыбался и в его улыбке можно было прочесть:

— Я — парень хороший и товарищ отменный, но пальца в рот, пожалуйста, очень прошу Вас, не кладите. Против воли откушу. У меня широкая рука: когда что есть — поделюсь. Но своего не спущу. В ресторан же всегда готов...

Последним предложением в этом воспоминании никак нельзя пренебречь. Дело в том, что вход в «Сатирикон», располагавшийся поначалу на Невском проспекте, шел именно через... маленький ресторанчик. И эта дорога к юмору и сатире была, несомненно, символической.

Сотрудники чаще собирались не в самой редакции, а в отдельном кабинете ресторана. Здесь же оценивали рукопись, здесь доводили рисунки, здесь обсуждали очередные темы.

С повышением успеха — и переездами редакции — менялись соответственно и рестораны — от третьестепенных до самых респектабельных: «Вена», «Франция», затем «Европейская» с ее финансовой аристократией и, наконец, «Пивато», где посетителями были уже высшие сановники империи...

Так что упреки «Правды» сатириконовцам в «сытом смехе» били по адресу.

Февральская революция застала «Сатирикон» у «Пивато»...

Для Аверченко это была последняя веха, приведшая его в эмиграцию, а затем и к тому, что сам он назвал «кубарем по Европам».

После запрещения журнала в августе 1918 года писатель уезжает на Украину, а затем, в 1919-м, в Крым (Севастополь), где до конца 1920 года принимает участие в деятельности прессы и пишет для театра. Пройдя через довольно короткий и неудачный опыт газетной работы (он издавал газету «Юг России»), Аверченко 15 ноября 1920 года эмигрирует через Константинополь в Прагу. Как сатирик он гастролирует затем по многим городам Европы. Его рассказы появляются в Берлине, Праге, Варшаве, Париже.

Правда, это уже во многом другие рассказы, а их автор — другой Аверченко. Читатель почувствует это без труда...

«Когда нет быта, с его знакомым уютом, с его традициями — скучно жить, холодно жить...»

О. Н. Михайлов, много сделавший для возвращения нашим читателям произведений А. Т. Аверченко, справедливо утверждает, что в поздних рассказах писателя возникает трагическая нота, усиленная сознанием оторванности от родины, невозможности полнокровно творить вне родного языка и привычного быта.

Очевидцы свидетельствуют, что Аверченко «болел смертельной тоской по России».

— Тяжело как-то стало писать,— признавался он.— Не пишется. Как будто не на настоящем стою...

Умер Аркадий Тимофеевич Аверченко 12 марта 1925 года в Праге.

Разумеется, не следует преувеличивать литературную значимость произведений Аверченко: перед нами — по масштабам русской классики — писатель достаточно скромного дарования. Но, добавим мы сразу же, дарования вполне подлинного, оригинального и неповторимого.

Аверченко — весь в факте, в сценке, в мелочи, в непритязательном диалоге, в быстрой и естественной импровизации. Он весь на живую нитку. Но именно — живую!..

И еще: Аверченко — реалист. Достаточно перечитать хотя бы такие его рассказы, как «История одной картины», «Крыса на подносе», «Оккультные науки» и другие, чтобы понять, что́ именно было симпатично

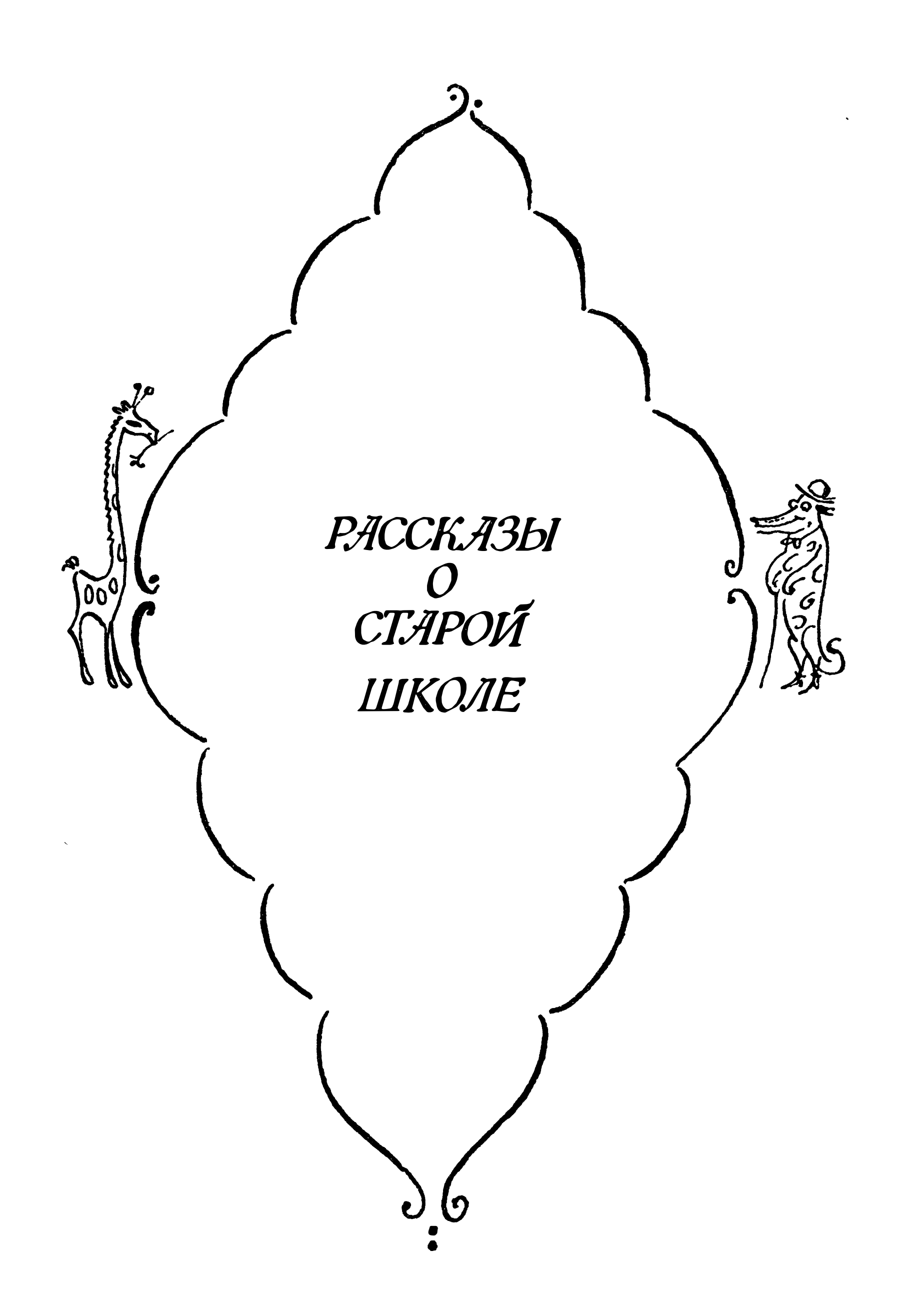
и жизненно для него — человека здорового, неизвращенного вкуса — в искусстве XX века.

«До сих пор при случайных встречах с модернистами я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо или попросит взаймы».

Главная отличительная черта юмора в детских рассказах Аверченко — удивительная душевная мягкость и ласковая, любовная наблюдательность. Детские произведения писателя вызывают не громкий смех, а тихую, добрую и долгую улыбку, которая не исключает, а предполагает грустную задумчивость.

Да, именно так: не смех и слезы, а — улыбка и грусть...

П. Горелов



РАССКАЗЫ О СТАРОЙ ШКОЛЕ





УЧИТЕЛЬ БЕЛЬМЕСОВ

За длинным столом, покрытым синим сукном, сидело пятеро. Посредине любезный старик с белой звездой, а справа от него торжественный, свеже-накрахмаленный Бельмесов, Иван Демьяныч. Я вскользь осмотрел остальных и скромно уселся сбоку на стул.

Солнце бегало золотыми зайчиками по столу, по потолку и по круглым стриженым головенкам учеников. В открытое окно заглядывали темно-зеленые ветки старых деревьев и приветливо, ободрительно кивали детям: «Ничего, мол. Все на свете перемелется — мука будет. Бодритесь, детки...»

— Кувшинников Иван,— сказал Бельмесов.— А подойди к нам сюда, Иван Кувшинников... Вот так. Сколько будет пятью шесть, Кувшинников, а?

— Тридцать.

— Правильно, молодец. Ну, а сколько будет, если помножить пять деревьев на шесть лошадей?

Мучительная складка перерезала загорелый лоб Кувшинникова Ивана.

— Пять деревьев на шесть лошадей? Тоже тридцать.

— Правильно. Но тридцать — чего?

Молчал Кувшинников.

— Ну, чего же тридцать? Тридцать деревьев или тридцать лошадей?

У Кувшинникова зашевелились губы, волосы на голове и даже уши тихо затрепетали.

— Тридцать... лошадей.

— А куда же девались деревья?— иронически прищурился Бельмесов.— Не хорошо, тезка, не хорошо... Было всего шесть лошадей, было пять деревьев и вдруг —

на тебе!— тридцать лошадей и ни одного дерева... Куда же ты их дел?.. С кашей съел или лодку себе из них сделал?

Кто-то на задней парте печально хихикнул. В смехе слышалось тоскливое предчувствие собственной гибели.

Ободренный успехом своей остроты, Иван Демьяныч продолжал:

— Или ты думаешь, что из пяти деревьев выйдут двадцать четыре лошади. Ну, хорошо: я тебе дам одно дерево — сделай ты мне из него четыре лошади. Тебе это, очевидно, легко, Кувшинников Иван, а? Что же ты молчишь, Иван, а? Печально, печально. Плохо твое дело, Иван. Ступай, брат.

— Я знаю,— тоскливо промямлил Кувшинников.— Я учил.

— Верю, милый. Учил, но как? Плохо учил. Бессмысленно. Без рассуждения. Садись, брат Иван! Кулебякин, Илья! Ну... ты нам скажешь, что такое дробь.

— Дробью называется часть какого-нибудь числа.

— Да? Ты так думаешь? Ну, а если я набью ружье дробью, это будет часть какого числа?

— То дробь не такая,— улыбнулся бледными губами Кулебякин.— То другая.

— Откуда же ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил. Может быть, я тебя спросил о ружейной дроби. Вот если бы ты был, Кулебякин, умнее, ты бы спросил: о какой дроби я хочу знать — о простой или арифметической... И на мой утвердительный ответ, что о последней — ты должен был ответить: «арифметической дробью называется — и так далее»... Ну, теперь скажи ты нам, какие бывают дроби.

— Простые бывают дроби,— вздохнул обескураженный Кулебякин,— а также десятичные.

— А еще? Какая еще бывает дробь, а? Ну, скажи-ка!

— Больше нет,— развел руками Кулебякин, будто искренно сожалея, что не может удовлетворить еще какой-нибудь дробью ненасытного экзаменатора.

— Да? Больше нет? А вот если человек танцует и ногами дробь выделывает — это как же? По-твоему, не дробь? Видишь ли что, мой милый... Ты, может быть, и знаешь арифметику, но русского языка — нашего великого, разнообразного и могучего русского языка — ты не знаешь. И это нам всем печально. Ступай, брат Кулебякин, и на свободе кое о чем подумай, брат Кулебякин. Лысенко! Вот ты, Лысенко Кондратий, скажешь нам, что тебе известно о цепном правиле. Ты знаешь цепное правило?

— Знаю.

— Очень хорошо-с. Ну, а цепное исключение тебе известно?

Лысенко метнул в сторону товарищей испуганным глазом и, повесив голову, умолк.

— Ну, что же ты, Лысенко? Ведь говорят же: нет правила без исключений. Ну, вот ты мне и ответь: есть в цепном правиле цепное исключение?

Стараясь не шуметь, я отодвинул стул, тихонько встал и, сделав общий поклон, направился к выходу.

Любезный директор с белой звездой тоже встал, догнал меня в передней и сказал, подмигивая на экзаменационную комнату:

— Ну, как?.. Не говорил ли я, что дока. Так и хапает, так и режет. Орел. Да только жалко, не жилец он у нас... Переводят с повышением в Харьков. А жалко... Я уж не знаю, что мы без него и делать будем... Без орла-то.



НЕВОЗМОЖНОЕ

Учитель истории Максим Иванович Тачкин сидел, склонив голову к журналу, и тихо зловеще перелистывал его.

— Вызовем мы... ну, хотя бы... Синюхина Николая!

Синюхин Николай побледнел, потупил голову, приблизился к кафедре и открыл судорожно искривленный рот.

— Ну-с?— поощрил его Тачкин.

— Я урока не знаю...— смотря в окно, испуганно заявил Синюхин.

— Да?— наружно удивился Тачкин.— Почему? Не можешь ли ты мне объяснить?..

Синюхину Николаю нужно было объяснить, что система «от сих до сих» и «повторить то, что было задано в прошлую среду» — настолько сухая система, что она никак не могла заинтересовать Синюхина.

Но Синюхин не хотел откровенничать с учителем.

— У меня голова болела... мама захворала... в аптеку бегал...

— Ой-ой-ой,— засмеялся Тачкин.— Как много! А поставлю-ка тебе, Синюхин Николай, единицу. А?

Он посмотрел внимательно в лицо ученику Синюхину и, заметив на нем довольно определенное, лишенное двусмысленности, выражение,— отвернулся и задумался...

«Воображаю, как он сейчас ненавидит меня. Воображаю, что бы он сделал со мной, если бы я был на его месте, а он — на моем».

. . . .

Держа под мышкой журнал, в класс вошел ученик Николай Синюхин и, вспрыгнув на кафедру, обвел внимательным взором учителей, сидевших с бледными испуганными лицами на ученических партах.

Ученик Николай Синюхин опустился на стул, развернул журнал и, помедлив одну зловещую минуту, оглядел ряд сидящих лиц в вицмундирах с блестящими пуговицами...

— Ну-с,— сказал он.— Кого же мы вызовем?.. Разве Ихментьева Василия?..

Учитель географии Василий Павлович Ихментьев съежился, обдернул вицмундир и робко приблизился к кафедре.

— Ихментьев Василий? — спросил ученик Синюхин, оглядывая учителя.— Гм... Должен сказать вам, Ихментьев Василий, что ваше поведение и успехи меня не радуют!

— Почему же?— оторопев, спросил учитель.— Почему же, Николай Степаныч? Кажется, я стараюсь...

— Да?— иронически улыбнулся Синюхин.— Стараетесь? Я бы этого не сказал... Видите ли, господин Ихментьев... Я человек не мелочный и не придерусь к вам из-за того, что у вас вон сейчас оторвана одна пуговица вицмундира и рукав измазан мелом... Это пустяк, к науке не имеющий отношения, и мне до сих пор стыдно за то время, когда за подобные пустяки виновные наказывались уменьшением отметки в поведении. Нет! Не то я хочу сказать, Ихментьев Василий... А позвольте спросить вас... Как вы преподаете? Как вам не стыдно? Ведь вы получаете деньги не за то, чтобы дуться по ночам в винт, пить водку и потом являться на уроки в таком настроении, при котором никакая география вам и в голову нейдет...

— Я не буду...— тихо пролепетал учитель.— Это... не я... Я не виноват... Это Тачкин Максим приглашал меня к себе на винт... Я и не хотел... а это он все.

Синюхин сердито хлопнул своей крохотной ладонью по кафедре.

— Имейте в виду, господин Ихментьев, что я шпионства, предательства и доносов на ваших товарищей не допущу! Я не буду этого поощрять, как поощряли это в свое время вы. Стыдно-с! Ступайте на свое место и поразмыслите-ка хорошенько о вашем поступке. Тачкин Максим!

— Здесь!— робко сказал Максим Иваныч.

— Я знаю, что здесь. Подойдите-ка ближе... Вот так. Сейчас один из ваших недостойных товарищей насплетничал на вас, будто бы вы подбивали его играть в карты. Может быть, это и было так, но оно, в сущности, меня не касается. Я не хочу мешаться в вашу частную жизнь и вводить для этого какой-то нелепый внешкольный надзор за учителями — я стою выше этого! Но должен вам

заявить, что ваше отношение к делу — ниже всякой критики!

— Почему же, Николай Степаныч? — опустил голову учитель Тачкин. — Кажется, уроки я посещаю аккуратно.

— Да черт ли мне в этой вашей аккуратности! — нервно вскричал Синюхин Николай. — Я говорю об общем отношении к делу. Ваша сухость, ваш формализм убивают у учеников всякий интерес к науке. Стыдитесь! У вас такой интересный, увлекательный предмет — что вы из него сделали? История народов преподается вами как какое-то расписание поездов. А почему? Потому, что вы не учитель, а сапожник! Ни дела вашего вы не любите, ни учеников. И будьте уверены — они народ чуткий и платят вам тем же... Ну, скажите... что вы задали классу на завтра?

— От сих — до сих, — прошептал Тачкин.

— Да, я знаю, что от сих до сих! А что именно?

— Я не... помню.

Лицо Синюхина Николая сделалось суровым, нахмуренным. Он сердито вскочил, стал на цыпочки, дотянулся до уха учителя и, нагнув его голову, потащил за ухо в угол.

— Безобразие! — кричал он. — Люди в футлярах! Формалисты! Сухари! Себя засушили и других сушите! Вот станьте-ка здесь в углу на колени — может быть, это отрезвит немного вашу пустую голову... А завтра пришлите ваших родителей — я поговорю с ними!

Стоя на коленях и уткнув голову в угол, учитель истории Максим Иванович Тачкин горько плакал...

«Если единица, — думал он про себя, — застрелюсь!»

. . . .

Тачкин улыбнулся себе в усы, поднял от журнала голову и сказал, обращаясь к угнетенному единицей, растерянному Синюхину Николаю.

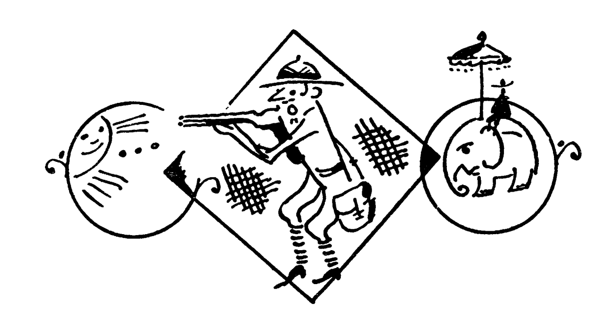
— Так-то, брат Синюхин. Поставил я тебе единицу. А если мое поведение тебе почему-либо не нравится — можешь и ты мне поставить где-нибудь единицу.

Класс засмеялся удачной шутке.

Учитель поднял голову и устало сказал:

— Молчать! На следующий урок — повторите то, что было задано в прошлую среду.

Где-то ликующе прозвонил звонок...



ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

Когда учитель громко продиктовал задачу, все записали ее и учитель, вынув часы, заявил, что дает на решение задачи двадцать минут,— Семен Панталыкин провел испещренной чернильными пятнами ладонью по круглой головенке и сказал сам себе:

— Если я не решу эту задачу — я погиб...

У фантазера и мечтателя Семена Панталыкина была манера — преувеличивать все события, все жизненные явления и, вообще, смотреть на вещи чрезвычайно мрачно.

Встречал ли он мальчика больше себя ростом, который, выдвинув вперед плечо и правую ногу и оглядевшись — нет ли кого поблизости,— ехидно спрашивал: «Ты чего задаешься, говядина несчастная?» — Семен Панталыкин бледнел и, видя уже своими духовными очами призрак витающей над ним смерти, тихо шептал:

— Я погиб.

Вызывал ли его к доске учитель, опрокидывал ли он дома на чистую скатерть стакан с чаем — он всегда говорил сам себе эту похоронную фразу:

— Я погиб.

Вся гибель кончалась парой затрещин в первом случае, двойкой — во втором и высылкой из-за чайного стола — в третьем.

Но так внушительно, так мрачно звучала эта похоронная фраза: «Я погиб»,— что Семен Панталыкин всюду совал ее.

Фраза, впрочем, была украдена из какого-то романа Майн-Рида, где герои, влезши на дерево по случаю наводнения и ожидая нападения индейцев — с одной стороны, и

острых когтей притаившегося в листве дерева ягуара — с другой,— все в один голос решили:

— Мы погибли.

Для более точной характеристики их положения необходимо указать, что в воде около дерева плавали кайманы, а одна сторона дерева дымилась, будучи подожженной молнией.

*
* *
*

Приблизительно в таком же положении чувствовал себя Панталыкин Семен, когда ему не только подсунули чрезвычайно трудную задачу, но еще дали на решение ее всего-навсего двадцать минут.

Задача была следующая.

«Два крестьянина вышли одновременно из пункта А в пункт Б, причем один из них делал в час четыре версты, а другой пять. Спрашивается, насколько один крестьянин придет раньше другого в пункт Б, если второй вышел позже первого на четверть часа, а от пункта А до пункта Б такое же расстояние в верстах,— сколько получится, если два виноторговца продали третьему такое количество бочек вина, которое дало первому прибыли сто двадцать рублей, второму восемьдесят, а всего бочка вина приносит прибыли сорок рублей».

Прочтя эту задачу, Панталыкин Семен сказал сам себе:

— Такую задачу в двадцать минут! Я погиб.

Потеряв минуты три на очинку карандаша и на наиболее точный перегиб листа линованной бумаги, на которой он собирался развернуть свои математические способности, Панталыкин Семен сделал над собой усилие и погрузился в обдумывание задачи.

Первым долгом ему пришла в голову мысль:

— Что это за крестьяне такие: «первый» и «второй»?

Эта сухая номенклатура ничего не говорит ни его уму, ни его сердцу. Неужели нельзя было назвать крестьян простыми человеческими именами. Конечно, Иваном или Василием их можно и не называть (инстинктивно он чувствовал прозаичность, будничность этих имен), но почему бы их не окрестить — одного Вильямом, другого Рудольфом.

И сразу же, как только Панталыкин перекрестил «первого» и «второго» в Рудольфа и Вильяма, оба сделались ему понятными и близкими. Он уже видел умственным взором белую полоску от шляпы, выделявшуюся на лбу

Вильяма, лицо которого загорело от жгучих лучей солнца... А Рудольф представлялся ему широкоплечим мужественным человеком, одетым в синие парусиновые штаны и кожаную куртку из меха речного бобра.

И вот — шагают они оба, один на четверть часа впереди другого...

Панталыкину пришел на ум такой вопрос:

— Знакомы ли они друг с другом, эти два мужественных пешехода? Вероятно, знакомы, если попали в одну и ту же задачу... Но если знакомы — почему они не сговорились идти вместе. Вместе, конечно, веселее, а что один делает в час на версту больше другого, то это вздор; более быстрый мог бы деликатно, понемногу сдерживать свои широкие шаги, а медлительный мог бы и прибавить немного шагу. Кроме того, и безопаснее вдвоем идти — разбойники ли нападут или дикий зверь...

Возник еще один интересный вопрос:

— Были у них ружья или нет?

Пускаясь в дорогу, лучше всего захватить ружья, которые даже в пункте Б могли бы пригодиться, в случае нападения городских бандитов — отрепья глухих кварталов.

Впрочем, может быть, пункт Б — маленький городок, где нет бандитов...

Вот опять же — написали: пункт А, пункт Б... Что это за названия? Панталыкин Семен никак не может представить себе городов или сел, в которых живут, борются и страдают люди, под сухими бездушными литерами. Почему не назвать один город Санта-Фе, а другой — Мельбурном.

И едва только пункт А получил название Санта-Фе, а пункт Б был преобразован в столицу Австралии,— как оба города сделались понятными и ясными... Улицы сразу застроились домами причудливой экзотической архитектуры, из труб пошел дым, по тротуарам задвигались люди, а по мостовым забегали лошади, неся на своих спинах всадников — диких, приехавших в город за боевыми припасами, вакэро и испанцев, владельцев далеких гациенд...

Вот в какой город стремились оба пешехода — Рудольф и Вильям...

Очень жаль, что в задаче не упомянута цель их путешествия. Что случилось такое, что заставило их бросить свои дома и спешить, сломя голову, в этот страшный, наполненный пьяницами, карточными игроками и убийцами, Санта-Фе?

И еще — интересный вопрос: почему Рудольф и Вильям не воспользовались лошадьми, а пошли пешком? Хотели ли

они идти по следам, оставленным кавалькадой гверильясов, или просто прошлой ночью у их лошадей таинственным незнакомцем были перерезаны поджилки, дабы они не могли его преследовать — его, знавшего тайну бриллиантов Красного Носорога...

Все это очень странно... То, что Рудольф вышел на четверть часа позже Вильяма, доказывает, что этот честный скваттер не особенно доверял Вильяму и в данном случае решил просто проследить этого сорвиголову, к которому вот уже три дня подряд пробирается ночью на взмыленной лошади креол в плаще.

...Подперев ручонкой, измазанной в мелу и чернилах, свою буйную, мечтательную, отуманенную образами, голову — сидит Панталыкин Семен.

И постепенно вся задача, ее тайный смысл вырисовывается в его мозгу.



Задача:

...Солнце еще не успело позолотить верхушек тамариндовых деревьев, еще яркие тропические птицы дремали в своих гнездах, еще черные лебеди не выплывали из зарослей австралийской кувшинки и желтоцвета,— когда Вильям Блокер, головорез, наводивший панику на все побережье Симпсон-Крика, крадучись шел по еле заметной лесной тропинке... Делал он только четыре версты в час — более быстрой ходьбе мешала больная нога, подстреленная вчера его таинственным недругом, спрятавшимся за стволом широколиственной магнолии.

— Каррамба! — бормотал Вильям.— Если бы у старого Билля была сейчас его лошаденка... Но... пусть меня разорвет, если я не найду негодяя, подрезавшего ей поджилки. Не пройдет и трех лун.

А сзади него в это время крался, припадая к земле, скваттер Рудольф Каутерс, и его мужественные брови мрачно хмурились, когда он рассматривал, припав к земле, след сапога Вильяма, отчетливо отпечатанный на влажной траве австралийского леса.

— Я бы мог делать и пять верст в час (кстати, почему не «миль» или «ярдов»),— шептал скваттер,— но я хочу выследить эту старую лисицу.

А Блокер уже слышал сзади себя шорох и, прыгнув за дерево, оказавшееся эвкалиптом, притаился...

Увидев ползшего по траве Рудольфа, он приложился и выстрелил.

И, схватившись рукой за грудь, перевернулся честный скваттер.

— Хо-хо!— захохотал Вильям.— Меткий выстрел. День не пропал даром, и Старый Билль доволен собой.

. . . .

*
* *
*

— Ну, двадцать минут прошло,— раздался, как гром в ясный погожий день, голос учителя арифметики.— Ну что, все решили. Ну, ты, Панталыкин Семен, покажи: какой из крестьян первый пришел в пункт Б.

И чуть не сказал бедный Панталыкин, что, конечно, в Санта-Фе первым пришел негодяй Блокер, потому что скваттер Каутерс лежит с простреленной грудью и предсмертной мукой на лице, лежит одинокий в пустыне, в тени ядовитого австралийского «змеиного дерева»...

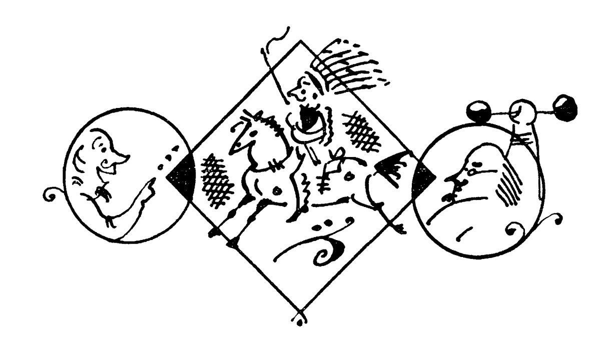
Но ничего этого не сказал он. Прохрипел только: «Не решил... не успел...»

И тут же увидел, как жирная двойка ехидной гадюкой зазмеилась в журнальной клеточке против его фамилии.

— Я погиб,— прошептал Панталыкин Семен.— На второй год остаюсь в классе. Отец выдерет, ружья не получу, «Вокруг Света» мама не выпишет...

И представилось Панталыкину, что сидит он на развалине «змеиного дерева»... Внизу бушует разлившаяся после дождя вода, в воде щелкают зубами кайманы, а в густой листве прячется ягуар, который скоро прыгнет на него, потому что огонь, охвативший дерево, уже подбирается к разъяренному зверю...

— Я погиб...



ИНДЕЙСКАЯ ХИТРОСТЬ

После звонка прошло уже минут десять, все уже давно сидели за партами, а учитель географии не являлся. Сладкая надежда стала закрадываться в сердца некоторых — именно тех, которые и не разворачивали вчера истрепанные учебники географии... Сладкая надежда:

— А вдруг не придет совсем.

Учитель пришел на двенадцатой минуте.

Полосухин Иван вскочил, сморщил свою хитрую, как у лисицы, маленькую остроносую мордочку и воскликнул деланно испуганным голосом:

— Слава богу. Наконец-то вы пришли. А мы тут так беспокоились — не случилось ли с вами чего.

— Глупости. Что со мной случится...

— Отчего вы такой бледный, Алексан Ваныч?

— Не знаю... У меня бессонница.

— А к моему отцу раз таракан в ухо заполз.

— Ну и что же?

— Да ничего.

— При чем тут таракан?

— Я к тому, что он тоже две ночи не спал.

— Кто, таракан?— пошутил учитель.

Весь класс заискивающе засмеялся.

«Только бы не спросил,— подумали самые отчаянные бездельники,— а то можно смеяться ходь до вечера».

— Не таракан, а мой папаша, Алексан Ваныч. Мой папаша, Алексан Ваныч, три пуда одной рукой подымает.

— Передай ему мои искренние поздравления...

— Я ему советовал идти в борцы, а он не хочет. Вместо этого служит в банке директором — прямо смешно.

Так как учитель уже развернул журнал и разговор гро-

зил иссякнуть, толстый (хохол) Нечипоренко решил «подбросить дров на огонь»:

— Я бы на вашем месте, Алексан Ваныч, объяснил этому глупому Полосухину, что он сам не понимает, что говорит. Директор банка — это личность уважаемая, а борец в цирке...

— Нечипоренко,— сказал учитель, погрозив ему карандашом.— Это к делу не относится. Сиди и молчи.

Сидевший на задней скамейке Карташевич, парень с очень тугой головой, решил, что и ему нужно посторонним разговором оттянуть несколько минут.

Натужился и среди тишины молвил свои слова:

— Молчание — знак согласия.

— Что?— изумился учитель.

— Я говорю: молчание — знак согласия.

— Ну так что же?

— Да ничего.

— Ты это к чему сказал?

— Вы, Алексан Ваныч, сказали Нечипоренке «молчи». Я и говорю: «молчание — знак согласия».

— Очень кстати. Знаешь ли ты, Карташевич, когда придет твоя очередь говорить?

— Гм, кхи,— закашлялся Карташевич.

— ...когда я спрошу у тебя урок. Хорошо?

Карташевич не видел в этом ничего хорошего, но принужден был согласиться, сдерживая свой гудящий бас:

— Горожо.

— Карташевич через двух мальчиков перепрыгивает,— счел уместным сообщить Нечипоренко.

— А мне это зачем знать?

— Не знаю... извините... Я думал, может, интересно...

— Вот что, Нечипоренко. Ты, брат, хитрый, но я еще хитрее. Если ты скажешь еще что-либо подобное, я напишу записку твоему отцу...

— «К отцу, весь издрогнув, малютка приник»,— продекламировал невпопад Карташевич.

— Карташевич. Ступай приникни к печке. Вы сегодня с ума сошли, что ли? Дежурный! Что на сегодня готовили?

— Вятскую губернию.

— А-а... Хорошо-с. Прекрасная губерния. Ну... спросим мы... Кого бы нам спросить?

Он посмотрел на притихших учеников вопросительно. Конечно, ответить ему мог каждый, не задумываясь. Иванович посоветовал бы спросить Нечипоренку, Патвака-

нов — Блимберга, Сураджев — Патваканова, а все вместе они искренно посоветовали бы вообще никого не спрашивать.

— Спросим мы...

Худощавый мечтательный Челноков поймал рассеянный взгляд учителя, опустил голову, но сейчас же поднял ее и не менее рассеянно взглянул на учителя.

«Ого! — подумал он.— Глядит на Блимберга. А ну-ка, Блимберг, раскошелив...»

— Челноков.

Челноков бодро вскочил, захлопнул под партой какую-то книгу и сказал:

— Здесь.

— Ну? Неужели здесь?— изумился учитель.— Вот поразительно. А ну-ка, что ты нам скажешь о Вятской губернии?

— Кхе. Кха. Хррр...

— Что это с тобой? Ты кашляешь?

— Да, кашляю,— обрадовался Челноков.

— Бедненький... Ты, вероятно, простудился?

— Да... вероятно...

— Вероятно... Может быть, твоему здоровью угрожает опасность?

— Угрожает...— машинально ответил Челноков.

— Боже мой, какой ужас! Может быть, даже жизни угрожает опасность?

Челноков сделал жалобную гримасу и открыл было уже рот, но учитель опустил голову в журнал и сказал совершенно другим, прежним тоном:

— Ну-с... Расскажи нам, что тебе известно о Вятской губернии.

— Вятская губерния,— сказал Челноков,— отличается своими размерами. Это одна из самых больших губерний России... По своей площади она занимает место, равное... Мексике и штату Виргиния... Мексика одна из самых богатых и плодородных стран Америки, населена мексиканцами, которые ведут стычки и битвы с гверильясами. Последние иногда входят в соглашение с индейскими племенами шавниев гуронов, и горе тому мексиканцу, который...

— Постой,— сказал учитель, выглядывая из-за журнала.— Где ты в Вятской губернии нашел индейцев?

— Не в Вятской губернии, а в Мексике.

— А Мексика где?

— В Америке.

— А Вятская губерния?
— В... Рос... сии.
— Так ты мне о Вятской губернии и говори.
— Кгм... Почва Вятской губернии имеет мало чернозему, климат там суровый, и потому хлебопашество идет с трудом. Рожь, пшеница и овес — вот что, главным образом, может произрастать в этой почве. Тут мы не встретим ни кактусов, ни алоэ, ни цепких лиан, которые, перекидываясь с дерева на дерево, образуют в девственных лесах непроходимую чащу, которую с трудом одолевает томагавк отважного пионера Дальнего Запада, который смело пробирается вперед под немолчные крики обезьян и разноцветных попугаев, оглашающих воздух...
— Что?
— Оглашающих, я говорю, воздух.
— Кто и чем оглашает воздух?
— Попугаи... криками...
— Одного из них я слышу. К сожалению, о Вятской губернии он ничего не рассказывает.
— Я, Алексан Ваныч, о Вятской губернии и рассказываю... Народонаселение Вятской губернии состоит из великороссов. Главное их занятие хлебопашество и охота. Охотятся за пушным зверем — волками, медведями и зайцами, потому что других зверей в Вятской губернии нет... Нет ни хитрых, гибких леопардов, ни ягуаров, ни громадных свирепых бизонов, которые целыми стадами спокойно пасутся в своих льяносах, пока меткая стрела индейца или пуля из карабина скваттэра...
— Кого-о?
— Скваттэра.
— Это что за кушанье?
— Это не кушанье, Алексан Ваныч, а такие... знаете... американские помещики...
— И они живут в Вятской губернии?
— Нет... я — к слову пришлось...
— Челноков, Челноков... Хотел я тебе поставить пятерку, но — к слову пришлось, и поставлю двойку. Нечипоренко!
— Тут.
— Я тебя об этом не спрашиваю. Говори о Вятской губернии.
Нечипоренко побледнел, как смерть, и, по принятому обычаю, сказал о Вятской губернии:
— Кхе.
— Ну, — поощрил учитель.

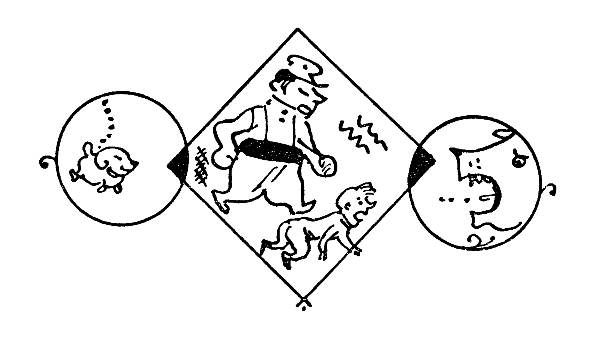
И вдруг — все сердца екнули — в коридоре бешено прозвенел звонок на большую перемену.

— Экая жалость!— отчаянно вздохнул Нечипоренко.— А я хотел ответить урок на пятерку. Как раз сегодня выучил...

— Это верно?— спросил учитель.

— Верно.

— Ну, так я тебе поставлю... тоже двойку, потому что ты отнял у меня полчаса.



СЕРЕЖКИН РУБЛЬ
КАК ЕГО ЗАРАБОТАЛ

Звали этого маленького продувного человечка: Сережка Морщинкин, но он сам был не особенно в этом уверен... Колебания его отражались даже на обложках истрепанных тетрадок, на которых иногда было написано вкривь и вкось:

«Сергей Мортчинкин».

То:

«Сергей Мортчинкен».

Эта неустанная, суровая борьба с буквой «щ» не мешала Сережке Морщинкину изредка писать стихи, вызывавшие изумление и ужас в тех лицах, которым эти стихи подсовывались.

Писались стихи по совершенно новому способу... Таковы, например, были Сережкины знаменитые строфы о пожаре, устроенном соседской кухаркой:

> До соседей вдруг донесся слух.
> Что в доме номер три, в кух
> Не, горел большой огонь,
> Который едва-едва потушили.
> Кухарку называли «дурой» милли
> Он раз, чтобы она смотрела лучше.

За эти стихи Сережкина мать оставила его без послеобеденного сладкого, отец сказал, что эти стихи позорят его седую голову, а дядя Ваня выразил мнение, что любая извозчичья лошадь написала бы не хуже.

Сережка долго плакал в сенях за дверью, твердо решив убежать к индейцам, но через полчаса его хитрый, изобретательный умишко заработал в другом направлении... Он прокрался в детскую, заперся там и после долгой утоми-

тельной работы вышел, торжественно размахивая над головой какой-то бумажкой.

— Что это? — спросил дядя.

— Стихи.

— Твои? Хорошие?

— Да, это уж, брат, почище тех будут, — важно сказал Сережка.— Самые лучшие стихи.

Дядя засмеялся.

— А ну, прочти-ка.

Сережка взобрался с ногами на диван, принял позу, которую никто, кроме него, не нашел бы удобной, и, сипло откашлявшись, прочел:

> Люблю грозу в начале мая,
> Когда весенний первый гром,
> Бразды пушистые взрывая,
> летит кибитка удалая...
> Ямщик сидит на облучке
> В тулупе, синем кушачке...
> Ему больно и смешно,
> А мать грозит ему в окно.

— Гм...— сказал дядя.— Немного бестолково, но рифма хорошая. Может, списал откуда-нибудь?

— Уж сейчас и списал, — возразил Сережка, ерзая по дивану и пытаясь стать на голову.— На вас разве угодишь?

Дядя был в великолепном настроении. Он схватил Сережку, перевернул его, привел в обычное положение и сказал:

— Так как все поэты получают за стихи деньги — получай. Вот тебе рубль.

От восторга Сережка даже побледнел.

— Это... мне? И я могу сделать, что хочу?

— Что тебе угодно. Хоть дом купи или пару лошадей.

В эту ночь Сережке спалось очень плохо — рубль, суливший ему тысячи разных удовольствий и благ, будил хитроумного мальчишку несколько раз.

СДЕЛКА

Утром Сережка встал чуть ли не на рассвете, хотя в гимназию нужно было идти только в девять часов. Выбрался он из дому в восьмом часу и долго бродил по улицам, обуреваемый смутными, но прекрасными мыслями...

Зайдя за угол, он вынул рубль, повертел его в руках и сказал сам себе:

— Интересно, сколько получится денег, если я его разменяю?

Зашел в ближайшую лавочку. Разменял.

Действительно, по количеству — монет оказалась целая уйма — чуть ли не в семь раз больше... но качество их было очень низкое — маленькие, потертые монетки, совсем не напоминавшие большой, толстый, увесистый рубль.

— Скверные денежки,— решил Сережка.— Их тут столько, что немудрено одну монетку и потерять... Разменяю-ка я их обратно.

Он зашел в другую лавчонку с самым озабоченным видом.

— Разменяйте, пожалуйста, на целый рубль.

— Извольте-с.

Новая мысль озарила Сережкину голову.

— А может... у вас бумажный есть?

— Рублевок не имеется. Есть трехрублевки.

— Ну, дайте трехрублевку.

— Это за рубль-то! Проходите, молодой человек.

Опять в Сережкином кармане очутился толстый, тяжелый рубль. Осмотрев его внимательно, Сережка одобрительно кивнул головой:

— Даже лучше. Новее того. А много можно на него сделать: купить акварельных красок... или пойти два раза в цирк на французскую борьбу (при этой мысли Сережка согнул правую руку и, наморщив брови, пощупал мускулы)... а то можно накупить пирожных и съесть их сразу, не вставая. Пусть после будет болеть желудок — ничего — живешь-то ведь один раз.

В это время кто-то сзади схватил Сережку сильной рукой за затылок и так сжал его, что Сережка взвизгнул.

— Смерть приготовишкам!— прорычал зловещий голос.— Смерть Морщинкину

По голосу Сережка сразу узнал третьеклассника Тарарыкина, первого силача третьего и даже четвертого класса — драчуна и забияку, наводившего ужас на всех благомыслящих людей первых трех классов.

— Пусти, Тарарыкин,— прохрипел Сережка, беспомощно извиваясь в железной руке дикого Тарарыкина.

— Скажи: «пустите, дяденька».

— Пустите, дяденька.

Удовлетворив таким образом свое неприхотливое честолюбие, Тарарыкин дернул Сережку за ухо и отпустил его.

— Эх, ты — Мо́рщинка — тараканья личинка. Хо-

чешь так: ты ударь меня по спине, как хочешь, десять раз, а я тебя всего один раз. Идет?

Но многодумная голова Сережки работала уже в другом направлении. Необъятные радужные перспективы рисовались ему.

— Слушай, Тарарыкин,— сказал он после долгого раздумья.— Хочешь получить рубль?

— За что?— оживился вечно голодный прожорливый третьеклассник.

— За то, что я тебя нарочно для примера поколочу при всех на большой перемене.

— А тебе это зачем?

— Чтоб меня все боялись. Будут все говорить: раз он Тарарыкина вздул, значит, с малым связываться опасно. А ты получишь рубль... Можешь на борьбу пойти... красок купить коробку...

— Нет, я лучше пирогов куплю по три копейки тридцать три штуки.

— Как хочешь. Идет?

В Тарарыкине боролись два чувства: самолюбие первого силача и желание получить рубль.

— Что ж, брат... А если я тебе поддамся, так меня уж всякий и будет колотить?

— Зачем?— возразил сообразительный Сережка.— Ты других лупи по-прежнему. Только пусть я силачом буду. А пироги-то... Ведь ты их целый месяц есть будешь.

— Неделю. Эх, Морщинка — собачья начинка, соглашаться, что ли?

Сережка вынул рубль и стал с искусственным равнодушием вертеть его в руках.

— Эх!— застонал Тарарыкин.— Пропадай моя славушка, до свиданья-с, моя силушка. Согласен.

И, размахнувшись, шлепнул Сережку ладонью по спине.

— Чего же ты дерешься?

— Так ведь чудак же: это в последний раз. Потом уж ты меня колошматить будешь.

И, утешившись таким образом, Тарарыкин спрятал рубль в карман старых, запятнанных чернилами всех цветов, брюк...

ДРАКА

Ликующе прозвенел звонок на большую перемену, и широкая волна серых гимназических курточек и фуражек

вылилась на громадный гимназический двор. Поднялся визг, крики и веселая суматоха.

Честный юноша Тарарыкин выбрал группу́ учеников побольше, приблизился с самым невинным лицом и стал любоваться на состязание Мухина и Сивачева, ухитрившихся подбрасывать мяч ногами, без помощи рук.

— Попробуй, Тарарыкин,— предложил Сивачев.

В это время юркий Сережка Морщинкин пробрался между ног взрослых учеников, просунул свой нос вперед и пропищал самым вызывающим образом:

— Куда этому Тарарышке прыгнуть — у него сейчас и ноги отвалятся.

— Ты-ы!— угрожающе зарычал Тарарыкин.— Знай, с кем говоришь! Котлету из тебя сделаю!

— Котлету! Ах ты, кухарка свинячья!

— Отойди лучше, Морщинка,— получишь по затылку!

— Очень я тебя боялся,— лихо захохотал Сережка.— Попробуй-ка, тронь только!

— Да и трону,— проворчал Тарарыкин.

— А ну, тронь!

— А что ж ты думаешь — не трону?

Сережка стал в боевую позу плечом к плечу с громадным Тарарыкиным и, задрав голову, сказал иронически:

— Тронь только — кто тебя у меня отнимать будет?

Кругом засмеялись.

— Ай да Морщинка! Смотри, Тарарыкин, не струсь!

— Ну, что ж ты, Тартарарыка, небось только на маленьких силач. До меня-то и дотронуться боишься.

— Я? Тебя? Боюсь? На ж тебе, получай!

Тарарыкин с силой размахнулся, но ударил по Сережкиной груди так, что тот даже не пошатнулся.

— Съел?

— Это, брат, мне ничего, а вот ты попробуй!

Сережка взмахнул маленьким кулачонком и — о чудо! К ужасу и изумлению всех присутствующих, верзила Тарарыкин отлетел шагов на пять. Как всякий неопытный актер, честный Тарарыкин «переиграл», но простодушная публика не заметила этого.

— Ого! Ай да Сережка!

Тарарыкин с трудом встал, сделал преувеличенно страдальческое лицо и, держась за бок, захромал по направлению к Сережке.

— А-а, так ты так-то!

— Да-с. Вот так!— нахально сказал Сережка.— На-ка еще, брат!

Вторым ударом он снова сбил хныкавшего Тарарыкина и, насев на него, принялся обрабатывать толстую Тарарыкинскую спину своими кулачонками.

Все были изумлены до чрезвычайности.

Когда избитый, стонущий Тарарыкин поднялся, все обступили его:

— Тарарыка, что это с тобой? Как ты ему поддался?

— Кто ж его знал,— отвечал добросовестный Тарарыкин.— Ведь это здоровяк, каких мало. У него кулаки — железо. Когда он меня свистнул первый раз, я думал, что ноги протяну.

— Больно?

— Попробуй-ка. Завяжись сам с ним. Ну его к богу. Я его теперь и не трону больше...

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Тарарыкин честно заработал деньги. Сережка сделался героем дня. Весть, что он поколотил Тарарыкина и что тот, как приготовишка, плакал (последнее было уже прибавлено восторженными поклонниками) — эта весть потрясла всех. Результаты Сережкиного подвига не замедлили сказаться.

К упоенному славой Сережке подошел первоклассник Мелешкин и принес ему горькую жалобу:

— Морщинкин! Ильяшенко дерется — дай ему хорошенько, чтобы не заносился.

— Ладно!— нахмурился Сережка.— Я это устрою. А что мне за это будет?

— Булку дам с ветчиной и четыре шоколадины в серебряной бумажке.

— Тащи.

Потом подошел Португалов:

— Здравствуй. Сережка. Сердишься?

— А то нет! Свинья ты! Жалко было цветных карандашей, что ли? Обожди! Попадешься ты мне на нашей улице!

Португалов побледнел и, похлопав Сережку по плечу, сказал:

— Ну, будет. Притащу завтра карандаши. Мне не жалко.

Три второклассника подошли вслед за Португаловым и попросили Сережкиного разрешения пощупать его мускулы.

Получили снисходительное разрешение. Пощупали руку, поудивлялись. Мускулов, собственно, не было, но товарищи были добрые, решили, что рука все-таки твердая.

— Ты что, упражнялся?— спросил Гукасов.

— Упражнялся,— сказал Сережка.

В конце концов, Сережка, опьяненный славой, и сам поверил в свою нечеловеческую силу.

Проходил второклассник Кочерыгин, уплетая булку с икрой.

— Стой!— крикнул Сережка.— Отдай булку!

— Ишь ты какой! А я-то?

— Отдай, все равно отниму!

Кочерыгин захныкал, но, вспомнив о Тарарыкине, вздохнул, откусил еще кусочек булки и протянул ее Сережке.

— На, подавись!

— То-то. Ты смотри у меня. Я до вас тут до всех доберусь.

В это время проходил мимо Тарарыкин. Увидев Сережку, он сделал преувеличенно испуганные глаза и в ужасе отскочил в сторону. Хотя вблизи никого не было, но он, как добросовестный недалекий малый, считал своим долгом играть роль до конца.

— Боишься?— спросил заносчиво Сережка.

— Еще бы. Я и не знал, что ты такой здоровый.

И вдруг в Сережкину беспокойную голову пришла безумная шальная мысль... А что, если... Тарарыкин действительно против него не устоит? Этот крохотный мальчишка так был опьянен всеобщей честью и восторгом, что совершенно забылся, забыл об условии и решил пойти напролом... Насытившись славой, он пожалел о рубле, а так как руки его чувствовали себя железными, непобедимыми, то Сережка со свойственной его характеру решимостью подскочил к Тарарыкину и, схватив его за пояс, сурово сказал:

— Отдавай рубль!

— Что ты!— удивился Тарарыкин.— Ведь мы же условились...

— Отдавай! Все равно отниму!

— Ты? Ну, это, брат, во-первых, нечестно, а во-вторых — попробуй-ка.

На их спор собрались любопытные. Снова стали раздаваться комплименты по Сережкиному адресу.

И, не раздумывая больше, Сережка храбро устремился в бой. Он подскочил, хватил изумленного и огорченного Тарарыкина по голове, потом ударил его в живот, но... Тарарыкин опомнился.

— Ты... вот как!

Через минуту Сережка уже лежал на земле. Во рту чувствовалась что-то соленое, губа вспухла, зловещее красноватое пятно засияло под глазом; оно наливалось, темнело и постепенно переходило в синий цвет. . . . .

. . . .

И рухнула эта жалкая, построенная на деньгах слава... Сережка лежал, избитый, в пыли и прахе, а мстительный Кочерыгин, отдавший Сережке булку, подскочил к Сережке и дернул его за волосы; подошел Португалов, ткнул его в спину кулаком и сказал:

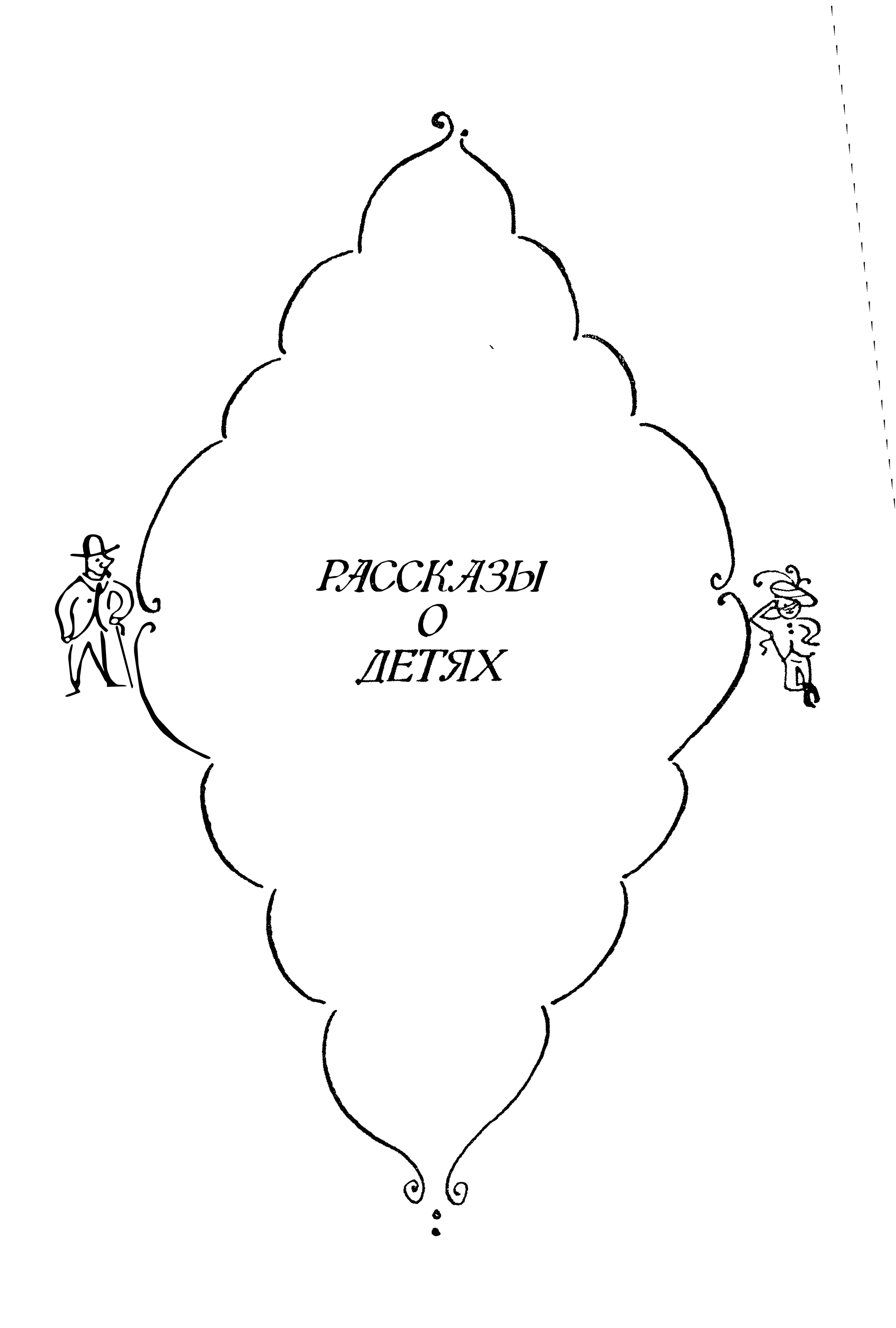
— Вот тебе цветные карандаши. Поросенок!

Уныло, печально возвращался хитроумный Сережка домой; губа вспухла, щека вспухла; на лбу была царапина, рубль пропал бесследно, дома ожидала головомойка, настроение было отчаянное...

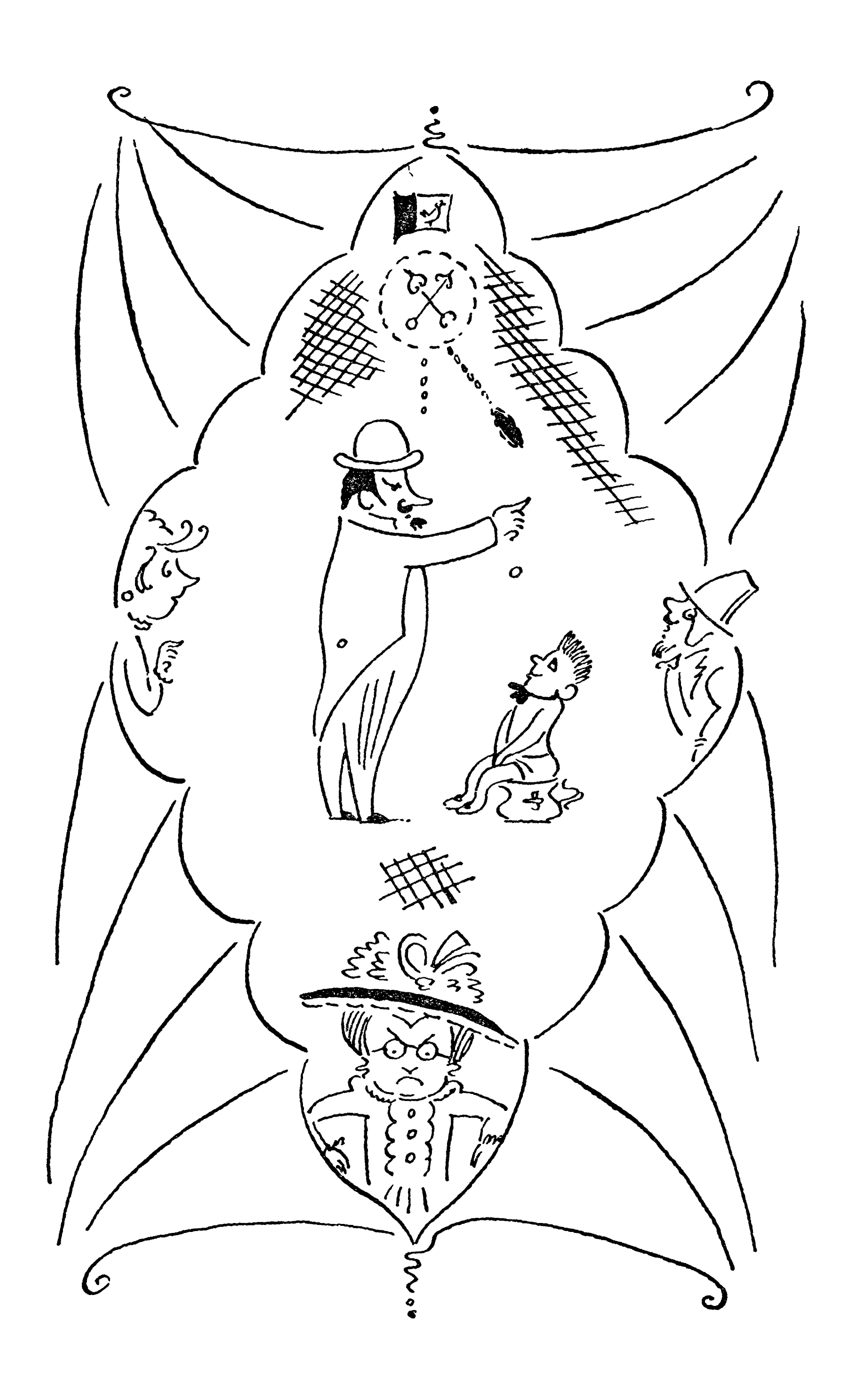
Он вошел робкий, пряча лицо в носовой платок... он рассчитывал, проскользнув незаметно в свою комнату, улечься спать... Но в передней его ждал последний удар. Дядя поймал его за руку и сердито сказал:

— Ты что же это, мошенник, обманул меня? Это твои стихи? Списал у Пушкина да и выдал за свои. Во-первых, за это ты всю неделю будешь сидеть дома — о цирке и зверинце забудь, а во-вторых — возврати-ка мне мой рубль.

Сердце Сережки упало...



РАССКАЗЫ О ДЕТЯХ





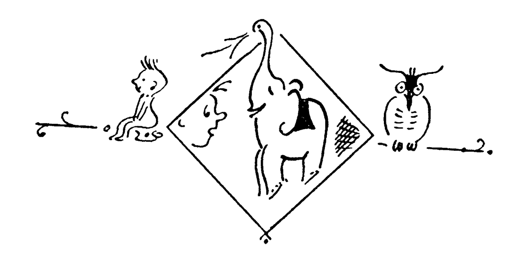
От автора

Вы,
которые
любите их смеющимися,
улыбающимися, серьезными и плачущими...
Вы, которым дороги
они — всякого цвета и роста —
от
еле передвигающихся
на неверных ногах крошек,
с ручонками, будто ниточками перехваченными,
и губками, мокрыми и пухлыми,—
до
ушастых веснушчатых юнцов
с ломающимися голосами,
большими красными руками
и стриженными ежом волосами,
с движениями смешными и угловатыми —
для вас эта книга,
потому что
большая любовь к детям водила рукой автора...

Вы же,
которым
ненавистен детский плач,
которые мрачно и угрюмо прислушиваются
к детскому смеху,
находя его пронзительным и действующим на нервы,

Вы, которые
в маленьком ребенке видите
бесформенный кусок мяса,
в чудесном лопоухом гимназистике — несносного шалуна,
а в прелестном пятнадцатилетнем застенчивом увальне —
неуклюжего, портящего стиль вашей гостиной
дурака —
Вы
не читайте этой книги...
Она —
не для Вас.

Аркадий Аверченко



О ДЕТЯХ

(Материалы для психологии)

У детей всегда бывает странный, часто недоступный пониманию взрослых уклон мыслей.

Мысли их идут по какому-то своему пути; от образов, которые складываются в их мозгу, веет прекрасной дикой свежестью.

Вот несколько пустяков, которые запомнились мне.

I

Одна маленькая девочка, обняв мою шею ручонками и уютно примостившись на моем плече, рассказывала:

— Жил-был слон. Вот однажды пошел он в пустыню и лег спать... И снится ему, что он пришел пить воду к громадному-прегромадному озеру, около которого стоят сто бочек сахару. Больших бочек. Понимаешь? А сбоку стоит громадная гора. И снится ему, что он сломал толстый-претолстый дуб и стал разламывать этим дубом громадные бочки с сахаром. В это время подлетел к нему комар. Большой такой комар — величиной с лошадь...

— Да что это, в самом деле, у тебя,— нетерпеливо перебил я.— Все такое громадное: озеро громадное, дуб громадный, комар громадный, бочек сто штук...

Она заглянула мне в лицо и с видом превосходства пожала плечами:

— А как же бы ты думал. Ведь он же слон?

— Ну так что?

— И потому что он слон, ему снится все большое. Не может же ему присниться стеклянный стаканчик, или чайная ложечка, или кусочек сахара.

Я промолчал, но про себя подумал:

«Легче девочке постигнуть психологию спящего слона, чем взрослому человеку — психологию девочки».

II

Знакомясь с одним трехлетним мальчиком крайне сосредоточенного вида, я взял его на колени и, не зная, с чего начать, спросил:

— Как ты думаешь: как меня зовут?

Он осмотрел меня и ответил, честно глядя в мои глаза:

— Я думаю — Андрей Иваныч.

На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но вежливый, дышащий достоинством ответ.

III

Однажды летом, гостя у своей замужней сестры, я улегся после обеда спать.

Проснулся я от удара по голове, такого удара, от которого мог бы развалиться череп.

Я вздрогнул и открыл глаза.

Трехлетний крошка стоял у постели с громадной палкой в руках и с интересом меня разглядывал.

Так мы долго молча смотрели друг на друга.

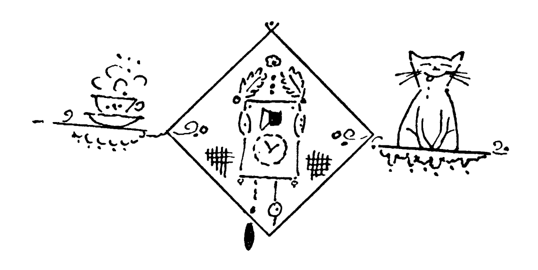
Наконец он с любопытством спросил:

— Что ты лопаешь?

Я думаю, этот поступок и вопрос были вызваны вот чем: бродя по комнатам, малютка забрался ко мне и стал рассматривать меня, спящего. В это время я во сне, вероятно, пожевал губами. Все, что касалось жевания вообще и пищи в частности, очень интересовало малютку. Чтобы привести меня в состояние бодрствования, малютка не нашел другого способа, как сходить за палкой, треснуть меня по голове и задать единственный вопрос, который его интересовал:

— Что ты лопаешь?

Можно ли не любить детей?



ДЕНЬ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

I

За все пять лет Ниночкиной жизни сегодня на нее обрушился, пожалуй, самый тяжелый удар: некто, именуемый Колькой, сочинил на нее преядовитый стихотворный памфлет.

День начался обычно: когда Ниночка встала, то нянька, одев ее и напоив чаем, ворчливо сказала:

— А теперь ступай на крыльцо, погляди, какова нынче погодка! Да посиди там подольше, с полчасика,— постереги, чтобы дождик не пошел. А потом приди да мне скажи. Интересно, как оно там...

Нянька врала самым хладнокровным образом. Никакая погода ей не была интересна, а просто она хотела отвязаться на полчаса от Ниночки, чтобы на свободе напиться чаю со сдобными сухариками.

Но Ниночка слишком доверчива, слишком благородна, чтобы заподозрить в этом случае подвох... Она кротко одернула на животике передничек, сказала: «Ну что ж, пойду погляжу»,— и сошла на крыльцо, залитое теплым золотистым солнцем.

Неподалеку от крыльца, на ящике из-под пианино сидели три маленьких мальчика. Это были совершенно новые мальчики, которых Ниночка никогда и не видывала.

Заметив ее, мило усевшуюся на ступеньках крыльца, чтобы исполнить нянькино поручение — «постеречь, не пошел бы дождик»,— один из трех мальчиков, пошептавшись с приятелями, слез с ящика и приблизился к Ниночке с самым ехидным видом, под личиной наружного простодушия и общительности.

— Здравствуй, девочка,— приветствовал он ее.

— Здравствуйте,— робко отвечала Ниночка.

— Ты здесь и живешь?

— Здесь и живу. Папа, тетя, сестра Лиза, фрейлен, няня, кухарка и я.

— Ого! Нечего сказать,— покривился мальчик.— А как тебя зовут?

— Меня? Ниночка.

И вдруг, вытянув все эти сведения, проклятый мальчишка с бешеной быстротой завертелся на одной ножке и заорал на весь двор:

Нинка-Нинёнок,
Серый поросёнок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась...

Побледнев от ужаса и обиды, с широко раскрытыми глазами и ртом, глядела Ниночка на негодяя, так порочившего ее, а он снова, подмигнув товарищам и взявшись с ними за руки, завертелся в бешеном хороводе, выкрикивая пронзительным голосом:

Нинка-Нинёнок,
Серый поросенок
С горки скатилась,
Грязью подавилась...

Страшная тяжесть налегла на Ниночкино сердце. О, Боже, Боже!.. За что? Кому она стала поперек дороги, что ее так унизили, так опозорили?

Солнце померкло в ее глазах, и весь мир окрасился в самые мрачные тона. Она — серый поросенок?! Она — подавилась грязью?! Где? Когда? Сердце болело, как прожженное раскаленным железом, и жить не хотелось.

Сквозь пальцы, которыми она закрыла лицо, текли обильные слезы. Что больше всего убивало Ниночку — это складность опубликованного мальчишкой памфлета. Так больно сознавать, что «Нинёнок» прекрасно рифмуется с «поросенком», а «скатилась» и «подавилась», как две одинаково прозвучавшие пощечины, горели на Ниночкином лице несмываемым позором.

Она встала, повернулась к оскорбителям и, горько рыдая, тихо побрела в комнаты.

— Пойдем, Колька,— сказал сочинителю памфлета один из его клевретов,— а то эта плакса пожалуется еще — нам и влетит.

Войдя в переднюю и усевшись на сундук, Ниночка с непросохшим от слез лицом призадумалась. Итак, ее оскорбителя зовут Колька... О, если бы ей придумать подобные же стихи, которыми она могла бы опорочить этого Коль-

ку,— с каким бы наслаждением она бросила их ему в лицо!.. Больше часу просидела она так в темном углу передней, на сундуке, и сердечко ее кипело обидой и жаждой мести.

И вдруг бог поэзии, Аполлон, коснулся ее чела перстом своим. Неужели?.. Да, конечно! Без сомнения, у нее на Кольку будут тоже стихи. И нисколько не хуже давешних!

О, первые радости и муки творчества!

Ниночка несколько раз прорепетировала себе под нос те жгучие огненные строки, которые она швырнет Кольке в лицо, и кроткое личико ее озарилось неземной радостью: теперь Колька узнает, как затрагивать ее.

Она сползла с сундука и, повеселевшая, с бодрым видом, снова вышла на крыльцо.

Теплая компания мальчишек почти у самого крыльца затеяла крайне незамысловатую, но приводившую всех трех в восторг игру... Именно — каждый, по очереди, приложив большой палец к указательному, так, что получалось нечто вроде кольца, плевал в это подобие кольца, держа руку от губ на четверть аршина. Если плевок пролетал внутрь кольца, не задев пальцев,— счастливый игрок радостно улыбался. Если же у кого-нибудь слюна попадала на пальцы, то этот неловкий молодой человек награждался оглушительным хохотом и насмешками. Впрочем, он не особенно горевал от такой неудачи, а вытерев мокрые пальцы о край блузы, с новым азартом погружался в увлекательную игру.

Ниночка полюбовалась немного на происходящее, потом поманила пальцем своего оскорбителя и, нагнувшись с крыльца к нему, спросила с самым невинным видом:

— А тебя как зовут?

— А что?— подозрительно спросил осторожный Колька, чуя во всем этом какой-то подвох.

— Да ничего, ничего... Ты только скажи, как тебя зовут?

У нее было такое простодушное наивное лицо, что Колька поддался на эту удочку.

— Ну, Колька,— прохрипел он.

— А-а-а... Колька...

И быстрой скороговоркой выпалила сияющая Ниночка:

Колька-Коленок,
Серый поросенок,
С горки скатился,
Подавился... грязью...

Тут же она бросилась в предусмотрительно оставленную ею полуоткрытою дверь, а вслед ей донеслось:

— Дура собачья!

II

Немного успокоенная, побрела она к себе в детскую. Нянька, разложив на столе какую-то матерчатую дрянь, выкраивала из нее рукав.

— Няня, дождик не идет.

— Ну и хорошо.

— Что ты делаешь?

— Не мешай мне.

— Можно смотреть?

— Нет, нет уж, пожалуйста. Пойди лучше, посмотри, что делает Лиза.

— А потом что? — покорно спрашивает исполнительная Ниночка.

— А потом скажешь мне.

— Хорошо...

При входе Ниночки четырнадцатилетняя Лиза поспешно прячет под стол книгу в розовой обертке, но, разглядев, кто пришел, снова вынимает книгу и недовольно говорит:

— Тебе чего надо?

— Няня сказала, чтобы я посмотрела, что ты делаешь.

— Уроки учу. Не видишь, что ли?

— А можно мне около тебя посидеть? Я тихо.

Глаза Лизы горят, да и красные щеки еще не остыли после книги в розовой обертке. Ей не до сестренки.

— Нельзя, нельзя. Ты мне будешь мешать.

— А няня говорит, что я ей тоже буду мешать.

— Ну так вот что... Пойди, посмотри, где Тузик? Что с ним?

— Да он, наверное, в столовой около стола лежит.

— Ну вот. Так ты пойди, посмотри, там ли он, погладь его и дай ему хлеба.

Ни одной минуты Ниночке не приходит в голову, что от нее хотят избавиться. Просто ей дается ответственное поручение — вот и все.

— А когда он в столовой, так прийти к тебе и сказать? — серьезно спрашивает Ниночка.

— Нет! Ты тогда пойди к папе и скажи, что покормила Тузика. Вообще посиди там у него, понимаешь?..

— Хорошо...

С видом домовитой хозяйки-хлопотуньи спешит Ниночка в столовую. Гладит Тузика, дает ему хлеба и потом озабоченно мчится к отцу (вторая половина поручения — сообщить о Тузике отцу).

— Папа!

Папы в кабинете нет.

— Папа!

Папы нет в гостиной.

— Папа!

Наконец-то... Папа сидит в комнате фрейлен, близко наклонившись к этой последней, держа ее руку в своей руке.

При появлении Ниночки он сконфуженно откидывается назад и говорит с немного преувеличенной радостью и изумлением:

— А-а! Кого я вижу! Наша многоуважаемая дочь! Ну, как ты себя чувствуешь, свет моих очей?

— Папа, я уже покормила Тузика хлебом.

— Ага... И хорошо, брат, сделала, потому они, животные эти, без пищи тово... Ну, а теперь иди себе, голубь мой сизокрылый.

— Куда, папа?

— Ну... пойди ты вот куда... Пойди ты... гм!.. Пойди ты к Лизе и узнай, что она там делает.

— Да я уже только была у нее. Она уроки учит.

— Вот как... Приятно, приятно.

Он красноречиво глядит на фрейлен, потихоньку гладит ее руку и неопределенно мямлит:

— Ну, в таком случае... пойди ты к этой самой... пойди ты к няньке и погляди ты... чем там занимается вышесказанная нянька?

— Она что-то шьет там.

— Ага... Да, постой! Ты сколько кусков хлеба дала Тузику?

— Два кусочка.

— Эка расщедрилась! Разве такой большой пес будет сыт двумя кусочками? Ты ему, ангел мой, еще вкати... Кусочка этак четыре. Да посмотри, кстати, не грызет ли он ножку стола.

— А если грызет, прийти и сказать тебе, да? — глядя на отца светлыми, ласковыми глазами, спрашивает Ниночка.

— Нет, брат, ты это не мне скажи, а этой, как ее... Лизе скажи. Это уже по ее департаменту. Да если есть у этой самой Лизы этакая какая-нибудь смешная книжка с

картинками, то ты ее, значит, тово... Просмотри хорошенько, а потом расскажешь, что ты видела. Поняла?

— Поняла. Посмотрю и расскажу.

— Да это, брат, не сегодня. Рассказать можно и завтра. Над нами не каплет. Верно ведь?

— Хорошо. Завтра.

— Ну, путешествуй!

Ниночка путешествует. Сначала в столовую, где добросовестно засовывает Тузику в оскаленную пасть три куска хлеба, потом в комнату Лизы.

— Лиза! Тузик не грызет ножку стола.

— С чем тебя и поздравляю,— рассеянно роняет Лиза, впившись глазами в книгу.— Ну, иди себе.

— Куда идти?

— Поди к папе. Спроси, что он делает?

— Да я уже была. Он сказал, чтобы ты мне книжку с картинками показала. Ему надо все завтра рассказать...

— Ах ты, Господи! Что это за девчонка!.. Ну, на тебе! Только сиди тихо. А то выгоню.

Покорная Ниночка опускается на скамеечку для ног, разворачивает на коленях данную сестрой иллюстрированную геометрию и долго рассматривает усеченные пирамиды, конусы и треугольники.

— Посмотрела,— говорит она через полчаса, облегченно вздыхая.— Теперь что?

— Теперь? Господи! Вот еще неприкаянный ребенок. Ну, пойди на кухню, спроси у Ариши: что у нас нынче на обед? Ты видела когда-нибудь, как картошку чистят?

— Нет...

— Ну, пойди, посмотри. Потом мне расскажешь.

— Что ж... пойду.

У Ариши гости: соседская горничная и посыльный — «красная шапка».

— Ариша, скоро будешь картошку чистить? Мне надо посмотреть.

— Где там скоро! И через час не уберусь.

— Ну, я посижу, подожду.

— Нашла себе место, нечего сказать!.. Пойди лучше к няньке, скажи, чтоб она тебе чего-нибудь дала.

— А чего?

— Ну, там она знает — чего.

— Чтоб сейчас дала?

— Да, да, сейчас. Иди себе, иди!

III

Целый день быстрые ножки Ниночки переносят ее с одного места на другое. Хлопот уйма, поручений — по горло. И все самые важные, неотложные.

Бедная «неприкаянная» Ниночка.

И только к вечеру, забредя случайно в комнаты тети Веры, Ниночка находит настоящий приветливый прием.

— А-а, Ниночка,— бурно встречает ее тетя Вера.— Тебя-то мне и надо. Слушай, Ниночка... Ты меня слушаешь?

— Да, тетя. Слушаю.

— Вот что, милая... Ко мне сейчас придет Александр Семеныч. Ты знаешь его?

— Такой, с усами?

— Вот именно. И ты, Ниночка... (тетя странно и тяжело дышит, держась одной рукой за сердце) ты, Ниночка... сиди у меня, пока он здесь, и никуда не уходи. Слышишь? Если он будет говорить, что тебе пора спать, ты говори, что не хочешь... Слышишь?

— Хорошо. Значит, ты меня никуда не пошлешь?

— Что ты! Куда же я тебя пошлю? Наоборот, сиди тут, и больше никаких. Поняла?

— Барыня! Ниночку можно взять? Ей уже спать давно пора.

— Нет, нет, она еще посидит со мною. Правда, Александр Семеныч?

— Да пусть спать идет, чего там?— говорит этот молодой человек, хмуря брови...

— Нет, нет, я ее не пущу. Я ее так люблю...

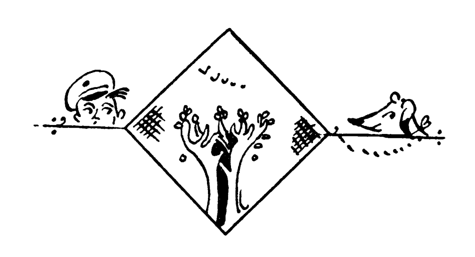
И судорожно обнимает тетя Вера большими теплыми руками крохотное тельце девочки, как утопающий, который в последней предсмертной борьбе готов ухватиться даже за крохотную соломинку...

А когда Александр Семеныч, сохраняя угрюмое выражение лица, уходит, тетя как-то вся опускается, вянет и говорит совсем другим, не прежним тоном:

— А теперь ступай, детка, спать. Нечего тут рассиживаться. Вредно...

* * * *

Стягивая с ноги чулочек, усталая, но довольная Ниночка думает про себя, в связи с той молитвой, которую она только что вознесла к небу, по настоянию няньки, за покойную мать: «А что, если и я помру? Кто тогда все делать будет?»



ГРАБИТЕЛЬ

I

С переулка, около садовой калитки, через наш забор на меня смотрело молодое, розовое лицо — черные глаза не мигали, и усики забавно шевелились.

Я спросил:

— Чего тебе надо?

Он ухмыльнулся:

— Собственно говоря — ничего.

— Это наш сад,— деликатно намекнул я.

— Ты, значит, здешний мальчик?

— Да. А то какой же?

— Ну, как твое здоровье? Как поживаешь?

Ничем не мог так польстить мне незнакомец, как этими вопросами. Я сразу почувствовал себя взрослым, с которым ведут серьезный разговор.

— Благодарю вас,— солидно сказал я, роя ногой песок садовой дорожки.— Поясницу что-то поламывает. К дождю, что ли!..

Это вышло шикарно. Совсем как у тетки.

— Здорово, брат! Теперь ты мне скажи вот что: у тебя, кажется, должна быть сестра?

— А ты откуда знаешь?

— Ну, как же... У всякого порядочного мальчика должна быть сестра.

— А у Мотьки Нароновича нет! — возразил я.

— Так Мотька разве порядочный мальчик? — ловко отпарировал незнакомец.— Ты гораздо лучше.

Я не остался в долгу:

— У тебя красивая шляпа.

— Ага! Клюнуло!

— Что ты говоришь?

— Я говорю: можешь ты представить себе человека, который спрыгнул бы с этой высоченной стены в сад?

— Ну, это, брат, невозможно.

— Так знай же, о юноша, что я берусь это сделать. Смотри-ка!

Если бы незнакомец не перенес вопроса в область чистого спорта, к которому я всегда чувствовал род болезненной страсти, я, может быть, протестовал бы против такого бесцеремонного вторжения в наш сад.

Но спорт это — святое дело.

— Гоп!— И молодой человек, вскочив на верхушку стены, как птица спорхнул ко мне с пятиаршинной высоты.

Это было так недосягаемо для меня, что я даже не завидовал.

— Ну, здравствуй, отроче. А что поделывает твоя сестра? Ее, кажется, Лизой зовут?

— Откуда ты знаешь?

— По твоим глазам вижу.

Это меня поразило. Я плотно зажмурил глаза и сказал:

— А теперь?

Эксперимент удался, потому что незнакомец, повертевшись бесплодно, сознался:

— Теперь не вижу. Раз глаза закрыты, сам, брат, понимаешь. Ты во что тут играешь, в саду-то?

— В саду-то? В домик.

— Ну? Вот-то ловко! Покажи-ка мне твой домик.

Я доверчиво повел прыткого молодого человека к своему сооружению из нянькиных платков, камышовой палки и нескольких досок, но вдруг какой-то внутренний толчок остановил меня...

«О, Господи,— подумал я.— А вдруг это какой-нибудь вор, который задумал ограбить мой домик, утащить все то, что было скоплено таким трудом и лишениями: живая черепаха в коробочке, ручка от зонтика, в виде собачьей головы, баночка с вареньем, камышовая палка и бумажный складной фонарик».

— А зачем тебе?— угрюмо спросил я.— Я лучше пойду спрошу у мамы, можно ли тебе показать?

Он быстро, с некоторым испугом, схватил меня за руку.

— Ну, не надо, не надо, не надо! Не уходи от меня... Лучше не показывай своего домика, только не ходи к маме.

— Почему?

— Мне без тебя будет скучно.

— Ты, значит, ко мне пришел?

— Конечно! Вот-то чудак! И ты еще сомневался... Сестра Лиза дома сейчас?

— Дома. А что?

— Ничего, ничего. Это что за стена? Ваш дом?

— Да... Вот то окно — папина кабинета.

— Пойдем-ка подальше, посидим на скамеечке.

— Да я не хочу. Что мы там будем делать?

— Я тебе что-нибудь расскажу...

— Ты загадки умеешь?

— Сколько угодно! Такие загадки, что ты ахнешь.

— Трудные?

— Да уж такие, что даже Лиза не отгадает. У нее сейчас никого нет?

— Никого. А вот отгадай ты загадку,— предложил я, ведя его за руку в укромный уголок сада.— «В одном бочонке два пива — желтое и белое». Что это такое?

— Гм!— задумчиво сказал молодой человек.— Вот так штука! Не яйцо ли это будет?

— Яйцо...

На моем лице он ясно увидел недовольство, разочарование: я не привык, чтобы мои загадки так легко разгадывались.

— Ну, ничего,— успокоил меня незнакомец.— Загадай-ка мне еще загадку, авось я и не отгадаю.

— Ну, вот отгадай: «Семьдесят одежек и все без застежек».

Он наморщил лоб и погрузился в задумчивость.

— Шуба?

— Нет-с, не шуба-с!..

— Собака?

— Почему собака?— удивился я его бестолковости.— Где же это у собаки семьдесят одежек?

— Ну, если ее,— смущенно сказал молодой человек,— в семьдесят шкур зашьют.

— Для чего?— безжалостно улыбаясь, допрашивал я.

— Ну, мало ли... Если, скажем, хозяин чудак.

— Нет, это ты, брат, не отгадал!

II

После этого он понес совершеннейшую чушь, которая доставила мне глубокое удовольствие:

— Велосипед? Море? Зонтик? Дождик?

— Эх, ты!— снисходительно сказал я.— Это кочан капусты.

— А ведь в самом деле!— восторженно крикнул молодой человек.— Это замечательно! И как это я раньше не догадался. А я-то думаю: море? Нет, не море... Зонтик? Нет, не похоже. Вот-то продувной братец у Лизы! Кстати, она сейчас в своей комнате, да?

— В своей.

— Одна?

— Одна. Ну, что ж ты... Загадку-то!

— Ага! Загадку? Гм... Какую же, братец, тебе загадку? Разве эту: «Два конца, два кольца, а посередине гвоздик».

Я с сожалением оглядел моего собеседника: загадка была пошлейшая, элементарнейшая, затасканная и избитая.

Но внутренняя деликатность подсказала мне не отгадывать ее сразу.

— Что же это такое?— задумчиво промолвил я.— Вешалка?

— Какая же вешалка, если посередине гвоздик?— вяло возразил он, думая о чем-то другом.

— Ну, ее же прибили к стене, чтобы держалась.

— А два конца, где они?

— Костыли? — лукаво спросил я и вдруг крикнул с невыносимой гордостью: — Ножницы!!.

— Вот, черт возьми! Догадался-таки! Ну, и ловкач же ты! А сестра Лиза отгадала бы эту загадку?

— Я думаю, отгадала бы. Она очень умная.

— И красивая, добавь. Кстати, у нее есть какие-нибудь знакомые?

— Есть. Эльза Либкнехт, Милочка Одинцова, Надя...

— Нет, а мужчины-то. Есть?

— Есть. Один тут к нам ходит.

— Зачем же он ходит?

— Он?

В задумчивости я опустил голову, и взгляд мой упал на щегольские лакированные ботинки незнакомца.

Я пришел в восхищение:

— Сколько стоят?

— Пятнадцать рублей. Зачем же он ходит, а? Что ему нужно?

— Он, кажется, замуж хочет за Лизу. Ему уже пора, он старый. А эти банты — завязываются или так уже куплены?

— Завязываются. Ну, а Лиза хочет за него замуж?

— Согни-ка ногу... Почему они не скрипят? Значит, не новые,— критически сказал я.— У кучера Матвея были новые, так небось скрипели. Ты бы их смазал чем-нибудь.

— Хорошо, смажу. Ты мне скажи, отроче, а Лизе хочется за него замуж?

Я вздернул плечами.

— А то как же! Конечно, хочется.

Он взял себя за голову и откинулся на спинку скамьи.

— Ты чего?

— Голова болит.

Болезни — была единственная тема, на которую я мог говорить солидно.

— Ничего... Не с головой жить, а с добрыми людьми.

Это нянькино изречение пришлось ему, очевидно, по вкусу.

— Пожалуй, ты прав, глубокомысленный юноша. Так ты утверждаешь, что Лиза хочет за него замуж?

Я удивился:

— А как же иначе?! Как же тут не хотеть? Ты разве не видел никогда свадьбы?

— А что?

— Да ведь, будь я женщиной, я бы каждый день женился: на груди белые цветочки, банты, музыка играет, все кричат ура, на столе икры стоит вот такая коробка, и никто на тебя не кричит, если ты много съел. Я, брат, бывал на этих свадьбах.

— Так ты полагаешь,— задумчиво произнес незнакомец,— что она именно поэтому хочет за него замуж?

— А то почему же!.. В церковь едут в карете, да у каждого кучера на руке бант повязан. Подумай-ка! Жду — не дождусь, когда эта свадьба начнется.

— Я знал мальчиков,— небрежно сказал незнакомец,— до того ловких, что они могли до самого дома на одной ноге доскакать...

Он затронул слабейшую из моих струн.

— Я тоже могу!

— Ну что ты говоришь! Это неслыханно! Неужели доскачешь?

— Ей-Богу! Хочешь?

— И по лестнице наверх?

— И по лестнице.

— И до комнаты Лизы?

— Там уж легко. Шагов двадцать.

— Интересно было бы мне на это посмотреть... Только вдруг ты меня надуешь?.. Как я проверю? Разве вот что... Я дам тебе кусочек бумажки, а ты и доскачи с ним до комнаты Лизы. Отдай ей бумажку, а она пусть черкнет на ней карандашом, хорошо ли ты доскакал!

— Здорово!— восторженно крикнул я.— Вот увидишь — доскачу. Давай бумажку!

Он написал несколько слов на листке из записной книжки и передал мне.

— Ну, с Богом. Только если кого-нибудь другого встретишь, бумажки не показывай — все равно тогда не поверю.

— Учи еще!— презрительно сказал я.— Гляди-ка!

По дороге до комнаты сестры, между двумя гигантскими прыжками на одной ноге, в голову мою забралась предательская мысль: что, если он нарочно придумал этот спорт, чтобы отослать меня и, пользуясь случаем, обокрасть мой домик? Но я сейчас же отогнал эту мысль. Был я мал, доверчив и не думал, что люди так подлы. Они кажутся серьезными, добрыми, но чуть где запахнет камышовой тростью, нянькиным платком или сигарной коробкой — эти люди превращаются в бессовестных грабителей.

Лиза прочла записку, внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Скажи этому господину, что я ничего писать не буду, а сама к нему выйду.

— А ты скажешь, что я доскакал на одной ноге? И заметь — все время на левой.

— Скажу, скажу. Ну, беги, глупыш, обратно.

Когда я вернулся, незнакомец не особенно спорил насчет отсутствия письменного доказательства.

— Ну, подождем,— сказал он.— Кстати, как тебя зовут?

— Ильюшей. А тебя?

— Моя фамилия, братец ты мой, Пронин.

Я ахнул:

— Ты... Пронин? Нищий?

В моей голове сидело весьма прочное представление о наружном виде нищего: под рукой костыль, на единственной ноге обвязанная тряпкой галоша и за плечами грязная сумка, с бесформенными кусками сухого хлеба.

— Нищий?— изумился Пронин.— Какой нищий?

— Мама недавно говорила Лизе, что Пронин — нищий.

— Она это говорила?— усмехнулся Пронин.— Она это, вероятно, о ком-нибудь другом.

— Конечно!— успокоился я, поглаживая рукой его лакированный ботинок.— У тебя брат-то какой-нибудь есть, нищий?

— Брат? Вообще, брат есть.

— То-то мама и говорила: много, говорит, ихнего брата, нищих, тут ходит. У тебя много ихнего брата?..

Он не успел ответить на этот вопрос... Кусты зашевелились, и между листьями показалось бледное лицо сестры.

Пронин кивнул ей головой и сказал:

— Знавал я одного мальчишку — что это был за пролаза — даже удивительно! Он мог, например, в такой темноте, как теперь, отыскать в сирени пятерки, да как! Штук до десяти. Теперь уж, пожалуй, и нет таких мальчиков...

— Да я могу тебе найти хоть сейчас сколько угодно. Даже двадцать!

— Двадцать?— воскликнул этот простак, широко раскрывая изумленные глаза.— Ну, это, милый мой, что-то невероятное...

— Хочешь, найду?

— Нет! Я не могу даже поверить. Двадцать пятерок... Ну,— с сомнением покачал он головой,— пойди поищи... Посмотрим, посмотрим. А мы тут с сестрой тебя подождем...

Не прошло и часа, как я блестяще исполнил свое предприятие. Двадцать пятерок были зажаты в кулак. Отыскав в темноте Пронина, о чем-то горячо рассуждавшего с сестрой, я, сверкая глазами, сказал:

— Ну! Не двадцать? На-ка, пересчитай!

Дурак я был, что искал ровно двадцать. Легко мог бы его надуть, потому что он даже не потрудился пересчитать мои пятерки.

— Ну и ловкач же ты,— сказал он изумленно.— Прямо-таки огонь. Такой мальчишка способен даже отыскать и притащить к стене садовую лестницу.

— Большая важность!— презрительно засмеялся я.— Только идти не хочется.

— Ну, не надо. Тот мальчишка, впрочем, был попрытчей тебя. Пребойкий мальчик. Он таскал лестницу, не держа ее руками, а просто зацепивши перекладиной за плечи.

— Я тоже смогу,— быстро сказал я.— Хочешь?

— Нет, это невероятно! К самой стене!..

— Подумаешь — трудность!

Решительно в деле с лестницей я поставил рекорд: тот, пронинский мальчишка только тащил ее грудью, а я при этом еще, в виде премии, прыгал на одной ноге и гудел, как пароход.

Пронинский мальчишка был посрамлен.

— Ну, хорошо,— сказал Пронин.— Ты удивительный мальчик. Однако мне старые люди говорили, что в сирени тройки находить труднее, чем пятерки...

О, глупец! Он даже и не подозревал, что тройки попадаются в сирени гораздо чаще, чем пятерки! Я благоразумно скрыл от него это обстоятельство и сказал с деланным равнодушием:

— Конечно, труднее. А только я могу и троек достать двадцать штук. Эх, что там говорить! Тридцать штук достану!

— Нет, этот мальчик сведет меня в могилу от удивления. Ты это сделаешь, несмотря на темноту?! О, чудо!

— Хочешь? Вот увидишь!

Я нырнул в кусты, пробрался к тому месту, где росла сирень, и углубился в благородный спорт.

Двадцать шесть троек были у меня в руке, несмотря на то что прошло всего четверть часа. Мне пришло в голову, что Пронина легко поднадуть: показать двадцать шесть, а уверить его, что тридцать. Все равно этот простачок считать не будет.

III

Простачок... Хороший простачок! Большего негодяя я и не видел. Во-первых, когда я вернулся, он исчез вместе с сестрой. А во-вторых, когда я пришел к своему дому, я сразу раскусил все его хитрости: загадки, пятерки, тройки, похищение сестры и прочие штуки — все это было подстроено для того, чтобы отвлечь мое внимание и обокрасть мой домик... Действительно, не успел я подскакать к лестнице, как сразу увидел, что около нее уже никого не было, а домик мой, находившийся в трех шагах, был начисто ограблен: нянькин большой платок, камышовая палка и сигарная коробка — все исчезло. Только черепаха, исторгнутая из коробки, печально и сиротливо ползала возле разбитой банки с вареньем...

Этот человек обокрал меня еще больше, чем я думал в то время, когда разглядывал остатки домика: через три

дня пропавшая сестра явилась вместе с Прониным и, заплакав, призналась отцу с матерью:

— Простите меня, но я уже вышла замуж.

— За кого?!!

— За Григория Петровича Пронина.

Вдвойне это было подло: они обманули меня, надсмеялись надо мной, как над мальчишкой, да кроме того выхватили из-под самого носа музыку, карету, платки на рукавах кучеров и икру, которую можно было бы на свадьбе есть, сколько влезет — все равно никто не обращает внимания.

Когда эта самая жгучая обида зажила, я как-то спросил у Пронина:

— Сознайся, зачем ты приходил: украсть у меня мои вещи?

— Ей-Богу, не за этим,— засмеялся он.

— А зачем взял платок, палку, коробку и разбил банку с вареньем?

— Платком укутал Лизу, потому что она вышла в одном платье, в коробку положил разные свои мелкие вещи, палку я взял на всякий случай, если в переулке кто-нибудь меня заметит, а банку с вареньем разбил нечаянно...

— Ну, ладно,— сказал я, делая рукой жест отпущения грехов.— Ну, скажи мне хоть какую-нибудь загадку...

— Загадку? Изволь, братец. Два кольца, два конца, а посередине...

— Говорил уже! Новую скажи...

— Новую?.. Гм...

Очевидно, этот человек проходил весь свой жизненный путь только с одной этой загадкой в запасе. Ничего другого у него не было... Как так живут люди — не понимаю...

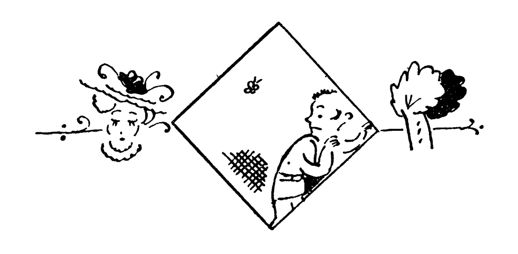
— Неужели больше ты ничего не знаешь!..

И вдруг — нет! Этот человек был решительно не глуп — он обвел глазами гостиную и разразился великолепной новой, очевидно, только что им придуманной загадкой:

— Стоит корова, мычать здорова. Хватишь ее по зубам — вою не оберешься.

Это был чудеснейший экземпляр загадки, совершенно меня примирившей с хитроумным шурином.

Оказалось: «Рояль».



СЛАВНЫЙ РЕБЕНОК

I

Проснувшись, мальчик Сашка повернулся на другой бок и стал думать о промелькнувшем, как сон, вчерашнем дне.

Вчерашний день был для Сашки полон тихих детских радостей: во-первых, он украл у квартиранта полкоробки красок и кисточку, затем пристав описывал в гостиной мебель и, в-третьих, с матерью был какой-то припадок удушья... Звали доктора, пахнущего мылом, приходили соседки; вместо скучного обеда все домашние ели ветчину, сардины и балык, а квартиранты пошли обедать в ресторан — что было тоже неожиданно-любопытно и непохоже на ряд предыдущих дней.

Припадок матери, кроме перечисленных веселых минут, дал Сашке еще и практические выгоды: когда его послали в аптеку, он утаил из сдачи двугривенный, а потом забрал себе все бумажные колпачки от аптечных коробочек и бутылочек и коробку из-под пилюль.

Несмотря на кажущуюся вздорность увлечения колпачками и коробочками, Сашка — прехитрый мальчик. Хитрость у него чисто звериная, упорная, непоколебимая. Однажды квартирант Возженко заметил, что у него пропал тюбик с краской и кисть. Он стал запирать ящик с красками в комод и запирал их таким образом целый месяц. И целый месяц, каждый день после ухода квартиранта Возженко, Сашка подходил к комоду и проверял, заперт ли он? Расчет у Сашки был простой — забудет же когда-нибудь Возженко запереть комод...

Вчера как раз Возженко забыл сделать это.

Сашка, лежа, даже зажмурился от удовольствия и сознания, сколько чудес натворит он этими красками. Потом Сашка вынул из-под одеяла руку и разжал ее: со вчераш-

него дня он все носил в ней аптекарский двугривенный и спать лег, раздевшись одной рукой.

Двугривенный, влажный, грязный, был здесь.

II

Налюбовавшись двугривенным, Сашка вернулся к своим утренним делишкам.

Первой его заботой было узнать, что готовит мать ему на завтрак. Если котлеты — Сашка поднимет капризный крик и заявит, что, кроме яиц, он ничего есть не может. Если же яйца — Сашка поднимет такой же крик и выразит самые определенные симпатии к котлетам и отвращение к «этим паршивым яйцам».

На тот случай, если мать, расщедрившись, приготовит и то, и другое, Сашка измыслил для себя недурную лазейку: он потребует оставшиеся от вчерашнего пира сардины.

Мать он любит, но любовь эта странная — полное отсутствие жалости и легкое презрение.

Презрение укоренилось в нем с тех пор, как он заметил в матери черту, свойственную всем почти матерям: иногда за пустяк, за какой-нибудь разбитый им бокал, она поднимала такой крик, что можно было оглохнуть. А за что-нибудь серьезное, вроде позавчерашнего дела с пуговицами, она только переплетала свои пухлые пальцы (Сашка сам пробовал сделать это, но не выходило — один палец оказывался лишним) и восклицала с легким стоном:

— Сашенька! Ну что же это такое? Ну как же это можно? Ну как же тебе не стыдно?

Даже сейчас, натягивая на худые ножонки чулки, Сашка недоумевает, каким образом могли догадаться, что история с пуговицами — дело рук его, Сашки, а не кого-нибудь другого?

История заключалась в том, что Сашка, со свойственным ему азартом, увлекся игрой в пуговицы... Проигравшись дотла, он оборвал с себя все, что было можно: штанишки его держались только потому, что он все время надувал живот и ходил, странно выпячиваясь. Но когда фортуна решительно повернулась к нему спиной, Сашка задумал одним грандиозным взмахом обогатить себя: встал ночью с кроватки, обошел, неслышно скользя, все квартирантские комнаты и, вооружившись ножницами, вырезал все до одной пуговицы, бывшие в их квартире.

На другой день квартиранты не пошли на службу, а мать долго, до обеда, ходила по лавкам, подбирая пуговицы, а пос-

ле обеда сидела с горничной до вечера и пришивала к квартирантовым брюкам и жилетам целую армию пуговиц.

«Не понимаю... Как она могла догадаться, что это я?» — думал Сашка, натягивая на ногу башмак и положив по этому случаю двугривенный в рот.

III

Отказ есть приготовленные яйца и требование котлет заняло Сашкино праздное время на полчаса.

— Почему ты не хочешь есть яйца, негодный мальчишка?

— Так.

— Как — так?

— Да так.

— Ну, так знай же, котлет ты не получишь!

— И не надо.

Сашка бьет наверняка. Он с деланной слабостью отходит к углу и садится на ковер.

«Бледный он какой-то сегодня»,— думает сердобольная мать.

— Сашенька, милый, ну, скушай же яйца! Мама просит.

— Не хочу! Сама ешь.

— А, чтоб ты пропал, болван! Вот вырастила идиота...

Мать встает и отправляется в кухню.

Съев котлету, Сашка с головой окунается в омут мелких и крупных дел.

Озабоченный, идет он прежде всего в коридор и, открыв сундучок горничной Лизаветы, плюет в него. Это за то, что она вчера два раза толкнула его и пожалела замазки, оставшейся после стекольщиков.

Свершив акт правосудия, идет на кухню и хнычет, чтобы ему дали пустую баночку и сахару.

— Для чего тебе?

— Надо.

— Да для чего?

— Надо!

— Надо, надо... А для чего надо? Вот — не дам.

— Дай, дура! А то матери расскажу, как ты вчера из графина для солдата водку отливала... Думаешь, не видел?

— На, чтоб ты пропал!

Желание кухарки исполняется: Сашка исчезает. Он сидит в ванной и ловит на пыльном окне мух. Наловив в баночку, доливает водой, высыпает сахар и долго взбалтывает эту странную настойку, назначение которой для самого изобретателя загадочно и неизвестно.

До обеда еще далеко. Сашка решает пойти посидеть к квартиранту Григорию Ивановичу, который находится дома и что-то пишет.

— Здравствуйте, Григориваныч,— сладеньким тонким голоском приветствует его Сашка.

— Пошел, пошел вон. Мешаешь только.

— Да я здесь посижу. Я не буду мешать.

У Сашки определенных планов пока нет, и все может зависеть только от окружающих обстоятельств: может быть, удастся, когда квартирант отвернется, стащить перо или нарисовать на написанном смешную рожицу, или сделать что-либо другое, что могло бы на весь день укрепить в Сашке хорошее расположение духа.

— Говорю тебе — убирайся!

— Да что я вам мешаю, что ли?

— Вот я тебя сейчас за уши да за дверь... Ну?

— Ма-ама-а!!! — жалобно кричит Сашка, зная, что мать в соседней комнате.

— Что такое? — слышится ее голос.

— Тш!.. Чего ты кричишь,— шипит квартирант, зажимая Сашке рот.— Я же тебя не трогаю. Ну, молчи, молчи, милый мальчик...

— Ма-ама! Он меня прогоняет!

— Ты, Саша, мешаешь Григорию Ивановичу,— входит мать.— Он вам, вероятно, мешает?

— Нет, ничего, помилуйте,— морщится квартирант.— Пусть сидит.

— Сиди, Сашенька, только смирненько.

«Черти бы тебя подрали с твоим Сашенькой»,— думает квартирант, а вслух говорит:

— Бойкий мальчуган! Хе-хе! Общество старших любит...

— Да, уж он такой,— подтверждает мать.

IV

За обедом Сашке — сплошной праздник.

Он бракует все блюда, вмешивается в разговоры, болтает ногами, руками, головой, и, когда результатом соединенных усилий его конечностей является опрокинутая тарелка с супом, он считает, что убил двух зайцев: избавился от ненавистной жидкости и внес в среду обедающих веселую, шумную суматоху.

— Я котлет не желаю!

— Почему?

— Они с волосами.

— Что ты врешь? Не хочешь? Ну, и пухни с голоду.

Сашка, заинтересованный этой перспективой, отодвигает котлеты и, притихший, сидит, ни до чего не дотрагиваясь, минут пять. Потом решив, что наголодался за этот промежуток достаточно, пробует потихоньку живот: не распух ли?

Так как живот нормален, то Сашка дает себе слово когда-нибудь на свободе заняться этим вопросом серьезнее — голодать до тех пор, пока не вспухнет, как гора.

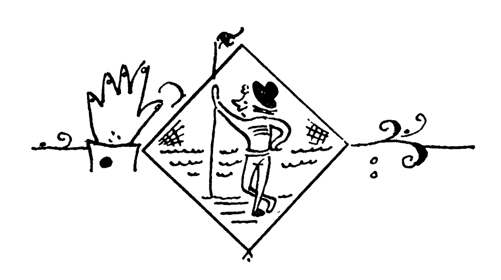
V

Обед окончен, но бес хлопотливости по-прежнему не покидает Сашки.

До отхода ко сну нужно еще зайти к Григорию Ивановичу и вымазать салом все стальные перья на письменном столе (идея, родившаяся во время визита), а потом не позабыть бы украсть для сапожникова Борьки папирос и вылить баночку с мухами в Лизаветин сундук за то, что толкнула.

Даже улегшись спать, Сашка лелеял и обдумывал последний план: выждавши, когда все заснут, пробраться в гостиную и отрезать красные сургучные печати, висящие на ножках столов, кресел и на картинах...

Они очень и очень пригодятся Сашке.



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕНЬ У КИНДЯКОВЫХ

Одиннадцать часов. Утро морозное, но в комнате тепло. Печь весело гудит и шумит, изредка потрескивая и выбрасывая на железный лист, прибитый к полу на этот случай, целый сноп искр. Неровный отблеск огня уютно бегает по голубым обоям.

Все четверо детей Киндяковых находятся в праздничном, сосредоточенно-торжественном настроении. Всех четверых праздник будто накрахмалил, и они тихонько сидят, боясь пошевелиться, стесненные в новых платьицах и костюмчиках, начисто вымытые и причесанные.

Восьмилетний Егорка уселся на скамеечке у раскрытой печной дверки и, не мигая, вот уже полчаса смотрит на огонь.

На душу его сошло тихое умиление: в комнате тепло, новые башмаки скрипят так, что лучше всякой музыки, и к обеду пирог с мясом, поросенок и желе.

Хорошо жить. Только бы Володька не бил и, вообще, не задевал его. Этот Володька — прямо какое-то мрачное пятно на беспечальном существовании Егорки.

Но Володьке — двенадцатилетнему ученику городского училища — не до своего кроткого меланхоличного брата. Володя тоже всей душой чувствует праздник, и на душе его светло.

Он давно уже сидит у окна, стекла которого мороз украсил затейливыми узорами, и читает.

Книга — в старом, потрепанном, видавшем виды переплете, и называется она: «Дети капитана Гранта». Перелистывая страницы, углубленный в чтение Володя нет-нет да и посмотрит со стесненным сердцем: много ли осталось до конца? Так горький пьяница с сожалением рассматривает на свет остатки живительной влаги в графинчике.

Проглотив одну главу, Володя обязательно сделает маленький перерыв: потрогает новый лакированный пояс, которым подпоясана свеженькая ученическая блузка, полюбуется на свежий излом в брюках и в сотый раз решит, что нет красивее и изящнее человека на земном шаре, чем он.

А в углу, за печкой, там, где висит платье мамы, примостились самые младшие Киндяковы... Их двое: Милочка (Людмила) и Карасик (Костя). Они, как тараканы, выглядывают из своего угла и все о чем-то шепчутся.

Оба еще со вчерашнего дня уже решили эмансипироваться и зажить своим домком. Именно — накрыли ящичек из-под макарон носовым платком и расставили на этом столе крохотные тарелочки, на которых аккуратно разложены: два кусочка колбасы, кусочек сыру, одна сардинка и несколько карамелек. Даже две бутылочки из-под одеколона украсили этот торжественный стол: в одной «церковное» вино, в другой цветочек — все, как в первых домах.

Оба сидят у своего стола, поджавши ноги, и не сводят восторженных глаз с этого произведения уюта и роскоши.

И только одна ужасная мысль грызет их сердца, что, если Володька обратит внимание на устроенный ими стол? Для этого прожорливого дикаря нет ничего святого: сразу налетит, одним движением опрокинет себе в рот колбасу, сыр, сардинку и улетит, как ураган, оставив после себя мрак и разрушение.

— Он читает,— шепчет Карасик.

— Пойди, поцелуй ему руку... Может, тогда не тронет. Пойдешь?

— Сама пойди,— сипит Карасик.— Ты девочта.

Буквы «к» Карасик не может выговорить. Это для него закрытая дверь. Он даже имя свое произносит так:

— Тарасит.

Милочка со вздохом встает и идет с видом хлопотливой хозяйки к грозному брату. Одна из его рук лежит на краю подоконника; Милочка тянется к ней, к этой загрубевшей от возни со снежками, покрытой рубцами и царапинами от жестоких битв, страшной руке... Целует свежими розовыми губками.

И робко глядит на ужасного человека.

Эта умилостивительная жертва смягчает Володино сердце. Он отрывается от книги.

— Ты что, красавица? Весело тебе?

— Весело.

— То-то. А ты вот такие пояса видала?

Сестра равнодушна к эффектному виду брата, но, чтобы подмазаться к нему, хвалит:

— Ах, какой пояс! Прямо прелесть!..

— То-то и оно. А ты понюхай, чем пахнет.

— Ах, как пахнет!!! Прямо — кожей.

— То-то и оно.

Милочка отходит в свой уголок и снова погружается в немое созерцание стола. Вздыхает... Обращается к Карасику:

— Поцеловала.

— Не дерется?

— Нет. А там окно такое замерзнутое.

— А Егорта стола не тронет? Пойди и ему поцелуй руту.

— Ну, вот еще! Всякому целовать. Чего недоставало!

— А если он на стол наплюнет?

— Пускай, а мы вытирем.

— А если на толбасу наплюнет?

— А мы вытирем. Не бойся, я сама съем. Мне не противно.

В дверь просовывается голова матери.

— Володенька, к тебе гость пришел, товарищ!

Боже, какое волшебное изменение тона! В будние дни разговор такой: «Ты что же это, дрянь паршивая, с курями клевал, что ли? Где в чернила убрался? Вот придет отец, скажу ему: он тебе пропишет ижицу. Сын, а хуже босявки!»

А сегодня мамин голос — как флейта. Вот это праздничек!

Пришел Коля Чебурахин.

Оба товарища чувствуют себя немного неловко в этой атмосфере праздничного благочиния и торжественности.

Странно видеть Володе, как Чебурахин шаркнул ножкой, здороваясь с матерью, и как представился созерцателю — Егорке:

— Позвольте представиться, Чебурахин. Очень приятно.

Как все это необычно! Володя привык видеть Чебурахина в другой обстановке, и манеры Чебурахина, обыкновенно, были иные.

Чебурахин, обыкновенно, ловил на улице зазевавшегося гимназистика, грубо толкал его в спину и сурово спрашивал:

— Ты чего задаешься?

— А что? — в предсмертной тоске шептал робкий «карандаш». — Я ничего.

— Вот тебе и ничего! По морде хочешь схватить?

— Я ведь вас не трогал, я вас даже не знаю.

— Говори: где я учусь? — мрачно и величественно спрашивал Чебурахин, указывая на потускневший, полуоборванный герб на фуражке.

— В городском.

— Ага! В городском! Так почему же ты, мразь несчастная, не снимаешь передо мной шапку? Учить нужно?

Ловко сбитая Чебурахиным гимназическая фуражка летит в грязь. Оскорбленный, униженный гимназист громко рыдает, а Чебурахин, удовлетворенный, «как тигр (его собственное сравнение) крадется» дальше.

И вот теперь этот страшный мальчик, еще более страш-

ный, чем Володя, вежливо здоровается с мелкотой, а когда Володина мать спрашивает его фамилию и чем занимаются его родители, яркая, горячая краска заливает нежные, смуглые, как персик, чебурахинские щеки.

Взрослая женщина беседует с ним, как с равным, она приглашает садиться! Поистине, это Рождество делает с людьми чудеса!

Мальчики садятся у окна и, сбитые с толку необычностью обстановки, улыбаясь, поглядывают друг на друга.

— Ну, вот хорошо, что ты пришел. Как поживаешь?

— Ничего себе, спасибо. Ты что читаешь?

— «Дети капитана Гранта». Интересная!

— Дашь почитать?

— Дам. А у тебя не порвут?

— Нет, что ты! (Пауза.) А я вчера одному мальчику по морде дал.

— Ну?

— Ей-Богу. Накажи меня Бог, дал. Понимаешь, иду я по Слободке, ничего себе не думаю, ка-ак кирпичиной мне в ногу двинет! Я уж тут не стерпел. Кэ-эк ахну!

— После Рождества надо пойти на Слободку бить мальчишек. Верно?

— Обязательно пойдем. Я резину для рогатки купил. (Пауза.) Ты бизонье мясо ел когда-нибудь?

Володе смертельно хочется сказать: «ел». Но никак не возможно... Вся жизнь Володи прошла на глазах Чебурахина, и такое событие, как потребление в пищу бизоньего мяса, никак не могло бы пройти незамеченным в их маленьком городке.

— Нет, не ел. А, наверное, вкусное. (Пауза.) Ты бы хотел быть пиратом?

— Хотел. Мне не стыдно. Все равно, пропащий человек...

— Да и мне не стыдно. Что ж, пират такой же человек, как и другие. Только что грабит.

— Понятно. Зато приключения. (Пауза.) А позавчера я одному мальчишке тоже по зубам дал. Что это, в самом деле, такое?! Наябедничал на меня тетке, что курю. (Пауза.) А австралийские дикари мне не симпатичны, знаешь! Африканские негры лучше.

— Бушмены. Они привязываются к белым.

А в углу бушмен Егорка уже действительно привязался к белым:

— Дай конфету, Милка, а то на стол плюну.

— Пошел, пошел! Я маме скажу.

— Дай конфету, а то плюну.

— Ну и плюй. Не дам.

Егорка исполняет свою угрозу и равнодушно отходит к печке. Милочка стирает передничком с колбасы плевок и снова аккуратно укладывает ее на тарелку. В глазах ее долготерпение и кротость.

Боже, сколько в доме враждебных элементов... Так и приходится жить — при помощи ласки, подкупа и унижения.

— Этот Егорка меня смешит,— шепчет она Карасику, чувствуя некоторое смущение.

— Он дурат. Тат будто это его тонфеты.

А к обеду приходят гости: служащий в пароходстве Челибеев с женой и дядя Аким Семеныч. Все сидят, тихо перебрасываясь односложными словами, до тех пор, пока не уселись за стол.

За столом шумно.

— Ну, кума, и пирог! — кричит Челибеев.— Всем пирогам пирог.

— Где уж там! Я думала, что совсем не выйдет. Такие паршивые печи в этом городе, что хоть на грубке пеки.

— А поросенок! — восторженно кричит Аким, которого все немного презирают за его бедность и восторженность.— Это ж не поросенок, а черт знает что такое.

— Да, и подумайте: такой поросенок, что тут и смотреть нечего — два рубли!! С ума они посходили там на базаре, чи што! Кура — рубль, а к индюшкам приступу нет! И что оно такое будет дальше, прямо неизвестно.

В конце обеда произошел инцидент: жена Челибеева опрокинула стакан с красным вином и залила новую блузку Володи, сидевшего подле.

Киндяков-отец стал успокаивать гостью, а Киндякова-мать ничего не сказала... Но по лицу ее было видно, что, если бы это было не у нее в доме и был бы не праздник, она бы взорвалась от гнева и обиды за испорченное добро — как пороховая мина.

Как воспитанная женщина, как хозяйка, понимающая, что такое хороший тон, Киндякова-мать предпочла накинуться на Володю:

— Ты чего тут под рукой расселся! И что это за паршивые такие дети, они готовы мать в могилу заколотить. Поел, кажется,— и ступай. Расселся, как городская го-

лова! До неба скоро вырастешь, а все дураком будешь. Только в книжки свои нос совать мастер!

И сразу потускнел в глазах Володи весь торжественный праздник, все созерцательно-восторженное настроение... Блуза украсилась зловещим темным пятном, душа оскорблена, втоптана в грязь в присутствии посторонних лиц, и главное — товарища Чебурахина, который тоже сразу потерял весь свой блеск и очарование необычности.

Хотелось встать, уйти, убежать куда-нибудь.

Встали, ушли, убежали. Оба. На Слободку.

И странная вещь: не будь темного пятна на блузке — все кончилось бы мирной прогулкой по тихим рождественским улицам.

Но теперь, как решил Володя, «терять было нечего».

Действительно, сейчас же встретили трех гимназистов-второклассников.

— Ты чего задаешься? — грозно спросил Володя одного из них.

— Дай ему, дай, Володька! — шептал сбоку Чебурахин.

— Я не задаюсь,— резонно возразил гимназистик.— А вот ты сейчас макарон получишь.

— Я?

В голосе Володи сквозило непередаваемое презрение.

— Я? Кто вас, несчастных, от меня отнимать будет?

— Сам, форсила несчастная!

— Эх! — крикнул Володя (все равно блуза уже не новая!), лихим движением сбросил с плеч пальто и размахнулся...

. . . .

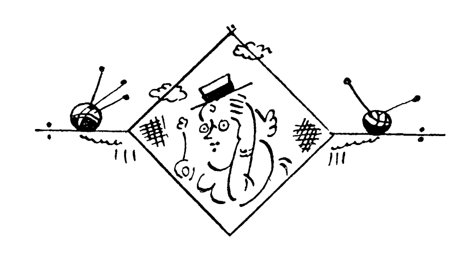
А от угла переулка уже бежали четыре гимназиста на подмогу своим... . . . .

. . . .

— Что ж они, сволочи паршивые, семь человек на двух! — хрипло говорил Володя, еле шевеля распухшей, будто чужой губой и удовлетворенно поглядывая на друга затекшим глазом.— Нет, ты, брат, попробуй два на два... Верно?

— Понятно.

И остатки праздничного настроения сразу исчезли — его сменили обычные будничные дела и заботы.



ВЕЧЕРОМ

Посвящаю Лиде Терентьевой

Подперев руками голову, я углубился в «Историю французской революции» и забыл все на свете.

Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали:

— Дядя!

— Что тебе, Лидочка?

— Что ты делаешь?

С маленькими детьми я принимаю всегда преглупый тон.

— Я читаю, дитя мое, о тактике жирондистов.

Она долго смотрит на меня.

— А зачем?

— Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры.

— А зачем?

— Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом.

— Серым?

— Да. Это патологический термин.

— А зачем?

У нее дьявольское терпение. Свое «а зачем» она может задавать тысячу раз.

— Лида! Говори прямо: что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину.

Женская непоследовательность. Она, вздыхая, отвечает:

— Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки.

— Ты, Лида, вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы.

— И потом, я хочу сказку.

Около ее голубых глаз и светлых волос «История революции» бледнеет.

— У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это нехорошо. Расскажи лучше ты мне.

Она карабкается на колени и целует меня в шею.

— Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи да расскажи. Ну, слушай... Ты про Красную Шапочку не знаешь?

Я делаю изумленное лицо:

— Первый раз слышу.

— Ну, слушай... Жила-была Красная Шапочка...

— Виноват... Не можешь ли ты указать точно ее местожительство? Для уяснения, при развитии фабулы.

— А зачем?

— Где она жила?!

Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает.

— В этом... В Симферополе.

— Прекрасно! Я сгораю от любопытства слушать дальше.

— ...Взяла она маслецо и лепешечку и пошла через лес к бабушке...

— Состоял ли лес в частном владении или составлял казенную собственность?

Чтобы отвязаться, она сухо бросает:

— Казенная. Шла, шла, вдруг из лесу волк!

— По-латыни — Linus.

— Что?

— Я спрашиваю: большой волк?

— Вот такой. И говорит ей...

Она морщит нос и рычит:

— Кррасная Шапочка... Куда ты идешь?

— Лида! Это неправда! Волки не говорят. Ты обманываешь своего старого, жалкого дядьку.

Она страдальчески закусывает губу:

— Я больше не буду рассказывать сказки.

Мне стыдно.

— Ну, я тебе расскажу. Жил-был мальчик...

— А где он жил? — ехидно спрашивает она.

— Он жил у Западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает: «Папаша... яблоки имеют лапки?» — «Нет, милый».— «Ну, значит, я жабу слопал!»

Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потрясающее впечатление.

— Ай! Съел жабу?

— Представь себе. Очевидно, притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай. Я буду читать.

Минут через двадцать знакомое дергание за пиджак, легкое царапание ногтем — и шепотом:

— Дядя! Я знаю сказку.

Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки, и губки топырятся так смешно...

— Ну, ладно. Излей свою наболевшую душу.

— Сказка! Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где росли эти самые... груши. Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо-о. Вот девочка и спрашивает: «Мама! Груши имеют лапки?» — «Нет, детка».— «Ну, значит, я курицу слопала!»

— Лидка! Да ведь это моя сказка!

Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит:

— Нет, моя, моя, моя! У тебя другая.

— Лида! Знаешь ты, что это — плагиат? Стыдись!

Чтобы замять разговор, она просит:

— Покажи картинки.

— Ладно. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха?

— Найди.

Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее гоголевского Вия, и язвительно преподношу его девочке:

— Вот твой жених.

В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской:

— Хорошо-о... Теперь дай ты мне книгу — я твоего жениха найду.

— Ты хочешь сказать: невесту?

— Ну, невесту.

Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и все перелистывает книгу, перелистывает...

— Пойди сюда, дядя,— неуверенно подзывает она.— Вот твоя невеста...

Палец ее робко ложится на корявый ствол старой, растрепанной ивы.

— Э, нет, милая, Какая же это невеста? Это дерево. Ты поищи женщину пострашнее.

Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тонкий плач.

— Лида, Лидочка... Что с тобой?

Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит:

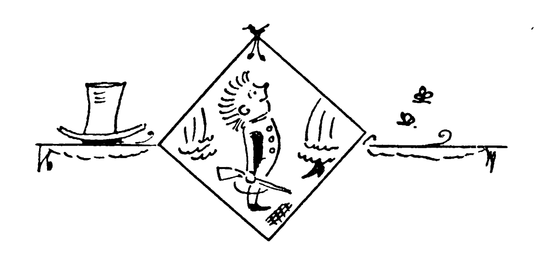
— Я не могу... найти... для тебя... страшную... невесту.

Пожав плечами, сажусь за революцию; углубляюсь в чтение.

Тишина... Оглядываюсь.

С непросохшими глазами Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня.

Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ на расстоянии вершка от моей спины.



ДЕТВОРА

Существует такая рубрика шуток и острот, которая занимает очень видное место на страницах юмористических журналов,— рубрика, без которой не обходится ни один самый маленький юмористический отдел в газете.

Рубрика эта — «наши дети».

Соль острот «наши дети» всегда в том, что вот, дескать, какие ужасные пошли нынче дети, как мир изменился и как ребята делаются постепенно невыносимыми, ставя своих родителей и знакомых в ужасное положение.

Обыкновенно, остроты «наши дети» фабрикуются по одному и тому же методу:

— Бабушка, ты видела Лысую гору?

— Нет, милый.

— А как же папа говорил вчера, ты сущая ведьма?

Или:

— Володя, поцелуй маму,— говорит папа.— Поблагодари ее за обед.

— А почему,— говорит Володя,— вчера дядя Гриша целовал в будуаре маму перед обедом?

Или совсем просто:

— Дядя, ты лысый дурак?

— Что ты, Лизочка!

— Ну да, мама. Ты же сама вчера сказала папе, что дядя — лысый дурак.

Бывают сюжеты настолько затасканные, что они уже перестают быть затасканными, перестают быть «дурным тоном литературы». Таков сюжет «наши дети».

Поэтому я и хочу рассказать сейчас историю о «наших детях».

От праздничных расходов, от покупок разных гусей, сапог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены у чиновника Плешихина осталось немного денег.

Он остановился у витрины игрушечного магазина и, разглядывая игрушки, подумал:

«Куплю-ка я что-нибудь особенное своему Ваньке. Этакое что-нибудь с заводом и пружиной!»

Зашел в магазин.

— Дайте что-нибудь этакое для мальчишки восьми-девяти лет!

Когда ему показали несколько игрушек, он пришел в восторг от искусно сделанного жокея на собаке: собака перебирала ногами, а жокей качался взад и вперед и натягивал вожжи, как живой. Долго смотрел на него Плешихин, смеялся, удивлялся и просил завести снова и снова.

Возвращаясь, ног под собой не чувствовал от радости, что напал на такую прекрасную вещь.

Дома, раздевшись и проходя мимо детской, услышал голоса. Приостановился...

— О чем они там совещаются? Мечтают, наверное, ангелочки, о сюрпризах, гадают, кому какие достанутся подарки... Обуреваемы любопытством — будет ли елка... О, золотое детство!

Разговаривали трое: Ванька, Вова и Лидочка.

— Я все-таки,— говорил Ванька,— стою за то, чтобы их не огорчать. Елку хотят устроить? Пусть! Картонажами ее увешать хотят — пусть забавляются. Но я думаю, что с нашей стороны требуется все-таки самая простая деликатность: мы должны сделать вид, что нам это нравится, что нам весело, что мы в восторге. Ну... можно даже попрыгать вокруг елки и съесть пару леденцов.

— А по-моему, просто,— сказал прямолинейный Вова,— нужно выразить настоящее отношение к этой пош-

лейшей елке и ко всему тому, что отдает сюсюканьем и благоглупостями наших родителей. К чему это? Раз это тоска...

— Милый мой! Ты забываешь о традиции. Тебе-то легко сказать, а отец, может быть, из-за этого целую ночь спать не будет, он с детства привык к этому, без этого ему Рождество не в Рождество. Зачем же без толку огорчать старика...

— И смешно, и противно,— усмехнулся Вова,— как это они нынче устраивали елку: заперлись в гостиной, клеют какие-то картонажи, фонарики. Зачем? Что такое! Когда я, нарочно, спросил, что там делается, тетя Нина ответила: «Там маме шьют новое платье!..» Секрет полишинели!..

Все засмеялись.

— Братцы! — умоляюще сказал добросердечный Ванька.— Во всяком случае, ради Бога, не показывайте вида. Вы смотрите-ка, как я себя буду вести — без неумеренных восторгов, без переигрывания, но просто сделаю вид, что я умилен, что у меня блестят глазки и сердце бьется от восторга. Сделайте это и вы: порадуем стариков.

Плешихин открыл дверь и вошел в детскую, сделав вид, что он ничего не слышал.

— Здравствуйте, детки! Ваня, погляди-ка, какой я тебе подарочек принес! С ума сойти можно!

Он развернул бумагу и пустил в ход жокея верхом на собаке.

— Очень мило! — сказал Ваня, захлопав в ладоши.— Как живой! Спасибо, папочка.

— Тебе это нравится?

— Конечно! Почему же бы этой игрушке мне не нравиться? Сработана на диво, в замысле и механике много остроумия, выдумки. Очень, очень мило.

— Ваничка!!.

— Что такое?

— Милый мой! Ну, я тебя люблю — ну, будь же и ты со мной откровенен... Скажи мне, как ты находишь эту игрушку и почему у тебя такой странный тон?

Ванька смущенно опустил голову.

— Видишь ли, папа... Если ты позволишь мне быть откровенным, я должен сказать тебе: ты совершенно не знаешь психологии ребенка, его вкусов и влечений (о, конечно, я не о себе говорю и не о Вове — о присутствующих не говорят). По-моему, ребенку нужна игрушка примитивная, какой-нибудь обрубок или тряпичная кукла, без носа и без

глаз, потому что ребенок большой фантазер и любит иметь работу для своей фантазии, наделяя куклу всеми качествами, которые ему придут в голову; а там, где за него все уже представлено мастером, договорено механиком,— там уму его и фантазии работать не над чем. Взрослые все время упускают это из вида и, даря детям игрушки, восхищаются ими больше сами, потому что фантазия их суше, изощреннее и может питаться только чем-то, доходящим до полной иллюзии природы, мастерской подделки под эту природу.

Понурив голову, молча, слушал сына чиновник Плешихин.

— Так... Та-ак! И елка, значит, как ты говорил давеча, тоже традиция, которая нужнее взрослым, чем ребятам?

— Ах, ты слышал?.. Ну, что же делать?.. Во всяком случае, мы настолько деликатны, что ни за что не дали бы вам почувствовать той пошлой фальши и того вашего смешного положения, которые для постороннего ума так заметны...

Чиновник Плешихин прошелся по комнате раза три, задумавшись.

Потом круто повернулся к сыну и сказал:

— Раздевайся! Сейчас сечь тебя буду.

На губах Ваньки промелькнула страдальческая гримаса.

— Пожалуйста! На твоей стороне сила — я знаю! И я понимаю, что то, что ты хочешь сделать,— нужнее и важнее не для меня, а, главным образом, для тебя. Не буду, конечно, говорить о дикости, о некультурности и скудности такого аргумента при споре, как сечение, драка... Это общее место. И если хочешь — я даже тебя понимаю и оправдываю... Ты устал, заработался, измотался, истратился, у тебя настроение подавленное, сердитое, скверное... Нужно на ком-нибудь сорвать злость — на мне или на другом — все равно! Ну что ж, раз мне выпало на долю стать объектом твоего дурного настроения — я покоряюсь и, добавлю, даже не сержусь. «Понять,— сказал философ,— значит, простить».

Старик Плешихин неожиданно вскочил со стула, махнул рукой, снял пиджак, жилет и лег на ковер.

— Что с тобой, папа? Что ты делаешь?

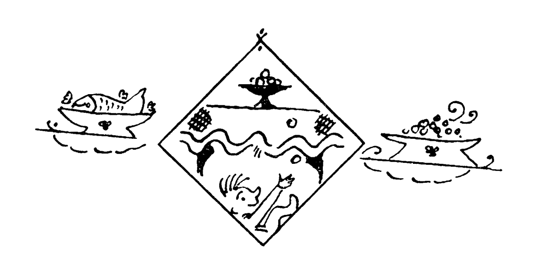
— Секи ты меня; что уж там! — сказал чиновник Плешихин и тихо заплакал.

Во имя правды, во имя логики, во имя любви к детям автор принужден заявить, что все рассказанное — ни более ни менее, как сонное видение чиновника Плешихина...

Заснул чиновник — и пригрезилось.

И, однако, сердце сжимается, когда подумаешь, что дети наших детей, шагая в уровень с веком, уже будут такими, должны быть такими — как умные детишки отсталого чиновника...

Пошли, Господь, всем нам смерть за пять минут до этого.



БЛИНЫ ДОДИ

Без сомнения, у Доди было свое настоящее имя, но оно как-то стерлось, затерялось, и хотя этому парню уже шестой год — он для всех Додя и больше ничего.

И будет так расти этот мужчина с загадочной кличкой «Додя», будет расти, пока не пронюхает какая-нибудь проворная гимназисточка в черном передничке, что пятнадцатилетнего Додю на самом деле зовут иначе, что неприлично ей звать взрослого кавалера какой-то собачьей кличкой, и впервые скажет она замирающим от волнения голосом:

— Ах, зачем вы мне такое говорите, Дмитрий Михайлович?

И сладко забьется тогда сердце Доди, будто впервые шагнувшего в заманчивую остро-любопытную область жизни взрослых людей: «Дмитрий Михайлович!..» О, тогда и он докажет же ей, что он взрослый человек: он женится на ней.

— Дмитрий Михайлович, зачем вы целуете мою руку! Это нехорошо.

— О, не отталкивайте меня, Евгения (это вместо Женечки-то!) Петровна.

Однако все это в будущем. А пока Доде — шестой год, и никто, кроме матери и отца, не знает, как его зовут на самом деле: Даниил ли, Дмитрий ли или просто Василий (бывают и такие уменьшительные у нежных родителей).

*
* *
*

Характер Доди едва-едва начинает намечаться. Но грани этого характера выступают довольно резко: он любит все приятное и с гадливостью, омерзением относится ко всему неприятному; в восторге от всего сладкого, ненавидит горькое; любит всякий шум, чем бы и кем бы он ни был произведен; боится тишины, инстинктивно, вероятно, чувствуя в ней начало смерти... С восторгом измазывается грязью и пылью с головы до ног; с ужасом приступает к умыванию; очень возмущается, когда его наказывают, но и противоположное ощущение — ласки близких ему людей — вызывает в нем отвращение.

Однажды в гостях у Додиных родителей сидели двое: красивая молодая дама Нина Борисовна и молодой человек Сергей Митрофанович, не спускавший с дамы застывшего в полном восторге взора. И было так: молодой человек, установив прочно и надолго свои глаза на лице дамы, машинально взял земляничную соломку и стал рассеянно откусывать кусок за куском, а дама, заметив вертевшегося тут же Додю, схватила его в объятия и, тиская мальчишку, осыпала его целым градом бурных поцелуев.

Додя отбивался от этих ласк с энергией утопающего матроса, борющегося с волнами, извивался в нежных теплых руках, толкал даму в высокую пышную грудь и кричал с интонациями дорезываемого человека:

— Пусс... ти, дура! Ос... ставь, дура!

Ему страшно хотелось освободиться от «дуры» и направить все свое завистливое внимание на то, как рассеянный молодой человек поглощает земляничную соломку. И Доде страшно хотелось быть на месте этого молодого человека, а молодому человеку еще больше хотелось быть на месте Доди. И один, отбиваясь от нежных объятий, а другой, печально похрустывая земляничной соломкой, с бешеной завистью поглядывали друг на друга.

Так слепо и нелепо распределяет природа дары свои.

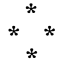
Однако справедливость требует отметить, что молодой человек в конце концов добился от Нины Борисовны таких же ласк, которые получил и Додя. Только молодой человек вел себя совершенно иначе: не отбивался, не кричал: «Оставь, дура», а тихо, безропотно, с оттенком даже одобрения покорился своей вековечной мужской участи...

Кроме перечисленных Додиных черт, в характере его есть еще одна черта: он — страшный приобретатель. Черта эта тайная, он не высказывает ее. Но увидев, например,

какой-нибудь красивый дом, шепчет себе под нос: «Хочу, чтобы дом был мой». Лошадь ли он увидит, первый ли снежок, выпавший на дворе, или приглянувшегося ему городового, Додя, шмыгнув носом, сейчас же прошепчет: «Хочу, чтобы лошадь была моя; чтобы снег был мой; чтобы городовой был мой».

Рыночная стоимость желаемого предмета не имеет значения. Однажды, когда Додина мать сказала отцу: «А знаешь, доктор нашел у Марины Кондратьевны камни в печени»,— Додя сейчас же прошептал себе под нос: «Хочу, чтобы у меня были камни в печени».

Славный, бескорыстный ребенок.



Когда мама, поглаживая шелковистый Додин затылок, сообщила ему:

— Завтра у нас будут блины...— Додя не преминул подумать: «Хочу, чтобы блины были мои»,— и спросил вслух:

— А что такое блины?

— Дурачок! Разве ты не помнишь, как у нас были блины в прошлом году?

Глупая мать не могла понять, что для пятилетнего ребенка протекший год — это что-то такое громадное, монументальное, что как Монблан заслоняет от его глаз предыдущие четыре года. И с годами эти монбланы все уменьшаются в росте, делаются пригорками, которые не могут заслонить от зорких глаз зрелого человека его богатого прошлого, ниже, ниже делаются пригорки, пока не останется один только пригорок, увенчанный каменной плитой да покосившимся крестом.

Год жизни наглухо заслонил от Доди прошлогодние блины. Что такое блины? Едят их? Можно ли на них кататься? Может, это народ такой — блины? Ничего в конце концов неизвестно.

Когда кухарка Марья ставила с вечера опару, Додя смотрел на нее с почтительным удивлением и даже, боясь втайне, чтобы всемогущая кухарка не раздумала почему-нибудь делать блины, искательно почистил ручонкой край ее черной кофты, вымазанной мукой.

Этого показалось ему мало.

— Я люблю тебя, Марья,— признался он дрожащим голосом.

— Ну, ну. Ишь какой ладный мальчушечка.

— Очень люблю. Хочешь, я для тебя у папы папиросок украду?

Марья дипломатично промолчала, чтобы не быть замешанной в назревающей уголовщине, а Додя вихрем помчался в кабинет и сейчас же принес пять папиросок. Положил на край плиты.

И снова дипломатичная Марья сделала вид, что не заметила награбленного добра. Только сказала ласково:

— А теперь иди, Додик, в детскую. Жарко тут, братик.

— А блины-то... будут?

— А для чего же опару ставлю!

— Ну, то-то.

Уходя, подкрепил на всякий случай:

— Ты красивая, Марья.

*
* *
*

Положив подбородок на край стола, Додя надолго застыл в немом восхищении...

Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра... Что за поражающая селедка, убранная зеленым луком, свеклой, маслинами. Какая красота — эти плотные, слежавшиеся сардинки. А в развалившуюся на большой тарелке неизвестную нежно-розовую рыбу Додя даже ткнул пальцем, спрятав моментально этот палец в рот с деланно-рассеянным видом. («Гм!.. Соленое».)

А впереди еще блины — это таинственное, странное блюдо, ради которого собираются гости, делается столько приготовлений, вызывается столько хлопот.

«Посмотрим, посмотрим,— думает Додя, бродя вокруг стола.— Что это там у них за блины такие...»

Собираются гости...

Сегодня Додя первый раз посажен за стол вместе с большими, и поэтому у него широкое поле для наблюдений. Сбивает его с толку поведение гостей.

— Анна Петровна — семги! — настойчиво говорит мама.

— Ах, что вы, душечка,— ахает Анна Петровна.— Это много! Половину этого куска. Ах, нет, я не съем!

«Дура»,— решает Додя.

— Спиридон Иваныч! Рюмочку наливки. Сладенькой, а?

— Нет, уж я лучше горькой рюмочку выпью.

«Дурак!» — удивляется про себя Додя.

— Семен Афанасьич! Вы, право, ничего не кушаете!..

«Врешь,— усмехается Додя.— Он ел больше всех. Я видел».

— Сардинки? Спасибо, Спиридон Иваныч. Я их не ем.

«Сумасшедшая какая-то,— вздыхает Додя.— Хочу, чтоб сардинки были мои...»

Марина Кондратьевна, та самая, у которой камни в печени, берет на кончик ножа микроскопический кусочек икры.

«Ишь ты,— думает Додя.— Наверное, боится побольше-то взять: мама так по рукам и хлопнет за это. Или просто задается, что камни в печени. Рохля».

Подают знаменитые долгожданные блины.

Все со зверским выражением лица набрасываются на них. Набрасывается и Додя. Но тотчас же опускает голову в тарелку и, купая локон темных волос в жидком масле, горько плачет.

— Додик, милый, что ты? Кто тебя обидел?..

— Бли... ны...

— Ну? Что блины? Чем они тебе не нравятся?

— Такие... круглые...

— Господи... Так что же из этого? Обрежу тебе их по краям — будут четырехугольные...

— И со сметаной...

— Так можно без сметаны, чудачина ты!

— Так они тестяные!

— А ты какие бы хотел? Бумажные, что ли?

— И... не сладкие.

— Хочешь, я тебе сахаром посыплю?

Тихий плач переходит в рыдание. Как они не хотят понять, эти тупоголовые дураки, что Доде блины просто не нравятся, что Додя разочаровался в блинах, как разочаровывается взрослый человек в жизни! И никаким сахаром его не успокоить.

Плачет Додя.

Боже! Как это все красиво, чудесно началось — все, начиная от опары и вкусного блинного чада,— и как все это пошло, обыденно кончилось: Додю выслали из-за стола.

*
* *
*

Гости разошлись.

Измученный слезами, Додя прикорнул на маленьком диванчике. Отыскав его, мать берет на руки отяжелевшее от дремоты тельце и ласково шепчет:

— Ну ты... блиноед африканский... Наплакался?

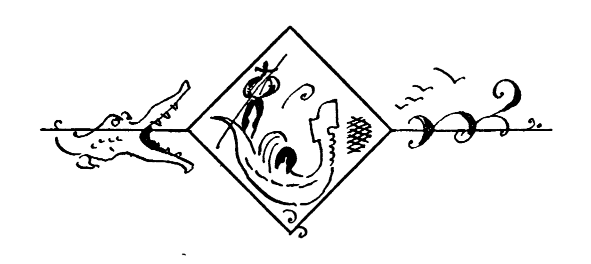
И тут же, обращаясь к отцу, перебрасывает свои мысли в другую плоскость:

— А знаешь, говорят, Антоновский получил от Мразича оскорбление действием.

И, подымая отяжелевшие веки, с усилием шепчет обуреваемый приобретательским инстинктом Додя:

— Хочу, чтобы мне было оскорбление действием.

Тихо мерцает в детской красная лампадка. И еще слегка пахнет всепроникающим блинным чадом...



РЕСТОРАН «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ»

Глава первая. ОТКРЫТИЕ

Недавно, плывя по ленивому венецианскому каналу на ленивой гондоле, управляемой ленивым грязноватым парнем, я подумал от нечего делать:

— Что, если бы судьба занесла моего отца в Венецию? Какую бы торговлю открыл этот неугомонный купец, этот удивительный беспокойный коммерсант?

И тут же мгновенно ответил сам себе:

— Торговлю лошадиной упряжью открыл бы мой отец. И если бы через месяц он ликвидировал предприятие за отсутствием покупателей, то его коммерческая жизнь потянула бы его на другое предприятие: торговлю велосипедами.

О, Боже мой! Есть такой сорт неудачников, который всю жизнь торгует на венецианских каналах велосипедами.

История ресторана «Венецианский карнавал», этого странного чудовищного предприятия, до сих пор стоит передо мною во всех подробностях, хотя прошло уже двадцать четыре года с тех пор — как быстро несемся мы к могиле...

Я был тогда настолько мал, что все люди казались мне значительными, громадными, достойными всяческого ува-

жения и преклонения, и значительнее и умнее всех казался мне отец, несмотря на то что к тому времени три бакалейных магазина его сгорели или прогорели — я в те годы не мог уяснить себе разницы между этими двумя почти одинаковыми словами.

Глухие разговоры об открытии ресторана начались среди взрослых давно, и чем дальше, тем больше росла и укреплялась эта идея. Мне трудно проследить полное ее развитие и начало осуществления, потому что в воспоминаниях детства часто, на каждом шагу, встречаются черные, зияющие провалы, которые ослабевшая память не может ничем засыпать... Лучше уж обходить эти бездны, не пытаясь исследовать их туманную глубину, а то еще завязнешь и не выберешься на свежий воздух.

Основание ресторана «Венецианский карнавал» я считаю с того момента, когда стекольщик подарил мне кусок оконной замазки, которая целиком пошла на заделывание замочных скважин в дверях. Как член нашей деятельной семьи, я хотел этой работой внести свою скромную лепту в общее строительство, но меня поколотили, и я до вечера просидел в углу за печкой, следя за остатком замазки, прилипшей к башмаку моего отца и весело носившейся с ним из угла в угол...

Вот — замазка на башмаке отца, запах краски и растерянное лицо матери — это и было начало «Венецианского карнавала».

Открывая «Карнавал», отец, очевидно, искал новые пути. Несколько уже существовавших ресторанов группировались в центре на главных улицах нашего городка, и влачили они прежалкое существование, а отец выбрал для своего предприятия окраину — одну из бесчисленных «продольных», кольцом опоясавших центр маленького черноморского городка.

Мать возражала:

— Вот глупости! Ну кто пойдет сюда? Что за чушь! Ведь это форменная слободка.

Отец дружески хлопал ее по руке:

— Ничего... Будущее покажет.

Мне очень понравилась большая прохладная комната, сплошь уставленная белоснежными столами, солидный буфет и прилавок, украшенный бутылками и вкусными закусками.

Глава вторая. ПЕРСОНАЛ «ВЕНЕЦИАНСКОГО КАРНАВАЛА»

Штат прислуги был невелик (отец предполагал значительно увеличить его на будущее время) — слуга Алексей, повар и поваренок.

Алексей обворожил меня своей особой: от него так вкусно пахло потом здорового, сильного парня, он был так благожелательно ленив, так безумно храбр, так ловко воровал у отца папиросы, что мечтой моей жизни сделалось — быть во всем на него похожим, а впоследствии постараться заполучить себе такое же местечко, которое он занимал теперь с присущим ему одному презрительным шиком. Я любовался его длинными кривыми ногами и мечтал: «Ах, когда-то еще у меня будут такие длинные кривые ноги», терся об его выгоревший засаленный пиджак и думал: «Сколько еще лет нужно ждать, чтобы моя курточка приняла такой приятный уютный вид». Да! Это был настоящий человек.

— Алексей! — спрашивал я, положив голову на его живот (обыкновенно, мы забирались куда-нибудь в чулан с съестным или на диван в пустынной бильярдной и, лежа в удобных позах, с наслаждением вели длинные разговоры).— Алексей! Мог бы ты поколотить трех матросов?

— Я? Трех?

Презрительная, красиво-наглая мина искажала его лицо.

— Я пятерых колотил по мордасам.

— А что же они?

— Да что ж... убежали.

— А разбойники страшнее?

— Разбойники? Да чем же страшнее? Только что людей режут, а то такие же люди, как и мы с тобой.

— Ты бы мог их поубивать?

Он усмехался прекрасными толстыми губами (никогда у меня не будет таких прекрасных губ — печально думал я):

— Да уж получили бы они от меня гостинец...

— А ты кого-нибудь убивал?

— Да... бывало...— Зевота и плевок прерывали его речь (прекрасная зевота! чудесный неподражаемый плевок!).— В Перекопе четырех зарезал.

Это чудовищное преступление леденило мой мозг. Что за страшная личность! Что ему, в сущности, стоит зарезать сейчас и меня, беспомощного человечка.

— А знаешь, Алексей,— говорю я, гладя заискивающе

его угловатое плечо,— я у папы для тебя выпрошу сегодня двадцать папиросок.

— Просить не надо,— рассудительно качает головой этот худощавый головорез.— Лучше украдь потихоньку.

— Ну, украду.

— А что, Алексей, если бы тебя кто-нибудь обидел... Что бы ты...

— Да уж разговор короткий был бы...

— Убил бы? Задушил?

— Как щененка. Одной рукой.

Он цинично смеется. У меня по спине ползет холодок:

— А папа... Ну, если бы, скажем, папа отказал тебе от места?

— А что ж твой папа? Бриллиантовый, что ли? Туда ему и дорога.

После такого разговора я целый день бродил, как потерянный, нося в сердце безмерную жалость к обреченному отцу. О, Боже! Этот большой высокий человек все время ходил по краю пропасти и даже не замечал всего ужаса своего положения. О, если бы суровый Алексей смягчился...

Повар Никодимов, изгрызанный жизнью старичок, был человек другого склада: он был скептик и пессемист.

— К чему все это? — говаривал он, сидя на скамеечке у ворот.

— Что такое? — спрашивал собеседник.

— Да это... все.

— Что все?

— Вот это: деревья, дома, собаки, пароходы?

Собеседник бывал озадачен.

— А... как же?

— Да никак. Очень просто.

— Однако же...

— Чего там однако «однако же»! Глупо. Я, например, Никодимов. Да, может быть, я желаю быть Альфредом?! Что вы на это скажете?

— Не имеете права.

— Да? Мерси вас за вашу глупость. А они, значит, имеют право свое это ресторанное заведение назвать «Венецианский карнавал»? Почему? Что такое? Где карнавал? Почему венецианский? Бессмысленно. А почему, например, я в желе не могу соли насыпать? Что? Невкусно? А почему в суп — вкусно? Все это не то, не то и не то.

В глазах его читалась скорбь.

Однажды мать подарила ему почти новые отцовские

башмаки. Он взял их с благодарностью. Но, придя в свою комнату, поставил на стол подарок и застонал:

— Все это не то, не то и не то!

Пахло от него жареным луком. Если Алексея я любил и гордился им, если к Никодиму был равнодушен, то поваренка Мотьку ненавидел всем сердцем. Этот мальчишка оказывался всегда впереди меня, всегда на первом месте.

— А что, Мотька,— самодовольно сказал я однажды,— мне мама дала сегодня рюмку водки на зуб подержать — у меня зуб болел. Прямо огонь!

— Подумаешь — счастье! Я иногда так нарежусь водкой, как свинья. Пьешь, пьешь, чуть не лопнешь. Да и вообще, я веду нетрезвый образ жизни.

— Да? — равнодушно сказал я, скрывая бешеную зависть (где он подцепил такую красивую фразу?) — А я нынче пробовал со ступенек прыгать — уже с четвертой могу.

— Удивил! — дерзко захохотал он.— Да меня анадысь кухарка так сверху толкнула, что я все ступеньки пересчитал. Морду начисто стер. Что кровищи вышло — страсть!

Положительно, этот ребенок был неуязвим.

— Мой отец,— говорил я, напряженно шаркая ногой по полу,— поднимает одной рукой три пуда.

— Эге! Удивил! А у меня отца и вовсе нет.

— Как нет? А где же он?

— Нет, и не было. Одна мать есть. Что, взял?

— А чем же лучше, если отца нет? По-моему, хуже...

— Ах ты, кочерыжка! Тебя-то иногда отец за ухо дернет, а меня нако-ся! Никакой отец не дернет.

Этот поваренок умел устраиваться в жизни. Никогда мне не случалось видеть человека, который бы жил с таким комфортом и так независимо, как этот поваренок.

Однажды я признался ему, что не люблю его.

— Удивил! — захохотал он.— А я не только тебя не люблю, но плевать хотел и растереть.

Я молча ушел и про себя решил: лет через тридцать, когда я вырасту, этот мальчишка вылетит из нашего дома.

Глава третья. ТОРГОВЛЯ

В первый день на открытии ресторана было много народа: священник, дьякон, наши друзья и знакомые. Все ели, пили и, чокаясь, говорили:

— Ну... дай Бог. Как говорится.

— Спасибо,— повторял, кланяясь всем, растроганный отец.— Ей-Богу, спасибо.

Я сидел возле него, и знакомые спрашивали:

— Ну, как ты поживаешь? Прехорошенький мальчишка! Славный ребенок.

Они целовали меня и трепали по щеке.

«Ага,— рассуждал я,— раз я такой хороший — можно от них кое-что и подцепить».

Когда отец ушел распорядиться насчет вина, я обратился к толстому купцу, который называл меня «славным мужчиной и наследником».

— Дайте мне сардинку, которую вы кушаете.

— Я тебе дам такую сардинку,— прошептал купец,— что ты со стула слетишь.

Худая благожелательная дама, назвавшая меня достойным ребенком, ела икру.

— Можно мне кусочек?..— обратил я на нее молящий взор.

— Пошел вон, дурак. Проси у матери.

«Ловкая,— подумал я.— А если я уже получил у матери?»

Пришел отец.

— Ну,— сказал толстый купец.— Теперь за здоровье вашего наследника. Дай Бог, как говорится.

Я почувствовал себя героем.

— А что,— сказал я поваренку после обеда,— а они за мое здоровье пили.

— Удивил,— пожал плечами этот неуязвимый мальчишка,— да мне вчера мать чуть голову не разбила водочной бутылкой — и то ничего.

На другой день ресторан открыли в 12 часов дня. Было жаркое лето, и пустынная улица с рядом мелких домишек дремала в горячей пыли. Отец сидел на крыльце и читал газету. В половине третьего встал, полюбовался на вывеску «Венецианский карнавал» и пошел распорядиться насчет обеда.

В этот день в «Венецианском карнавале» не было ни одного гостя.

— Ничего,— сказал отец вечером,— еще не привыкли.

— Да кому же привыкать,— возразила мать.— Тут ведь и народу нет.

— Зато и конкуренции нет! А в центре эти рестораны, как сельди в бочке. И жалко их и смешно.

На второй день в три часа пополудни в ресторан зашел неизвестный человек в форменном картузе. Все пришло

в движение: Алексей схватил салфетку и стал бегать по ресторану, размахивая ею, как побежденные белым флагом. Отец, скрывая прилив радости, зашел солидно за прилавок, а сестренка помчалась на кухню предупредить повара, что «каша заваривается».

— Чем могу служить? — спросил отец.

— Не найдется ли разменять десять рублей? — спросил незнакомец.

Ему разменяли, и он ушел.

— Уже заходят,— сказал отец.— Хороший знак. Начинают привыкать.

И его взгляд задумчиво и выжидательно бродил по пыльной улице, по которой шатались пыльные куры, ребенок с деревянной ложкой в зубах и голыми ногами да тащился, держась за стены, подвыпивший человек, очевидно, еще не привыкший к нашему «Карнавалу» и накачавший себя где-либо в центре или на базаре...

Улица дремала, и только порывистый Мотька, мчавшийся из мелочной, оживлял пейзаж.

— Мотька,— остановил я его,— меня скоро учить начнут. Что, съел?

— Удивил! — захихикал он.— А меня не будут совсем учить. Это, брат, получше.

Этот поваренок даже пугал меня своей увертливостью и уменьем извлечь выгоду из всего...

Только на третий день бог Меркурий и бог Вакх сжалились над моим отцом и спустились на землю в виде двух чрезвычайно застенчивых юношей, собравшихся вести разгульную, порочную жизнь.

Эти юноши зашли в «Венецианский карнавал» уже вечером и, забившись в уголок, потребовали себе графинчик водки и закуски «позабористее».

Отец держался бодро, но втайне был потрясен, а Алексей так замахал белой салфеткой, что самый жестокий победитель был бы тронут и отдал бы приказ прекратить бомбардировку крепости.

Когда показалась в дверях не верившая своим глазам мать, отец подмигнул ей и засмеялся счастливым смехом:

— А что?! Вот тебе и трущоба!

Все население «Веницианского карнавала» высыпало в зал, чтобы полюбоваться на диковинных юношей. Сестренки прятались в складках платья матери, повар Никодим высовывал из дверей свою худую физиономию, забыв о заказанных битках, а Мотька, за его спиной, таращил глаза так,

будто бы в ресторан забрели попировать двое разукрашенных перьями индейцев.

Юноши, заметив ту сенсацию, которую они вызвали, отнесли ее на счет своих личных качеств и приободрились.

Один откашлялся, передернул молодцевато плечами и сказал другому не совсем натуральным басом:

— А что, не шарахнуть ли нам по лампадочке?

Другой согласился с тем, что шарахнуть самое подходящее время, и оба выпили водки с видом людей, окончательно махнувших рукой на спасение грешной души в будущей жизни.

Вторую рюмку, по предложению младшего юноши, «саданули», третью «вдолбили», и так они развлекались этой невинной игрой до тех пор, пока графинчик не опустел, а юноши — не наполнились до краев.

Отец приблизился к ним, дружелюбно хлопнул старшего по плечу и сказал:

— Ах, господа! Я так вам благодарен... Вы, так сказать, кладете основание... Почин, как говорится, дороже денег. Разрешите мне по этому случаю угостить вас бутылочкой вина за мой счет.

Старший юноша не прекословил. Кивнул головой и сказал:

— Царапнем. Как ты думаешь?

Младший согласился с тем, что «рассосать» бутылочку вина «недурственно».

Он показался мне тогда образцом благодушия, веселья и изящного балагурства.

Юноши выпили вино, и, когда спросили счет за съеденное и выпитое раньше, отец категорически воспротивился этому.

— Ни за что я этого не позволю,— твердо сказал он.— Будем считать, что вы мои гости.

— Да как же так,— простонал младший, хватаясь за воспаленную голову.— Это как будто не того...

— Мм... да-с,— поддержал старший.— Оно не совсем «фельтикультяпно».

Отец, наоборот, нашел в своем поступке все признаки этого джентльменского понятия, и юноши, одарив Алексея двугривенным, ушли, причем походка их поразила меня своей сложностью и излишеством движений. Два ряда столов показывали им прямой фарватер, выводивший на широкое открытое море — на улицу, но юноши, как два утлых суденышка, потерявших руль, долго носились и кружились по комнате, пока один не сел на мель, полетев с размаха

на стол, а другой, пытаясь взять его на буксир, рухнул рядом.

Мощный Алексей снял их с мели, вывел на улицу, и они поплыли куда-то вдаль, покачиваясь и стукаясь боками о стены...

Глава четвертая. ПЕЧАЛЬНЫЕ ДНИ

Лето прошло, и осень раскинула над городом свое серое, мокрое крыло. Пыль на нашей улице замесилась в белую липкую грязь, дождь постукивал в оконные стекла, в комнатах было темно, неуютно, и казалось, что мир уже кончается и жить не стоит, что над всем пронесся упадок и смерть.

Память моя сохранила лица и наружность всех посетителей, перебывавших в «Карнавале»... С начала его основания их было человек семь: два старых казначейских чиновника, хромой провизор, околоточный, управский служащий, помещик Терещенко, у которого сломалась бричка как раз против нашего ресторана, и неизвестный рыжеусый человек, плотно пообедавший и заявивший, что он забыл деньги дома в кармане другого пиджака. Этот человек так и не принес денег: я решил, что или у него сгорел дом, или воры украли пиджак, или попросту его укокошили разбойники. И мне было искренне жаль рыжеусого неудачника.

...Был особенно грустный день. Ветер рвал последние листья мокрых облезлых уксусных деревьев, уныло высовывавшихся из-за грязных дощатых заборов. Улица была пустынна, мертва, и двери «Карнавала», которые так гостеприимно распахивались летом, теперь были плотно закрыты, поднимая адский визг, когда кто-либо из нас беспокоил их.

Я сидел с Алексеем в пустой бильярдной и, куря папироску, изготовленную из спички, обернутой бумагой, слушал.

— И вот, братец мой, приходит ко мне генерал и говорит: «Вы будете Алексей Дмитрич Моргунов?» — «Так точно, я. Садитесь, пожалуйста».— «Ничего, говорит. Я и постою. А только, говорит, такое дело, что моя дочка вас видела и влюбилась, а я вас прошу отступиться».— «Чего-с? Не желаю!» — «Я вам, говорит, дом подарю, пару лошадей и десять тысяч!» — «Не нужно, говорю, мне ни золота вашего, ни палат, потому что это у вас наворовано, а дочка ваша должна нынче же ко мне притить!» Видал? Вот он и говорит: «А я полицеймейстеру заявлю о таком вашем деле».— «Да сделай милость. Хучь самому околоточному».

Взял его за грудки да и вывел, несмотря, что генерал. Ну, хорошо. Приезжает полицеймейстер. «Вы Алексей Моргунов?» — «А тебе какое дело?» — «Такое, говорит, что на вас жалоба». — «Один дурак, говорю, жалуется, другой слушает».— «Отступитесь, говорит, Алексей Дмитрич. А то, говорит, добром не кончится».— «Чего-с? Ах ты, селедка полицейская».— «Прошу, говорит, не выражаться, а то взвод городовых пришлю и дело все закончу».— «Присылай», — говорю. Схватил его за грудки да в дверь. Ну, хорошо. Приезжает взвод, ружья наголо — прямо ко мне!..

Сердце мое замерло... Я знал храбрость этого молодца, был уверен в его диком неукротимом мужестве и свирепости, но страшные слова «ружья наголо» и «взвод» потрясли меня. Я посмотрел на него с тайным ужасом, замер от предчувствия самого страшного и захватывающего в его героической борьбе с генералом, но в это время скрипнула дверь... вошел отец. Он был суров и чем-то расстроен...

— Вот ты где, каналья,— проворчал он.— Мне это надоело. Целые дни валяешься по диванам, воруешь папиросы, а на столах в ресторане на целый палец пыли. Получай расчет и уходи подобру, поздорову.

Сердце мое оборвалось и покатилось куда-то. Я вскрикнул и закрыл лицо руками... Вот оно! Только бы не видеть, как этот страшный безжалостный забияка будет резать отца, так неосторожно разбудившего в нем зверя. Только бы не слышать стонов моего несчастного родителя!

Алексей спыгнул с дивана, выпрямился, потом наклонился и, упав на колени, завопил плачущим голосом:

— Вот чтоб я лопнул, если брал папиросы. Чтоб меня разорвало, если я не стирал пыли нынче утром! Только две папиросочки и взял! Что ж его стирать пыль, если все равно уже неделя, как никто в ресторан не идет! Простите меня — я никогда этого не сделаю! Извините меня!

О, чудо! Этот сокрушитель генералов и полицеймейстеров хныкал, как младенец.

— Я исправлюсь! — кричал он, бегая за отцом на коленях, с проворством и искусством, поразившими меня.— Я и не курю вовсе! Да и пыли-то вовсе нет!

— Э, все один черт,— устало сказал отец.— Я закрываю ресторан. Наторговались.

Глава пятая. ЛИКВИДАЦИЯ

...Ряд столов, с которых были содраны скатерти, напоминал аллею надгробных плит... Драпировки висели пыль-

ными клочьями — впрочем, скоро и их содрал бойкий, чрезвычайно разговорчивый еврей. Уже не пахло так весело и обещающе замазкой и масляной краской — в комнатах стоял запах пыли, пустоты и смерти.

В темной столовой наша семья доедала запасы консервов и паштетов, какие-то мрачные, зловещие, выползшие из неведомых трущоб родственники с карканьем пили из стаканов вино — остатки погреба «Венецианского карнавала»,— а в кухне повар Никодимов сидел на табуретке с грязным узелком в руках и шептал саркастически:

— Все это не то, не то и не то!..

Посуда была свалена в кучу в темном углу, а Мотька сидел верхом на ведре и чистил картофель — больше для собственной практики и самоуслаждения, чем по необходимости.

Я бродил среди этого разгрома, закаляя свое нежное детское сердце, и мне было жалко всего — Никодимова, скатертей, кастрюль, драпировок, Алексея и вывески, потускневшей и осунувшейся.

Отец позвал меня.

— Сходи, купи бумаги и больших конвертов. Мне нужно кое-кому написать.

Я оделся и побежал. Вернулся только через полчаса.

— Почему так долго? — спросил отец.

— Да тут нигде нет! Все улицы обегал... Пришлось идти на Большую Морскую. Прямо ужас.

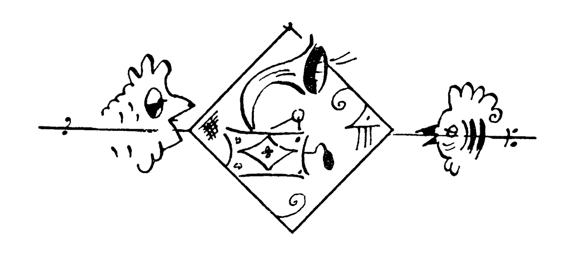
— Ага...— задумчиво прошептал отец.— Такой большой район, и ни одного писчебумажного магазина. А... гм... Не идея ли это? Попробую-ка я открыть тут писчебумажный магазин!..

. . . .

— А что,— говорил я Мотьке вечером того же дня.— А отец открывает конверточный магазин.

— Большая штука! — вздернул плечами этот анафемский поваренок.— А моя матка отдает меня к сапожнику. Сапожник, брат, как треснет колодкой по головешке — так и растянешься. Какой человек слабый-то и сдохнет. Это тебе не конверты!

И в сотый раз увидел я, что ни мне, ни отцу не угнаться за этим практическим ребенком, который так умело и ловко устраивал свои делишки . . . .
. . . .



КРИВЫЕ УГЛЫ

Глава первая. ПРИЕЗД

Гимназист 6-го класса харьковской гимназии Поползухин приехал в качестве репетитора в усадьбу помещика Плантова Кривые Углы.

Ехать пришлось восемьсот верст по железной дороге, семьдесят лошадьми и восемь пешком, так как кучер от совершенно неизвестных причин оказался до того пьяным, что свалился на лошадь и, погрозив Поползухину грязным кулаком, молниеносно заснул.

Поползухин потащил чемодан на руках и, усталый, расстроенный, к вечеру добрел до усадьбы Кривые Углы.

Неизвестная девка выглянула из окна флигеля, увидала его, выпала оттуда на землю и с криком ужаса понеслась в барский дом.

Поджарая старуха выскочила на крыльцо дома, всплеснула руками и, подскакивая на ходу, убежала в заросший, густой сад.

Маленький мальчик осторожно высунул голову из дверей голубятни, увидел гимназиста Поползухина с чемоданом на руках, показал ему язык и громко заплакал.

— Чтоб ты пропал, собачий учитель! Напрасно украл я для кучера Афанасия бутылку водки, чтобы он завез тебя в лес и бросил. Обожди, оболью я тебе костюм чернилом!

Поползухин погрозил ему пальцем, вошел в дом и, не найдя никого, сел на деревянный диван.

Парень лет семнадцати вышел с грязной тарелкой в руках, остановился при виде гимназиста и долго стоял так, обомлевший, с круглыми от страха глазами. Постояв немного, уронил тарелку на пол, стал на колени, подобрал осколки в карманы штанов и ушел.

Вошел толстый человек в халате и с трубкой. Пососав

ее задумчиво, разогнал волосатой рукой дым и сказал громко:

— Наверно, это самый учитель и есть! Приехал с чемоданом. Да. Сидит на диване. Так-то, брат Плантов! Учитель к тебе приехал.

Сообщив самому себе эту новость, помещик Плантов обрадовался, заторопился, захлопал в ладоши, затанцевал на толстых ногах.

— Эй, кто есть? Копанчук! Павло! Возьмите его чемодан. А что, учитель, играете вы в кончины?

— Нет,— сказал Поползухин.— А ваш мальчик меня языком дразнил!

— Высеку! Да это нетрудно: сдаются карты вместе с кончинами... Пойдем... покажу!

Схватив Поползухина за рукав, он потащил его во внутренние комнаты; в столовой они наткнулись на нестарую женщину в темной кофте с бантом на груди.

— Чего ты его тащишь? Опять, верно, со своими проклятыми картами! Дай ты ему лучше отдохнуть, умыться с дороги.

— Здравствуйте, сударыня! Я — учитель Поползухин, из города.

— Ну, что же делать? — вздохнула она.— Мало ли с кем бывает. Иногда и среди учителей попадаются хорошие люди. Только ты, уж сделай милость, у нас мертвецов не режь!

— Зачем же мне их резать? — удивился Поползухин.

— То-то я и говорю — незачем. От бога грех и от людей срам. Пойди к себе, хоть лицо оплесни! Опылило тебя.

Таков был первый день приезда гимназиста Поползухина к помещику Плантову.

Глава вторая. ТРИУМФ

На другой день, после обеда, Поползухин, сидя в своей комнате, чистил пиджак, залитый чернилами. Мальчик Андрейка стоял тут же в углу и горько плакал, перемежая это занятие с попытками вытащить при помощи зубов маленький гвоздик, забитый в стену на высоте его носа.

Против Поползухина сидел с колодой карт помещик Плантов и ожидал, когда Поползухин окончит свою работу.

— Учение — очень трудная вещь,— говорил Поползухин.— Вы знаете, что такое тригонометрия?

— Нет!

— Десять лет изучать надо. Алгебру — семь с половиной лет. Латинский язык — десять лет. Да и то потом ни черта не знаешь. Трудно! Профессора двадцать тысяч в год получают.

Плантов подпер щеку рукой и сосредоточенно слушал Поползухина.

— Да, теперь народ другой,— сказал он.— Все знают. Вы на граммофоне умеете играть?

— Как играть?

— А так... Прислал мне тесть на именины из города граммофон... Труба есть такая, кружочки. А как на нем играть, бес его знает! Так и стоит без дела.

Поползухин внимательно посмотрел на Плантова, отложил в сторону пиджак и сказал:

— Да, я на граммофоне немного умею играть. Учился. Только это трудно, откровенно говоря!

— Ну? Играете? Вот так браво!..

Плантов оживился, вскочил и схватил гимназиста за руку.

— Пойдем! Вы нам поиграете. Ну его к бесу, ваш пиджак! После отчистите! Послушаем, как оно это... Жена, жена!.. Иди сюда, бери вязанье, учитель на граммофоне играть будет!

Граммофон лежал в зеленом сундуке под беличьим салопом, завернутый в какие-то газеты и коленкор.

Поползухин с мрачным, решительным лицом вынул граммофон, установил его, приставил рупор и мазнул рукой.

— Потрудитесь, господа, отойти подальше! Андрейка, ты зачем с колен встал? Как пиджаки чернилами обливать, на это ты мастер, а как на коленях стоять, так не мастер! Господа, будьте любезны сесть подальше, вы меня нервируете!

— А вы его не испортите? — испуганно спросил Плантов.— Вещь дорогая.

Поползухин презрительно усхмехнулся.

— Не бойтесь, не с такими аппаратами дело имели!

Он всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину.

Все ахнули. Из трубы донесся визгливый человеческий голос, кричавший: «Выйду ль на реченьку».

Бледный от гордости и упоенный собственным могуществом, стоял Поползухин около граммофона и изредка, с хлад-

нокровием опытного, видавшего виды мастера подкручивал винтик, регулирующий высоту звука.

Помещик Плантов хлопал себя по бедрам, вскакивал и, подбегая ко всем, говорил:

— Ты понимаешь, что это такое? Человеческий голос из трубы! Андрейка, видишь, болван, какого мы тебе хорошего учителя нашли? А ты все по крышам лазишь!.. А ну что-нибудь изобразите, господин Поползухин!

В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами: девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий, сговорившийся с Андрейкой погубить учителя.

Потом крадучись пришла вчерашняя старуха. Она заглянула в комнату, увидела учителя, блестящий рупор, всплеснула руками и снова умчалась, подпрыгивая, в сад.

В Кривых Углах она считалась самым пугливым, диким и глупым существом.

Глава третья. СВЕТЛЫЕ ДНИ

Для гимназиста Поползухина наступили светлые, безоблачные дни. Андрейка боялся его до обморока и большей частью сидел на крыше, спускаясь только тогда, когда играл граммофон. Помещик Плантов забыл уже о кончинах и целый день ходил по пятам за Поползухиным, монотонно повторяя молящим голосом:

— Ну, сыграйте что-нибудь!.. Очень вас прошу! Чего в самом деле?

— Да ничего сейчас не могу! — манерничал Поползухин.

— Почему не можете?

— А для этого нужно подходящее настроение! А ваш Андрейка меня разнервничал.

— А бес с ним! Плюньте вы на это учение! Будем лучше играть на граммофоне... Ну, сыграйте сейчас!

— Эх! — качал мохнатой головой Поползухин.— Что уж с вами делать! Пойдемте!

Госпожа Плантова за обедом подкладывала Поползухину лучшие куски, поила его наливкой и всем своим видом показывала, что она не прочь нарушить свой супружеский долг ради такого искусного музыканта и галантного человека.

Вся дворня при встрече с Поползухиным снимала шапки и кланялась. Выпавшая в свое время из окна девка каждый

день ставила в комнату учителя громадный свежий букет цветов, а парень, разбивший тарелку, чистил сапоги учителя так яростно, что во время этой операции к нему опасно было подходить на близкое расстояние: амплитуда колебаний щетки достигала чуть не целой сажени.

И только одна поджарая старуха не могла превозмочь непобедимую робость перед странным могущестом учителя — при виде его с криком убегала в сад и долго сидела в крыжовнике, что отражалось на ее хозяйственных работах.

Сам Поползухин, кроме граммофонных занятий, ничего не делал: Андрейку не видал по целым дням, помыкал всем домом, ел пять раз в сутки и иногда, просыпаясь ночью, звал приставленного к нему парня:

— Принеси-ка мне чего-нибудь поесть! Студня, что ли, или мяса! Да наливки дай!

Услышав шум, помещик Плантов поднимался с кровати, надевал халат и заходил к учителю.

— Кушаете? А что, в самом деле, выпью-ка и я наливки! А ежели вам спать не особенно хочется, пойдем-ка, вы мне поиграете что-нибудь. А?

Поползухин съедал принесенное, выпроваживал огорченного Плантова и заваливался спать.

Глава четвертая. КРАХ

С утра Поползухин уходил гулять в поле, к реке. Дворня, по поручению Плантова, бегала за ним, искала, аукала и, найдя, говорила:

— Идите, барчук, в дом! Барин просят вас на той машине поиграть.

— А ну его к черту! — морщился Поползухин.— Не пойду! Скажите, нет настроения для игры!

— Идите, барчук!.. Барыня тоже очень просила. И Андрейка плачут, слухать хочут.

— Скажите, вечером поиграю!

Однажды ничего не подозревавший Поползухин возвращался с прогулки к обеду. В двадцати шагах от дома он вдруг остановился и, вздрогнув, стал прислушиваться.

«Выйду ль я на реченьку»,— заливался граммофон.

С криком бешенства и ужаса схватился гимназист Поползухин за голову и бросился в дом. Сомнения не было: граммофон играл, а в трех шагах от него стоял неизвестный Поползухину студент и добродушно-насмешливо поглядывал на окружающих.

— Да что ж тут мудреного? — говорил он.— Механизм

самый простой. Даже Андрейка великолепно с ним управится.

— Зачем вы без меня трогали граммофон? — сердито крикнул Furthermore Поползухин.

— Смотри, какая цаца! — сказал ядовито помещик Плантов.— Будто это его граммофон. Что же ты нам кружил голову, что на нем играть нужно учиться? А вот Митя Колонтарев приехал и сразу заиграл. Эх, ты... карандаш! А позвольте, Митя, я теперь заведу! То-то дорого! Теперь целый день буду играть. Позвольте вас поцеловать, уважаемый Митя, что вздумали свизитировать нас, стариков.

За обедом на Поползухина не обращали никакого внимания. Говядину ему положили жилистую, с костью, вместо наливки он пил квас, а после обеда Плантов, уронив рассеянный взгляд на Андрейку, схватил его за ухо и крикнул:

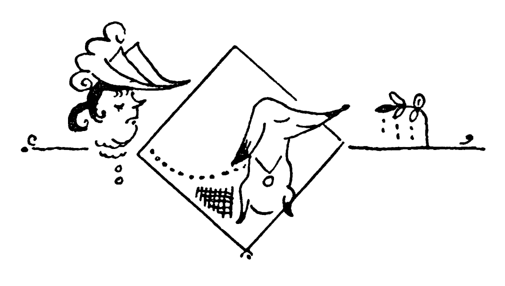
— Ну, брат, довольно тебе шалберничать... нагулялся! Учитель, займитесь!

Поползухин схватил Андрейку за руку и бешено дернул его:

— Пойдем!

И они пошли, не смотря друг на друга...

По дороге гимназист дал Андрейке два тумака, а тот улучил минуту и плюнул учителю на сапог.



ГАЛОЧКА

Однажды в сумерки весеннего, кротко умиравшего дня к Ирине Владимировне Овраговой пришла девочка двенадцати лет Галочка Кегич.

Сняв в передней верхнюю серую кофточку и гимназическую шляпу, Галочка подергала ленту в длинной русой косе, проверила, все ли на месте,— и вошла в неосвещенную комнату, где сидела Ирина Владимировна.

— Где вы тут?

— Это кто? А! Сестра своего брата. Мы с вами немного ведь знакомы. Здравствуйте, Галочка.

— Здравствуйте, Ирина Владимировна. Вот вам письмо от брата. Хотите, читайте его при мне, хотите — я уйду.

— Нет, зачем же; посидите со мной, Галочка. Такая тоска... Я сейчас.

Она зажгла электрическую лампочку с перламутровым абажуром и при свете ее погрузилась в чтение письма.

Кончила...

Рука с письмом вяло, бессильно упала на колени, а взгляд мертво и тускло застыл на освещенном краешке золоченой рамы на стене.

— Итак — все кончено? Итак — уходить?

Голова опустилась ниже.

Галочка сидела, затушеванная полутьмой, вытянув скрещенные ножки в лакированных туфельках и склонив голову на сложенные ладонями руки.

И вдруг в темноте звонко — как стук хрустального бокала о бокал — прозвучал ее задумчивый голосок:

— Удивительная это штука — жизнь.

— Что-о-о? — вздрогнула Ирина Владимировна.

— Я говорю: удивительная штука — наша жизнь. Иногда бывает смешно, иногда грустно.

— Галочка! Почему вы это говорите?

— Да вот смотрю на вас и говорю. Плохо ведь вам небось сейчас.

— С чего вы взяли...

— Да письмо-то это, большая радость, что ли?

— А вы разве... Знаете... содержание письма?

— Не знала бы, не говорила бы.

— Разве Николай показывал вам?

— Колька дурак. У него не хватит даже соображения поговорить со мной, посоветоваться. Ничего он мне не показывал. Я хотела было из самолюбия отказаться снести письмо, да потом мне стало жалко Кольку. Смешной он и глупый.

— Галочка... Какая вы странная... Вам двенадцать лет, кажется, а вы говорите, как взрослая.

— Мне вообще много приходится думать. За всех думаешь, заботишься, чтоб всем хорошо было. Вы думаете, это легко?

Взгляд Ирины Владимировны упал на прочитанное письмо, и снова низко опустилась голова.

— И вы тоже, миленькая, хороши! Нечистый дернул вас

потепаться с этим ослом Климухиным в театр. Очень он вам нужен, да? Ведь я знаю, вы его не любите, вы Кольку моего любите — так зачем же это? Вот все оно так скверно и получилось.

— Значит, Николай из-за этого... Боже, какие пустяки! Что же здесь такого, если я пошла в театр с человеком, который мне нужен, как прошлогодний снег.

— Смешная вы, право. Уже большой человек вы, а ничего не смыслите в этих вещах. Когда вы говорите это мне, я все понимаю, потому что умная и, кроме того, девочка. А Колька большой ревнивый мужчина. Узнал — вот и полез на стену. Надо бы, кажется, понять эту простую штуку...

— Однако он мне не пишет причины его разрыва со мной.

— Не пишет ясно почему: из самолюбия. Мы, Кегичи, все безумно самолюбивы.

Обе немного помолчали.

— И смешно мне глядеть на вас обоих и досадно. Из-за какого рожна, спрашивается, люди себе кровь портят? Насквозь вас вижу: любите друг друга так, что аж чертям тошно. А мучаете один другого. Вот уж никому этого не нужно. Знаете, выходите за Кольку замуж. А то прямо смотреть на вас тошнехонько.

— Галочка! Но ведь он пишет, что не любит меня!..

— А вы и верите? Эх, вы. Вы обратите внимание: раньше у него были какие-то там любовницы...

— Галочка!

— Чего там — Галочка. Я, слава Богу, уже 12 лет Галочка. Вот я и говорю: раньше у него было по три любовницы сразу, а теперь вы одна. И он все время глядит на вас, как кот на сало.

— Галочка!!

— Ладно там. Не подумайте, пожалуйста, что я какая-нибудь испорченная девчонка, а просто я все понимаю. Толковый ребенок, что и говорить. Только вы Кольку больше не дразните.

— Чем же я его дразню?

— А зачем вы в письме написали о том художнике, который вас домой с вечера провожал? Кто вас за язык тянул? Зачем? Только чтобы моего Кольку дразнить? Стыдно! А еще большая!

— Галочка!.. Откуда вы об этом письме знаете?!

— Прочитала.

— Неужели Коля...

— Да, как же! Держите карман шире... Просто открыла незапертый ящик и прочитала...

— Галочка!!!

— Да ведь я не из простого любопытства. Просто хочу вас и его устроить, с рук сплавить просто. И прочитала, чтобы быть... как это говорится? В курсе дела.

— Вы, может быть, и это письмо прочитали?

— А как же! Что я вам, простой почтальон, что ли? Чтобы втемную письма носить?.. Прочитала. Да вы не беспокойтесь! Я для вашей же пользы это... Ведь никому не разболтаю.

— А вы знаете, что читать чужие письма неблагородно?

— Начихать мне на это. Что с меня можно взять? Я маленькая. А вы большой глупыш. Обождите, я вас сейчас поцелую. Вот так. А теперь — надевайте кофточку, шляпу — и марш к Кольке. Я вас отвезу.

— Нет, Галочка, ни за что!

— Вот поговорите еще у меня. Уж вы, раз наделали глупостей, так молчите. А Колька сейчас лежит у себя на диване носом вниз и киснет, как собака. Вообразите — лежит и киснет. Вдруг — входите вы! Да ведь он захрюкает от радости.

— Но ведь он же мне написал, что...

— Чихать я хотела на его письмо. Ревнивый этот самый Колька, как черт. Наверное, и я такая же буду, как выросту. Ну, не разговаривайте. Одевайтесь! Ишь, ты! И у вас вон глазки повеселели. Ах вы, мышатки мои милые!..

— Так я переоденусь только в другое платье...

— Ни-ни! Надо, чтобы все по-домашнему было. Это уютненькое. Только снимите с волос зеленую бархатку, она вам не идет... Есть красная?

— Есть.

— Ну, вот и умница. Давайте, я вам приколю. Вы красивая и симпатичная... Люблю таких. Ну, поглядите теперь на меня... Улыбнитесь? То-то. А Кольке прямо, как придете, так и скажите: «Коля, ты дурак». Ведь вы с ним на ты, я знаю. И целуетесь уже. Раз видела. На диванчике. Женитесь, ей-богу, чего там.

— Галочка! Вы прямо необыкновенный ребенок.

— Ну да! Скажете тоже. Через четыре года у нас в деревне нашего брата уже замуж выдают, а вы говорите ребенок. Охо-хо!.. Уморушка с вами. Духами немного надушитесь — у вас хорошие духи,— и поедем. Дайте ему слово, что вы плевать хотели на Климухина, и скажите Кольке, что

он самый лучший. Мужчины любят это. Готовы, сокровище мое? Ну, айда к этой старой крысе!

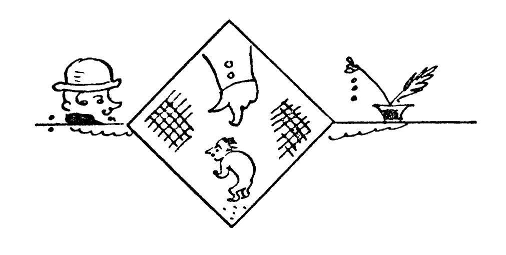
«Старая крыса», увидев вошедшую странную пару, вскочил с дивана и, растерянный, со скрытым восторгом во взоре, бросился к Ирине Владимировне.

— Вы?!. У меня?.. А письмо... получили?..

— Чихать мы хотели на твое письмо,— засмеялась Галочка, толкая его в затылок.— Плюньте на все и берегите здоровье. Поцелуйтесь, детки, а я уже смертельно устала от этих передряг.

Оба уселись рядом на диване и рука к руке, плечо к плечу — прильнули друг к другу.

— Готово? — деловым взглядом окинула эту группу с видом скульптора-автора Галочка.— Ну, а мне больше некогда возиться с вами. У меня, детки, признаться откровенно, с арифметикой что-то неладно. Пойти подзубрить, что ли. Благословляю вас и ухожу. Кол-то мне из-за вас тоже, знаете, получать не расчет...



СТРАШНЫЙ МАЛЬЧИК

Обращая взор свой к тихим розовым долинам моего детства, я до сих пор испытываю подавленный ужас перед Страшным Мальчиком.

Широким полем расстилается умилительное детство — безмятежное купанье с десятком других мальчишек в Хрустальной бухте, шатанье по Историческому бульвару с целым ворохом наворованной сирени под мышкой, бурная радость по поводу какого-нибудь печального события, которое давало возможность пропустить учебный день, «большая перемена» в саду под акациями, змеившими золотисто-зеленые пятна по растрепанной книжке «Родное

Слово» Ушинского, детские тетради, радовавшие взор своей снежной белизной в момент покупки и внушавшие на другой день всем благомыслящим людям отвращение своим грязным пятнистым видом, тетради, в которых по тридцати, сорока раз повторялось с достойным лучшей участи упорством: «Нитка тонка, а Ока широка» или пропагандировалась несложная проповедь альтруизма: «Не кушай, Маша, кашу, оставь кашу Мише», переснимочные картинки на полях географии Смирнова, особый, сладкий сердцу запах непроветренного класса — запах пыли и прокисших чернил, ощущение сухого мела на пальцах после усердных занятий у черной доски, возвращение домой под ласковым весенним солнышком, по протоптанным среди густой грязи, полупросохшим, упругим тропинкам, мимо маленьких мирных домиков Ремесленной улицы и, наконец,— среди этой кроткой долины детской жизни, как некий грозный дуб, возвышается крепкий, смахивающий на железный болт кулак, венчающий худую, жилистую, подобно жгуту из проволоки, руку Страшного Мальчика.

Его христианское имя было Иван Аптекарев, уличная кличка сократила его на «Ваньку Аптекаренка», а я в пугливом, кротком сердце моем окрестил его: Страшный Мальчик.

Действительно, в этом мальчике было что-то страшное: жил он в местах совершенно неисследованных — в нагорной части Цыганской Слободки; носились слухи, что у него были родители, но он, очевидно, держал их в черном теле, не считаясь с ними, запугивая их; говорил хриплым голосом, поминутно сплевывая тонкую, как нитка, слюну сквозь выбитый Хромым Возжонком (легендарная личность!) зуб; одевался же он так шикарно, что никому из нас даже в голову не могло прийти скопировать его туалет: на ногах рыжие, пыльные башмаки с чрезвычайно тупыми носками, голова венчалась фуражкой, измятой, переломленной в неподлежащем месте и с козырьком, треснувшим посредине самым вкусным образом.

Пространство между фуражкой и башмаками заполнялось совершенно выцветшей форменной блузой, которую охватывал широченный кожаный пояс, спускавшийся на два вершка ниже, чем это полагалось природой, а на ногах красовались штаны, столь вздувшиеся на коленках и затрепанные внизу, что Страшный Мальчик одним видом этих брюк мог навести панику на население.

Психология Страшного Мальчика была проста, но совершенно нам, обыкновенным мальчикам, непонятна. Когда

кто-нибудь из нас собирался подраться, он долго примеривался, вычислял шансы, взвешивал и, даже все взвесив, долго колебался, как Кутузов перед Бородино. А Страшный Мальчик вступал в любую драку просто, без вздохов и приготовлений: увидев не понравившегося ему человека, или двух, или трех, он крякал, сбрасывал пояс и, замахнувшись правой рукой так далеко, что она чуть его самого не хлопала по спине, бросался в битву.

Знаменитый размах правой руки делал то, что первый противник летел на землю, вздымая облако пыли; удар головой в живот валил второго; третий получал неуловимые, но страшные удары обеими ногами... Если противников было больше, чем три, то четвертый и пятый летели от снова молниеносно закинутой назад правой руки, от методического удара головой в живот — и так далее.

Если же на него нападали пятнадцать, двадцать человек, то сваленный на землю Страшный Мальчик стоически переносил дождь ударов по мускулистому гибкому телу, стараясь только повертывать голову с тем расчетом, чтобы приметить, кто в какое место и с какой силой бьет, дабы в будущем закончить счеты со своими истязателями.

Вот что это был за человек — Аптекаренок.

Ну, не прав ли я был, назвав его в сердце своем Страшным Мальчиком?

Когда я шел из училища в предвкушении освежительного купания на «Хрусталке», или бродил с товарищем по Историческому бульвару в поисках ягод шелковицы, или просто бежал неведомо куда по неведомым делам,— все время налет тайного, неосознанного ужаса теснил мое сердце: сейчас где-то бродит Аптекаренок в поисках своих жертв... Вдруг он поймает меня и изобьет меня вконец — «пустит юшку», по его живописному выражению.

Причины для расправы у Страшного Мальчика всегда находились...

Встретив как-то при мне моего друга Сашку Ганнибоцера, Аптекаренок холодным жестом остановил его и спросил сквозь зубы:

— Ты чего на нашей улице задавался?

Побледнел бедный Ганнибоцер и прошептал безнадежным тоном:

— Я... не задавался.

— А кто у Снурцына шесть солдатских пуговиц отнял?

— Я не отнял их. Он их проиграл.

— А кто ему по морде дал?

— Так он же не хотел отдавать.

— Мальчиков на нашей улице нельзя бить,— заметил Аптекаренок и, по своему обыкновению, с быстротой молнии перешел к подтверждению высказанного положения: со свистом закинул руку за спину, ударил Ганнибоцера в ухо, другой рукой ткнул «под вздох», отчего Ганнибоцер переломился надвое и потерял всякое дыхание, ударом ноги сбил оглушенного, увенчанного синяком Ганнибоцера на землю и, полюбовавшись на дело рук своих, сказал прехладнокровно:

— А ты...— Это относилось ко мне, замершему при виде Страшного Мальчика, как птичка перед пастью змеи.—... А ты что? Может, тоже хочешь получить?

— Нет,— пролепетал я, переводя взор с плачущего Ганнибоцера на Аптекаренка.— За что же... Я ничего.

Загорелый, жилистый, не первой свежести кулак закачался, как маятник, у самого моего глаза.

— Я до тебя давно добираюсь... Ты мне попадешь под веселую руку. Я тебе покажу, как с баштана незрелые арбузы воровать!

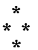
«Все знает проклятый мальчишка»,— подумал я. И спросил, осмелев:

— А на что они тебе... Ведь это не твои.

— Ну и дурак. Вы воруете все незрелые, а какие же мне останутся? Если еще раз увижу около баштана — лучше бы тебе и на свет не родиться.

Он исчез, а я после этого несколько дней ходил по улице с чувством безоружного охотника, бредущего по тигровой тропинке и ожидающего, что вот-вот зашевелится тростник и огромное полосатое тело мягко и тяжело мелькнет в воздухе.

Страшно жить на свете маленькому человеку.



Страшнее всего было, когда Аптекаренок приходил купаться на камни в Хрустальную бухту.

Ходил он всегда один, несмотря на то что все окружающие мальчики ненавидели его и желали ему зла.

Когда он появлялся на камнях, перепрыгивая со скалы на скалу, как жилистый поджарый волчонок, все невольно притихали и принимали самый невинный вид, чтобы не вызвать каким-нибудь неосторожным жестом или словом его сурового внимания.

А он в три-четыре методических движения сбрасывал блузу, зацепив на ходу и фуражку, потом штаны, стянув

заодно с ними и ботинки, и уже красовался перед нами, четко вырисовываясь смуглым, изящным телом спортсмена на фоне южного неба. Хлопал себя по груди и если был в хорошем настроении, то, оглядев взрослого мужчину, затесавшегося каким-нибудь образом в нашу детскую компанию, говорил тоном приказания:

— Братцы! А ну, покажем ему «рака».

В этот момент вся наша ненависть к нему пропадала — так хорошо проклятый Аптекаренок умел делать «рака».

Столпившиеся, темные, поросшие водорослями скалы образовывали небольшое пространство воды, глубокое, как колодец... И вот вся детвора, сгрудившись у самой высокой скалы, вдруг начинала с интересом глядеть вниз, охая и по-театральному всплескивая руками:

— Рак! Рак!

— Смотри, рак! Черт знает, какой огромадный! Ну и штука же!

— Вот так рачище!.. Гляди, гляди — аршина полтора будет.

Мужичище — какой-нибудь булочник при пекарне или грузчик в гавани,— конечно, заинтересовывался таким чудом морского дна и неосторожно приближался к краю скалы, заглядывая в таинственную глубь «колодца».

А Аптекаренок, стоявший на другой, противоположной скале, вдруг отделялся от нее, взлетал аршина на два вверх, сворачивался в воздухе в плотный комок, спрятав голову в колени, обвив плотно руками ноги, и, будто повисев в воздухе полсекунды, обрушивался в самый центр «колодца».

Целый фонтан — нечто вроде смерча — взвивался кверху, и все скалы сверху донизу заливались кипящими потоками воды.

Вся штука заключалась в том, что мы, мальчишки, были голые, а мужик — одетый и после «рака» начинал напоминать вытащенного из воды утопленника.

Как не разбивался Аптекаренок в этом узком скалистом «колодце», как он ухитрялся поднырнуть в какие-то подводные ворота и выплыть на широкую гладь бухты — мы совершенно недоумевали. Замечено было только, что после «рака» Аптекаренок становился добрее к нам, не бил нас и не завязывал на мокрых рубашках «сухарей», которые приходилось потом грызть зубами, дрожа голым телом от свежего морского ветерка.

*
* *
*

Пятнадцати лет от роду мы все начали «страдать».

Это — совершенно своеобразное выражение, почти не поддающееся объяснению. Оно укоренилось среди всех мальчишек нашего города, переходящих от детства к юности, и самой частой фразой при встрече двух «фрайеров» (тоже южное арго) было:

— Дрястуй, Сережка. За кем ты стрядаешь?

— За Маней Огневой. А ты?

— А я еще ни за кем.

— Ври больше. Что же ты, дрюгу боишься сказать, что ли ча?

— Да мине Катя Капитанаки очень привлекаеть.

— Врешь?

— Накарай мине господь.

— Ну, значит, ты за ней стрядаешь.

Уличенный в сердечной слабости, «страдалец за Катей Капитанаки» конфузится и для сокрытия прелестного полудетского смущения загибает трехэтажное ругательство.

После этого оба друга идут пить бузу за здоровье своих избранниц.

Это было время, когда Страшный Мальчик превратился в Страшного Юношу. Фуражка его по-прежнему вся пестрела противоестественными изломами, пояс спускался чуть не на бедра (необъяснимый шик), а блуза верблюжьим горбом выбивалась сзади из-под пояса (тот же шик); пахло от Юноши табаком довольно едко.

Страшный Юноша, Аптекаренок, переваливаясь, подошел ко мне на тихой вечерней улице и спросил своим тихим, полным грозного величия голосом:

— Ты чиво тут делаешь, на нашей улице?

— Гуляю...— ответил я, почтительно пожав протянутую мне в виде особого благоволения руку.

— Чиво ж ты гуляешь?

— Да так себе.

Он помолчал, подозрительно оглядывая меня.

— А ты за кем стрядаешь?

— Да ни за кем.

— Ври!

— Накарай меня госп...

— Ври больше! Ну? Не будешь же ты здря (тоже словечко) шляться по нашей улице. За кем стрядаешь?

И тут сердце мое сладко сжалось, когда я выдал свою сладкую тайну:

— За Кирой Костюковой. Она сейчас после ужина выйдет.

— Ну, это можно.

Он помолчал. В этот теплый нежный вечер, напоенный грустным запахом акаций, тайна распирала и его мужественное сердце.

Помолчав, спросил:

— А ты знаешь, за кем я стрядаю?

— Нет, Аптекаренок,— ласково сказал я.

— Кому Аптекаренок, а тебе дяденька,— полушутливо, полусердито проворчал он.— Я, братец ты мой, стрядаю теперь за Лизой Евангопуло. А раньше я стрядал (произносить «я» вместо «а» — был тоже своего рода шик) за Маруськой Королькевич. Здорово, а? Ну, брат, твое счастье. Если бы ты что-нибудь думал насчет Лизы Евангопуло, то...

Снова его уже выросший и еще более окрепший жилистый кулак закачался у моего носа.

— Видал? А так ничего, гуляй. Что ж... всякому стрядать приятно.

Мудрая фраза в применении к сердечному чувству.

* * * *

12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть несколько моих рассказов раненым, смертельно скучавшим в мирной лазаретной обстановке.

Только что я вошел в большую, уставленную кроватями палату, как сзади меня с кровати послышался голос:

— Здравствуй, фрайер. Ты чего задаешься на макароны?

Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого бледного, заросшего бородой раненого.

Я с недоумением поглядел на него и спросил:

— Вы это мне?

— Так-то, не узнавать старых друзей? Погоди, попадешься ты на нашей улице — узнаешь, что такое Ванька Аптекаренок.

— Аптекарев?!

Страшный Мальчик лежал передо мной, слабо и ласково улыбаясь мне.

Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и

заставил и меня и его (потом, когда я ему признался в этом) рассмеяться.

— Милый Аптекаренок? Офицер?

— Да.

— Ранен?

— Да.— И, в свою очередь:— Писатель?

— Да.

— Не ранен?

— Нет.

— То-то. А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибоцера вздул?

— Еще бы. А за что ты тогда «до меня добирался»?

— А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехорошо.

— Почему?

— Потому что мне самому хотелось воровать.

— Правильно. А страшная у тебя была рука, нечто вроде железного молотка. Воображаю, какая она теперь...

— Да, брат,— усмехнулся он.— И вообразить не можешь.

— А что?

— Да вот, гляди.

И показал из-под одеяла короткий обрубок.

— Где это тебя так?

— Батарею брали. Их было человек пятьдесят. А нас, этого... Меньше.

Я вспомнил, как он с опущенной головой и закинутой назад рукой слепо бросался на пятерых,— и промолчал.

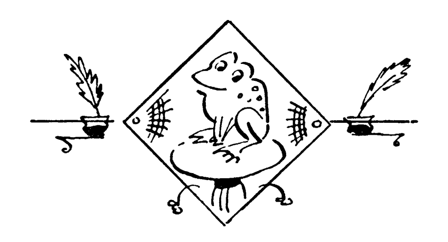
Бедный Страшный Мальчик!

*
* *
*

Когда я уходил, он, пригнув мою голову к своей, поцеловал меня и шепнул на ухо:

— За кем теперь стрядаешь?

И такая жалость по ушедшем сладком детстве, по книжке «Родное Слово» Ушинского, по «большой перемене» в саду под акациями, по украденным пучкам сирени,— такая жалость затопила наши души, что мы чуть не заплакали.



РАССКАЗ ДЛЯ «ЛЯГУШОНКА»

Редактор детского журнала «Лягушонок», встретив меня, сказал:

— Не напишете ли вы для нашего журнала рассказ?

Я не ожидал такой просьбы. Тем не менее спросил:

— Для какого возраста?

— От восьми до тринадцати лет.

— Это трудная задача,— признался я.— Мне случалось встречать восьмилетних детей, которые при угрозе отдать их бабе Яге моментально затихали, замирая от ужаса, и я знавал тринадцатилетних детишек, которые пользовались всяким случаем, чтобы стянуть из буфета бутылку водки, а при расчетах после азартной карточной игры, в укромном месте, пытались проткнуть ножами животы друг другу.

— Ну да,— сказал редактор.— Вы говорите о тринадцатилетних развитых детях и о восьмилетних, отставших в развитии. Нет! Рассказ, обыкновенно, нужно писать для среднего типа ребенка, руководствуясь, приблизительно, десятилетним возрастом.

— Понимаю. Значит, я должен написать рассказ для обыкновенного ребенка десяти лет?

— Вот именно. В этом возрасте дети очень понятливы, сообразительны, как взрослые, и очень не любят того сюсюканья, к которому прибегают авторы детских рассказов. Дети уже тянутся к изучению жизни! Не нужно забывать, что ребенок в этом возрасте гораздо больше знает и о гораздо большем догадывается, чем мы предполагаем. Если вы примете это во внимание, я думаю, что рассказец у вас получится хоть куда...

— Ладно,— пообещал я.— Завтра вы получите рассказ.

В тот же вечер я засел за рассказ. Я отбросил все, что отдавало сюсюканьем, и старался держаться трезвой

правды и реализма, который, по-моему, так должен был подкупить любознательного ребенка и приохотить его к чтению.

Редактор прочел рассказ до половины, положил его на стол и, подперев кулаками голову, изумленно стал меня разглядывать:

— Это вы писали для детей?

— Да... Приблизительно имея в виду десятилетний возраст. Но если и восьмилетний развитой мальчишка...

— Виноват!! Вот как начинается ваш рассказ:

ДЕНЬ ЛУКЕРЬИ

«Кухарка Лукерья встала рано утром и, накинув платок, побежала в лавочку... Под воротами в темном углу ее дожидался разбитной веселый дворник Федосей. Он ущипнул изумленную Лукерью за круглую аппетитную руку, прижал ее к себе и, шлепнув с размаху по спине, шепнул на ухо задыхающимся голосом:

— Можно прийти к тебе сегодня ночью, когда господа улягутся?

— Зачем? — хихикнула Лукерья, толкнув Федосея локтем в бок.

— Затем,— сказал простодушный Федосей,— чтобы...»

Ну, дальше я читать не намерен, потому что, я думаю, от такого рассказа вспыхнет до корней волос и солдат музыкальной команды.

Я пожал плечами.

— Мне нет дела до какого-то там солдата музыкальной команды, но живого любознательного ребенка такой рассказ должен заинтриговать.

— Знаете что? — потирая руки, сказал редактор.— Вы этот рассказ попытайтесь пристроить в «Вестнике общества защиты падших женщин», а если там его найдут слишком пикантным, отдайте в «Досуги холостяка». А нам напишите другой рассказ.

— Не знаю уж, что вам и написать. Старался, как лучше, избегал сюсюканья, как огня...

— Нет, вы напишите хороший детский рассказ, держась сферы тех интересов, которые питают ребенка десяти-одиннадцати лет. Ребенок очень любит рассказы о путешествиях — дайте это ему со всеми подробностями, потому что в подробностях для ребенка есть своеобразная прелесть.

Вы можете даже не стесняться фантазировать, но чтобы фантазия была реальна — иначе ребенок ей не поверит,— чтобы фантазия была основана на цифрах, вычислениях и точных размерах. Вот что дает ребенку полную иллюзию и что приковывает его к книжке.

— Конечно, я это сделаю,— сказал я, протягивая руку редактору «Лягушонка».— Через два дня такой рассказ уже будет у вас в руках.

И я, обдумав, как следует тему, написал рассказ:

КАК Я ЕЗДИЛ В МОСКВУ

«Недавно мне пришлось съездить в Москву. В путеводителе я нашел несколько поездов и после недолгого размышления решил остановиться на отходящем ровно в 11 часов по петроградскому времени. Правда, были еще два поезда — в 7 часов 30 минут и в 9 часов 15 минут по петроградскому времени, но они не были так удобны. Для того чтобы попасть на вокзал, я взял извозчика, сторговавшись за 40 копеек. Ехали мы около 25 минут, и на вокзал я приехал за 16 минут до отхода поезда. Известно, что от Петрограда до Москвы расстояние 604 версты, каковое расстояние поезд проходит в 12 часов с остановками или 10 часов без остановок, т. е. 60 верст в час. Мне досталось место № 7 в вагоне № 2...»

В этом месте редактор, читавший вслух мой рассказ о путешествии, остановился и спросил:

— Можно быть с вами откровенным?

— Пожалуйста!

— Никогда мне не приходилось читать более скучной и глупой вещи... Железнодорожное расписание — штука хорошая для справок, но как беллетристический рассказ...

— Да, рассказ суховат,— согласился я.— Но самый недоверчивый ребенок не усомнится в его правдивости. По-моему, самая печальная правда лучше красивой лжи!..

— Вы смешиваете ложь с выдумкой,— возразил редактор.— Ребенок не переносит лжи, но выдумка дорога его сердцу. И потом, мальчишку никогда не заинтересует то, что близко от него, то, что он сам видел. Его тянет в загадочно-прекрасные неизвестные страны, он любит героические битвы с индейцами, храбрые подвиги, путешествия по пустыне на мустангах, а не спокойную езду в вагоне первого класса с плацкартой и вагон-рестораном. Для мальчишки звук выстрела из карабина в сто раз дороже паровозного гудка на станции Москва-товарная. Вот вам какое путешествие нужно описать!

«Вот осел,— подумал я, пожимая плечами.— Сам не знает, что ему надо».

— Пожалуй,— сказал я вслух,— теперь я понял, что вам нужно. Завтра вы получите рукопись.

На другой день редактор «Лягушонка» вертел в руках рукопись «Восемнадцать скальпов Голубого Опоссума», и на лице его было написано все, что угодно, кроме выражения восторга, на которое я имел право претендовать.

— Ну,— нетерпеливо сказал я.— Что вы там мнетесь? Вот вам рассказ без любви, без сюсюканья, и сухости в нем нет ни на грош.

— Совершенно верно,— сказал редактор, дернув саркастически головой.— В этом рассказе нет сухости, нет, так сказать, ни одного сухого места, потому что он с первой до последней страницы залит кровью. Послушайте-ка первые строки вашего «путешествия»:

«Группа охотников расположилась на ночлег в лесу, не подозревая, что чья-то пара глаз наблюдает за ними. Действительно, из-за деревьев вышел, крадучись, вождь Голубой Опоссум и, вынув нож, ловким ударом отрезал голову крайнему охотнику.

— Оах! — воскликнул он.— Опоссум отомщен!

И, пользуясь сном охотников, он продолжал свое дело... Голова за головой отделялась от спящих тел, и скоро груда темных круглых предметов чернела, озаренная светом костра. После того как Опоссум отрезал последнюю голову, он сел к огню и, напевая военную песенку, стал обдирать с голов скальпы. Работа спорилась».

Извольте видеть! — раздраженно сказал редактор.— «Работа спорилась». У вас это сдирание скальпов описано так, будто бы кухарка у печки чистит картофель. Кроме того, на следующих двух страницах у вас бизон выпускает рогами кишки мустанга, две англичанки сгорают в пламени подожженного индейцами дома, а потом индейцы в числе тысячи человек попадают в вырытую для них яму и, взорванные порохом, разлетаются вдребезги. Согласитесь сами — нужно же знать границы.

— Да что вам, жалко их, что ли? — усмехнулся я.— Пусть их режут друг другу головы и взрывают друг друга. На наш век хватит. А зато ребенок получает потрясающие, захватывающие его страницы.

— Милый мой! Если бы существовал специальный журнал для рабочих городской скотобойни — ваш рассказ явился бы лучшим его украшением... А ребенка после такого

рассказа придется свести в сумасшедший дом. Напишите вы лучше вот что...

Я видел, что мы оба чрезвычайно опротивели друг другу. Я считал его тупоумным человеком со свинцовой головой и мозгами, работающими только по неприсутственным дням. Он видел во мне бестолковую бездарность, сказочного дурака, который при малейшем принуждении к молитве сейчас же разбивал себе лоб. Он не понимал, что человек такого исключительного темперамента и кипучей энергии, как я, не мог остановиться на полдороге, шел вперед напролом и всякую предложенную ему задачу разрешал до конца.

Я чувствовал, что мой энергичный талант был той оглоблей, которой нельзя орудовать в тесной лавке продавца фарфора.

— Напишите-ка вы,— промямлил редактор «Лягушонка»,— лучше вот что...

— Стойте,— крикнул я, хлопнув рукой по столу.— Без советов! Попробую я написать одну вещицу на свой страх и риск. Может быть, она подойдет вам. Сдается мне, что я раскусил вас, почтеннейший.

Через час я подал ему четвертую и последнюю вещь. Называлась она:

ЛИЗОЧКИНО ГОРЕ

«Мама подарила Лизочке в день ангела рубль и сказала, что Лизочка может истратить его, как хочет.

Лизочка решила купить на эти деньги занятную книжку, чтобы в минуты отдыха своей мамы читать ей из этой книжки интересные рассказы для самообразования.

Лизочка оделась, вышла на улицу и, мечтая о книжке, которую она должна сейчас купить, весело шагала по тротуару.

— Милая барышня,— послышался сзади нее тихий голос.— Подайте, Христа ради. Я и моя дочка целый день не ели.

Лизочка обернулась, увидела бедную больную женщину и, не раздумывая больше, сунула ей в руку рубль.

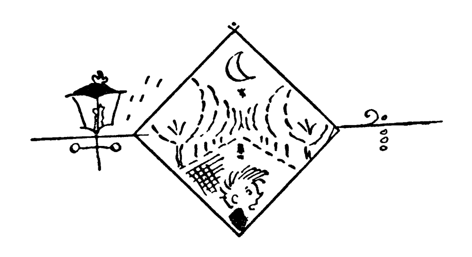
— Нате, купите себе на эти деньги горячей пищи!

И, вернувшись домой без книжки, Лизочка припала к плечу мамы и, рассказав ей о своей встрече, горько заплакала.

— Чего ты плачешь? — спросила мама удивленно.— Не оттого ли, что тебе жалко своего доброго порыва?

— Нет, мама,— отвечала благородная девочка.— Мне жалко, что я не имела трех рублей».

— Ну, вот видите,— сказал редактор «Лягушонка».— Я был уверен, что в конце концов вы и напишете то, что нам нужно!



ТИХОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО

I

Мы сидели на скамье тихого бульвара.

— Жестокость — прирожденное свойство восточных народов,— сказал я.

— Вы правы,— кивнул головой Банкин.— Взять хотя бы бывшего персидского шаха. Это был ужасный человек!

И мы оба лениво замолчали.

Банкин сорвал травинку, закусив ее зубами, поморщился (травинка, очевидно, оказалась горькой), но сейчас же лицо его засветилось тихой радостью.

— Он сейчас уже, наверно, спит! — прошептал Банкин.

— Почему вы так думаете? — удивился я.

— Конечно! Он всегда спит в это время.

Последнее время Банкин казался человеком очень странным. Я внимательно посмотрел на него и осторожно спросил:

— Откуда же вам это известно?

— Мне? Господи!

И опять мы замолчали.

— Ему, очевидно, не сладко живется...— зевая, промямлил я.

— Почему? С ним нянчатся все окружающие. Его так все любят!

— Не думаю,— возразил я.— После того, что он натворил...

Банкин неожиданно выпрямился и в паническом ужасе схватил меня за плечи:

— Натво... рил?! Владычица небесная!.. Что же он... натворил? Когда?

— Будто вы не знаете?.. Сажал, кого попало, на кол, мучил, обманывал народ...

— Кто?!!

— Да шах же, Господи!

— Какой шах?

— Бывший. Персидский. О котором мы говорили.

— Разве мы говорили о шахе?

— Нет, мы говорили о ребятишках,— иронически усмехнулся я.

— Ну конечно, о ребятишках! Я о своем Петьке и говорил.

Банкин вынул часы, и опять лицо его засияло счастьем.

— Молочко пьет,— радостно засмеялся он.— Проснулся, вероятно, и говорит: мамоцка, дай маяцка!

— Ну, это, кажется, вы хватили... Сыну-то вашему всего-навсего два месяца... Неужели он уже говорит?

Я сам был виноват, что коснулся этого предмета. Разговор о Петьке начался у нас в восемь часов и кончился в половине двенадцатого.

— Видите ли,— начал просветленный Банкин,— он, правда, буквально этого не говорит, но он кричит: мм-ма! И мы уже знаем, что это значит: дорогая мамочка, я хочу еще молочка! А вчера... Нет, вы не поверите!..

— Чему?

— Тому, что я вам расскажу. Да нет, вы не поверите...

Я дал слово, что поверю.

— Представьте себе: прихожу я... Позвольте... Когда это было? Ага! Прихожу вчера я домой, а он у Зины на руках. Услышал шум шагов и — ха-ха! — оборачивается и — ха-ха!.. ха-ха-ха!..— оборачивается и говорит: лю!

— Ну?

— Говорит: лю! Каков каналья!

— Ну?

— Ха-ха! Лю! — говорит.

— Что же это значит — лю? — спросил я, недоумевая.

— Неужели вы не поняли? Это значит: папочка, возьми меня на руки.

Я возразил:

— Мне кажется, что толкование это немного произвольно... Не значило ли лю просто: старый осел! Притворяй покрепче двери...

— Ни-ни. Он бы это сказал совсем по-другому. А вы знаете, как он пьет молоко?

Я поежился и попробовал сказать, что знаю.

Банкин обиделся:

— Откуда же вы можете знать, если вы еще не видели Петьки?

— Я, вообще, знаю, как дети пьют молоко. Это очень любопытно. Я видел это от пятидесяти до ста раз.

— Петька не так пьет молоко,— уверенно сказал Банкин.

На половине описания Петькиного способа пить молоко сторож попросил нас удалиться, так как бульвар закрывался. Желая сделать сторожу приятное, Банкин пообещал, что, когда его Петька научится ходить, он будет играть песочком только на этом бульваре.

По свойственной всем бульварным сторожам замкнутости, этот сторож не показал наружно, что он польщен, а загнал восторг внутрь и с деланным равнодушием сказал:

— Пора, пора! Нечего там.

В маленьком ресторане, куда мы зашли выпить по стакану вина, мне удалось дослушать конец Петькиного способа пить молоко. Кроме того, мне посчастливилось узнать много ценных и любопытных сторон увлекательной Петькиной жизни, вплоть до самых интимных...

Из последних я вынес странное убеждение, что Банкин был удовлетворен и чувствовал себя счастливым только тогда, когда пиджак его или брюки были окончательно испорчены легкомысленным поведением его удивительного отпрыска.

Истощившись, Банкин долго сидел, полный тихой грусти.

— За что вы меня не любите?

— Я вас не люблю? — удивленно вскинул я плечом.— С чего это вы взяли?

— Вы меня не любите...— уверенно сказал Банкин.— Вы не могли за это время собраться — зайти ко мне и взглянуть на Петьку.

— Господи помилуй! Да просто не приходилось. На днях зайду. Непременно зайду.

— Правда?! Спасибо. Я вижу, вы полюбили моего Петьку, даже не видя его. Что же вы запоете, когда увидите!

Спину мне разломило, и глаза слипались.

Я попросил счет и, зная, что с Банкиным мне по дороге, попробовал завязать разговор о самой безобидной вещи:

— Ночи теперь стали короче.

Банкин тихо засмеялся.

— Да, да! Светает в четыре часа. Просыпаюсь я вчера, смотрю — светло. А он ручонку из кровати высунул и пальцем... этак вот...

— Пойдемте! — сказал я.— А то мы не достанем извозчика.

— Успеем. У него теперь самый сладкий сон. Поверите ли вы, что если его поцеловать — он не просыпается.

— Это неслыханно,— пробормотал я.— Человек! Пальто.

II

Однажды Банкин зашел ко мне. Я познакомил его с сидевшим у меня редактором еженедельного журнала и приветливо спросил:

— Как поживаете?

— Он уже ходит,— подмигнул Банкин.— А вчера какой случай был...

— Так вы говорите, что теперь еженедельники не в фаворе у публики? — обратился я к редактору.— Скажите...

— А вы бросьте издавать еженедельник,— перебил Банкин.— Начните что-нибудь для детей. Это будет иметь успех. Да вот, я вам расскажу такой пример: есть у меня сын — Петька. Удивительно умный ребенок. И он...

— Вы, господа, поговорите здесь,— сказал я, вставая,— а мне нужно будет на часок съездить. Вы уж извините.

Дня через три я встретил Банкина возле итальянца — продавца разной дряни из кораллов и лавы.

— Это для взрослых... Понимэ! Эй, как вас... синьор! Понимаете — для взрослых. Иль грано! А мне нужно что-нибудь для мальчика... Копренэ? Анфана! Понимаете, этакий анфан террибль! Славный мальчишка... Да не брелок! На черта ему брелок, уважаемый синьор? Фу, какой вы бестолковый!

Я тихонько прошел мимо, но, возвращаясь обратно на трамвае, опять встретил Банкина. Он промелькнул мимо меня на противоположном трамвае, увидел мое лицо, и до

меня донесся его радостный, но совершенно непонятный мне крик:

— А Петь... В кашу рук...

III

Вчера вышел на улицу, и первое лицо, которое мне попалось, был Банкин.

— А я за вами.

— Что случилось?

— Пойдемте. Посмотрите теперь на моего Петьку — ахнете! Вы помните, я вам рассказал в трамвае о его — ха-ха! — поступке с кашей — ха-ха!

— Помню,— сказал я.— Очень было смешно.

— Это что! Вы посмотрите, какие штучки он теперь выделывает.

Впереди нас шла нянька с мальчиком лет трех.

— Постойте! — вскричал Банкин, хватая меня за рукав.— Постойте!!

Я посмотрел на его побледневшее лицо, дрожащие губы, слезы на глазах и — испугался.

— Что с вами?!

— Ха-ха! Такой Петька будет. Через два года. Ха-ха! Так же будет ножками: туп! туп! Постойте!

Он подошел к няньке и дал ей двугривенный. Потом расспросил: сколько мальчику лет, чей сын, что ест и не капризничает ли по ночам?

Потом присел перед мальчиком на корточки и спросил:

— Как тебя зовут?

— Ва-я.

— Ваня,— пояснила нянька.

— Ваня? Милый мальчик! Нянька... Может, он чего-нибудь хочет?

Оказалось, что Ваня «чего-нибудь хотел» только полчаса тому назад.

Это настолько успокоило Банкина, что он нашел в себе мужество расстаться с Ваней, и мы пошли дальше.

— Проклятый город,— сказал я.— Сколько пыли.

— Что?

— Город, я говорю, пыльный.

— Да, да...— рассеянно подтвердил Банкин.

И задумчиво добавил:

— Воды он боится.

— Чего же ему бояться,— возразил я.— Только бы подливали!

— Да и подливают. Если тепленькая вода — так он не кричит... и, если поливают спинку, только морщит нос и ежится.

IV

Когда мы подошли к квартире Банкина, он открыл ключом дверь, схватил меня за шиворот, втолкнул меня в переднюю и, проворно вскочив вслед за мною, захлопнул дверь.

Я упал на ступеньки лестницы. Ушиб ногу. Сел на нижней ступеньке и, потирая колено, со страхом спросил:

— Что я вам сделал дурного?

— Петька простудиться может,— объяснил Банкин.— Дует.

Я встал, и мы вошли в первую комнату — столовую.

— Вот здесь, на этом месте,— указал Банкин,— Петьке нянька дает молочко. Вот видите — стул.

Я осмотрел стул. Венский.

— Приготовьтесь,— хохоча счастливым, лучезарным смехом, воскликнул Банкин.— Сейчас увидите его.

Я пригладил волосы, одернул сюртук, и мы, на цыпочках, вошли в детскую.

— Вот он,— шепотом сказал Банкин, указывая на кроватку.

— Какой хорошенький.

— Да это не то. Этот угол подушки! А вон он лежит за подушкой.

— Прелестный ребенок.

— Правда? Я знал, что вы сейчас же влюбитесь в него... Помните, я вам рассказывал, что если я его целую во время сна — он никогда не просыпается... Вот вы увидите.

Банкин подошел к кроватке, нагнулся и — вслед за этим раздался бешеный рев ребенка.

Вбежала госпожа Банкина.

— Опять ты его разбудил?! Вечно лезет с поцелуями! Молчи, молчи, мое сокровище... Здравствуйте! Как поживаете?

— Благодарю вас. Я совершен...

— Вы его хорошо рассмотрели? Не правда ли, очаровательный ребенок? Садитесь. Ну, как вы поживаете?

— Очень вам благодарен. Живу ниче...

— Видели ли вы когда-нибудь такого большого мальчишку?

За мою бурную, богатую приключениями жизнь я

видел десятки ребят гораздо больше Банкиного ребенка, но мне неловко было заявить об этом.

— Нет! В жизни своей я не видел такого колоссального ребенка!

— Правда? Ну, как вы поживаете?

— Я сов...

— Не плачь, милый мальчик! Вот дядя... Он тебя возьмет блям-блям. Правда, Аркадий Тимофеевич? Вы его возьмете блям-блям?

— Без сомнения,— робко подтвердил я.— Если вы будете добры посвятить меня в цель и значение этого... этой забавы, то я с удовольствием...

— Блям-блям? Неужели вы не знаете? Это значит: покачать его в колясочке.

V

Петька захныкал и, вытянувшись на руках няньки, капризно поднял ручонки кверху.

— Смотри, смотри! — воскликнул пораженный и умиленный Банкин.— На потолок показывает!!!

Госпожа Банкина наклонилась к Петьке и спросила:

— Ну что, Петенька... Спросите его, Аркадий Тимофеевич: что он хочет на потолочке?

Я несмело приблизился к Петьке и, дернув его за ногу, спросил:

— Чего тебе там надо на потолке?

Ребенок залился закатистым плачем.

— Он боится вас,— объяснил Банкин.— Еще не привык. Петенька!.. Ну, покажи дяде, как птички летают?! Ну, покажи! Представьте, он ручонками так делает... Ну, покажи же, Петенька, покажи!

Петьку окружили: мать, отец, нянька, кухарка, пришедшая из кухни, и сзади всех — я.

Они дергали его, поднимали ему руки, хлопали ладонями, подмигивали и настойчиво повторяли:

— Ну, покажи же, Петенька... Дядя хочет посмотреть, как птички летают!

Полет птиц, и даже в гораздо лучшем исполнении, был мне известен и раньше, но я считал долгом тоже монотонно тянуть вслед за кухаркой:

— Покажи, Петенька!.. Покажи...

Наконец, ребенку так надоели, что он поднял ручонки и оттолкнул от себя голову няньки.

Снисходительные родители признали этот жест за весь-

ма удачную имитацию птичьего полета, и так как я не оспаривал их мнения, то мы приступили к новым экспериментам над задерганным горемычным Банкиным отпрыском.

— Хотите,— спросил Банкин,— он скажет вам по-немецки?

— Я по-немецки плохо понимаю,— попробовал сказать я, но госпожа Банкина возразила:

— Это ничего. Он все-таки скажет. Дайте только в руки ему какую-нибудь вещь... Ну, пенсне, что ли. Он вас поблагодарит по-немецки.

Со вздохом я вручил Петьке свое пенсне, а он сейчас же засунул его в рот и стал сосать, словно надеясь высосать тот ответ, который от него требовали...

— Ну, Петенька... Ну, что нужно дяде по-немецки сказать?

— Ну, Петенька...— сказал Банкин.

— Что нужно...— продолжала нянька.

— По-немецки сказать? — подхватила кухарка.

— Ну же, Петенька,— поощрил его Банкин, дергая изо рта пенсне.

— Ззз...— капризно пропищал Петька.

— Видите? Видите? Данке! Он вам сказал: данке! А как нужно головкой сделать?

Так как госпожа Банкина (о, материнское сердце!), зайдя сзади, потихоньку ткнула в Петькин затылок, вследствие чего его голова беспомощно мотнулась,— то все признали, что Петька этим странным способом удовлетворительно поблагодарил меня за пенсне.

— Вежливый будет, каналья,— одобрительно сказал Банкин.

— Кррра...— сказал Петька, поднимая левую руку под углом сорока пяти градусов.

Все всколыхнулись.

— Что это он? Что ты, Петенька?

Проследили по направлению его руки и увидели, что эта воображаемая линия проходила через три предмета: спинку кресла, фарфоровую вазочку на этажерке и лампу.

— Лампу,— засуетился Банкин.— Дать ему лампу!

— Нет, он хочет вазочку,— возразила кухарка.

— Зу-зу-у...— пропищал Петька.

— Вазочка,— безапелляционно сказала нянька.— Зузу — значит вазочка.

Петьке дали вазочку. Он засунул в нее пальцы и, скосив на меня глаза, бросил вазочку на пол.

— На вас смотрит! — восторженно взвизгнул Банкин.— Начинает к вам привыкать...

Перед обедом Банкин приказал вынести Петьку в столовую и, посадив к себе на колени, дал ему играть с рюмками.

Водку мы пили из стаканов, а когда Петьку заинтересовали стаканы — вино пришлось пить чуть ли не из молочников и сахарницы.

Подметая осколки, нянька просила Петьку:

— Ну, скажи лю! Скажи дяде — лю!

— Как вы думаете... На кого он похож? — неожиданно спросил Банкин.

Нос и губы Петьки напоминали таковые же принадлежности лица у кухарки, а волосы и форма головы смахивали на нянькины.

Но сообщить об этом Банкину я не находил в себе мужества.

— Глаза — ваши,— уверенно сказал я,— а губы — мамины.

— Что вы, голубчик! — всплеснул руками Банкин.— Губы мои!

— Совершенно верно. Верхняя ваша, а нижняя — матери.

— А лобик?

— Лобик? Ваш!

— Ну, что вы! Всмотритесь!

Чтобы сделать Банкину удовольствие, я долго и пристально всматривался.

— Вижу! Лобик — мамин!

— Что вы, дорогой! Лобик дедушки Павла Егорыча.

— Совершенно верно. Теменная часть — дедушкина, надбровные дуги — ваши, а височные кости — мамины.

После этой френологической беседы Петьку трижды заставляли говорить: данке.

Я чувствовал себя плохо, но утешал себя тем, что и Петьке не сладко.

VI

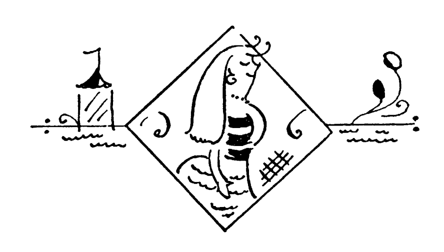
Сейчас Банкин, радостный, сияющий изнутри и снаружи, сидит против меня.

— Знаете... Петька-то!.. Ха-ха!

— Что такое?

— Я отнимаю сегодня у него свои золотые часы, а он вдруг — ха-ха — говорит: «Папа дурак»!!.

— Вы знаете, что это значит? — серьезно спросил я.
— Нет. А что?
— Это значит, что в ребенке начинает просыпаться сознательное отношение к окружающему.
Он схватил мою руку.
— Правда? Спасибо. Вы меня очень обрадовали.



КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА

Гуляя по лесу, чиновник Плюмажев вышел к берегу реки и, остановившись, стал бесцельно водить глазами по тихой зеркальной поверхности воды.

Близорукий взгляд чиновника Плюмажева скользнул по другому берегу, перешел на маленькую желтую купальню и остановился на какой-то фигуре, стоящей по колена в воде и обливавшей горстями рук голову в зеленом чепчике.

«Женщина! — подумал Плюмажев и прищурил глаза так, что они стали похожи на два тоненьких тире.— Ей-Богу, женщина! И молоденькая, кажется!»

Его худые, старческие колени задрожали, и по спине тонкой струйкой пробежал холодок.

— Эх! — простонал Плюмажев.— Анафемская близорукость... Что за глупая привычка — не брать с собой бинокля.

Он протер глаза и вздохнул:

— Вижу что-то белое, что-то полосатое, а что — хоть убей, не разберу. Ага! Вон там какой-то мысок выдвинулся в воду. Сяду-ка я под кустик да подожду, может, подплывет ближе. Эх-хе!

Спотыкаясь, он взобрался на замеченную им возвышенность и только что развел дрожащими руками густую заросль кустов, как взгляд его упал на неподвижно

застрявшую между зеленью веток гимназическую фуражку, продолжением которой служила блуза хаки и серые брюки.

— Ишь, шельма... Пристроился! — завистливо вздохнул Плюмажев и тут только заметил, что лежащий гимназист держал цепкой рукой черный бинокль, направленный на противоположный берег.

Гимназист обернулся, дружески подмигнул Плюмажеву и, улыбнувшись, сказал:

— А, и вы тоже!

«Подлец! Еще фамильярничает»,— подумал Плюмажев и хотел оборвать гимназиста, но, вспомнив о бинокле, опустился рядом на траву и заискивающе хихикнул:

— Хе-хе! Любопытно?

— Хорошенькая! — сказал гимназист.— Одни бедра чего стоят. Колени тоже: стройные, белые! Честное слово.

— А грудь... А грудь? — дрожащими губами, шепотом осведомился Плюмажев.

— Прелестная грудь! Немного велика, но видно — очень упруга!

— Упруга?

Плюмажев провел кончиком языка по сухим губам и нетерпеливо произнес:

— Не могли бы вы... одолжить на минутку... бинокль!

Гимназист замотал головой:

— Э, нет, дяденька! Этот номер не пройдет! Надо было свой брать.

Плюмажев протянул дрожащую руку.

— Дайте! На минутку.

— Ни-ни! Даром, что ли, я его у тетки из комода утащил! Небось если бы у вас был бинокль, вы бы мне своего не дали!

— Да дайте!

— Не мешайте! Ого-го.

Гимназист поднялся вперед и так придавил к глазам бинокль, что черепу его стала угрожать немалая опасность.

— Ого-го-го! Спиной повернулась... Что за спина! Я, однако, не думал, что у нее такой красивый затылок...

Лежа рядом, Плюмажев с деланным равнодушием отвернулся, но губы его тряслись от негодования и обиды.

— В сущности,— начал он срывающимся, пересохшим голосом,— если на то пошло — вы не имеете права подглядывать за купальщицами. Это безнравственно.

— А вы у меня просили бинокль! Тоже!.. Самому можно, а мне нельзя.

Плюмажев молчал.

— Захочу вот — и отниму бинокль. Да еще приколочу. Я ведь сильнее...

— Ого! Попробуйте отнять... Я такой крик подниму, что все дачники сбегутся. Мне-то ничего, я мальчик — ну, выдерут, в крайнем случае, за уши, а вот вам позор будет на все лето. Человек вы солидный, старый, а скажут, такими глупостями занимается... Теперь она опять грудью повернулась. Живот у нее... Хотите, я вам буду рассказывать все, что видно?

— Убирайся к черту!

— Сам поди туда! — хладнокровно возразил гимназист.

— Грубиян...

— От такого слышу.

Плюмажев заскрежетал зубами и решил — наградивши мальчишку подзатыльником — сейчас же уйти домой, но вместо этого проглотил слюну и обратился к гимназисту деланно-ласковым тоном:

— Зубастый вы паренек... Вот что, дорогой мой, ежели не хотите одолжить на минутку, то... продайте!

— Да... продайте... А тетка мне потом покажет, как чужие бинокли продавать!

— Я уверен, молодой человек,— заискивающе сказал Плюмажев,— что тетка ваша и не подумает на вас! Теперь прислуга такая воровка пошла... Я бы вам полную стоимость сейчас же... А?

Лицо гимназиста стало ареной двух противоположных чувств, он задумался.

— Гм... А сколько вы мне дадите?

— Три рубля.

— Три рубля? Вы бы еще полтинник предложили. Он в магазине восемь стоит.

Гимназист с презрением повел плечом и опять обратился к противоположному берегу.

— Ну, вот что — пять рублей хотите?

— Давайте десять!

— Ну, это уж свинство. Сам говорит, что новый восемь стоит, а сам десять дерет. Жильник.

— Мало ли что! Иногда и двадцать отдашь... Вот... теперь она наклонилась грудью! Замечательно у нее сзади получается... Перешла на мелкое место, и видны ноги. Икры, щиколотки, доложу вам, замечательные!

Раньше гимназист восхищался бесцельно. Но теперь он

делал это с коммерческой целью, и восторги его удвоились.

— Эге! Что это у нее? Ямочки на плечах... Действительно! А руки белые-белые... Локти красивые!! И на сгибах ямочки...

— Молодой человек,— хрипло перебил его Плюмажев,— хотите... я вам дам восемь рублей...

— Десять!

— У меня... нет больше... Вот кошелек... восемь рублей с гривенником. Берите... с кошельком даже! Кошелек новый, три рубля стоил.

— Так то новый! А старый — какая ему цена — полтинник!

Плюмажев хотел возразить, что сам гимназист, однако же, ломит за старый бинокль вдвое, но втайне побоялся: как бы мальчишка не обиделся.

— Ого! Стала спиной и нагнулась! Что это! Ну, конечно! Купальный костюм расстегнут и...

— Слушайте! — перехватывающимся от волнения голосом воскликнул Плюмажев.— Я вам дам, кроме восьми рублей с кошельком, еще перочинный ножичек и неприличную открытку!

— Острый?

— Острый, острый! Только вчера купил!

— А папиросы у вас есть?

— Есть, есть. Позволите предложить?

— Нет, вы мне все отдайте. А! Кожаный портсигар... Вот если папиросы с портсигаром, ножичек, открытку и деньги — тогда отдам бинокль!

Плюмажев хотел выругать корыстолюбивого мальчишку, но вместо этого сказал:

— Ну, ладно... Только вы мне пару папирос оставьте... на дорогу...

— Ну, вот новости! Их всего шесть штук. Не хотите меняться — не надо.

— Ну, ну... берите, берите... Вот вам, можете посчитать: восемь рублей десять копеек! Вот ножичек. Слушайте... А она не ушла?

— Стоит в полной красе. Теперь боком. Нате смотрите.

Гимназист забрал все свои сокровища, радостно засвистал и, игриво ущипнув Плюмажева за ногу, скрылся в лесной чаще.

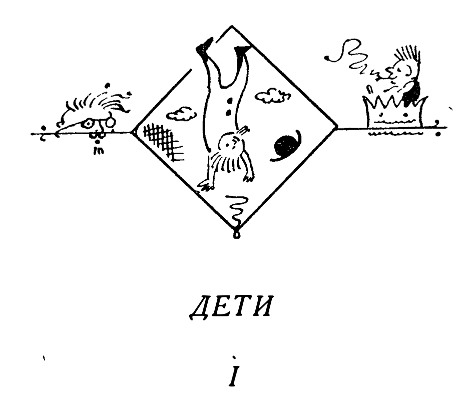
Плюмажев плотоядно улыбнулся, приладил бинокль к глазам и всмотрелся: на песчанной отмели перед купаль-

ней в полосатом купальном костюме стояла жена Плюмажева Марья Павловна и, закинув руки за голову, поправляла чепчик.

У Плюмажева в глазах пошли красные круги... Он что-то пробормотал, в бешенстве размахнулся и швырнул ненужный бинокль прямо в воду.

До моста, по которому можно было перейти на тот берег, где стояла его дача, предстояло идти версты три...

Ноги ныли и подгибались, смертельно хотелось курить, но папирос не было...



ДЕТИ

I

Я очень люблю детишек и без ложной скромности могу сказать, что и они любят меня.

Найти настоящий путь к детскому сердцу — очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бонн, гувернанток и нянек.

Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да так основательно, что потом и сам был не рад...

*
* *
*

Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, свояченицы и троих детей, трех благонравных мальчиков от 8 до 11 лет.

В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем:

— Миленький! Сегодня я с женой и свояченицей уеду дня на три. Ничего, если мы оставим тебя одного?

Я добродушно ответил:

— Если ты опасаешься, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый заревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепелище, то опасения твои преувеличены более чем наполовину.

— Дело не в том... А у меня есть еще одна просьба: присмотри за детишками! Мы, видишь ли, забираем с собой и немку.

— Что ты! Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия: как это так за ними присматривают?

— Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя, чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно... Ты такой милый!..

— Милый-то я милый... А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство?

— Я скажу им... О, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты такой общительный.

Были призваны дети. Три благонравных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо.

— Вот, дети,— сказал отец,— с вами остается дядя Миша! Михаил Петрович. Слушайтесь его, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята хорошие, и, я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и три дня — не год же, черт возьми!

Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали.

II

Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная, угрюмо пыхтящая троица опустила головы и покорно последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения.

До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямоту и дружескую откровенность. Поэтому я решил действовать начистоту.

— Эй, вы! Маленькие чертенята! Сейчас вы в моей власти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудит-

ся. Могу хорошенько отколотить вас, поразбивать вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью далеко и в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове?

Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение.

— Мы... не умеем... стоять... на головах.

— Напрасно. Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются о том с похвалой. Вот так, смотрите!

Я сбросил пиджак, разбежался и стал на голову.

Дети сделали движение, полное удовольствия и одобрения, но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром.

Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях.

Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное.

— Дети! — сказал я внушительно.— Я вам запрещаю — слышите ли, категорически и без отнекиваний запрещаю вам в эти три дня учить уроки!

Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех грудей. О! Я хорошо знал привязчивое детское сердце. В глазах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности ко мне, и они придвинулись ближе.

Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением...

За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я ни проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной не по росту книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от чего другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя сказать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова: «Папа, мама», и то при очень сильном нажатии груди. Это да

еще уменье в лежачем положении закрывать глаза составляло всю ее ценность, обозначенную тут же, в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди: «7 руб. 50 коп.»

Повторяю — это была единственная встреченная мною прилежная девочка, да и то это свойство было навязано ей прихотью торговца игрушками.

Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены порученным мне мальчуганам. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается: ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке!

III

— Будем жить в свое удовольствие,— предложил я детям.— Что вы любите больше всего?

— Курить! — сказал Ваня.

— Купаться вечером в речке! — сказал Гришка.

— Стрелять из ружья! — сказал Леля.

— Почему же вы, отвратительные дьяволята,— фамильярно спросил я,— любите все это?

— Потому что нам запрещают,— ответил Ваня, вынимая из кармана папироску.— Хотите курить?

— Сколько тебе лет?

— Десять.

— А где ты взял папиросы?

— Утащил у папы.

— Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно, тем более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную дрянь. Ну да если ты уже утащил — будем курить их. А выйдут — я угощу вас своими.

Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я рассказал несколько не лишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров.

Поговорили о домовых, живших на конюшне.

Потом беседа прекратилась. Молчали...

— Скажи ему! — шепнул толстый, ленивый Лелька подвижному, порывистому Гришке.— Скажи ты ему!..

— Пусть лучше Ваня скажет,— шепнул так, чтобы я не слышал, Гришка.— Ванька, скажи ему.

— Стыдно,— прошептал Ваня.

Речь, очевидно, шла обо мне.

— О чем вы, детки, хотите мне сказать? — осведомился я.

— Об вашей любовнице,— хриплым от папиросы голосом отвечал Гришка.— Об тете Лизе.

— Что вы врете, скверные мальчишки? — смутился я.— Какая она моя любовница?

— А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду.

Меня разобрал смех.

— Да как же вы это видели?

— А мы с Лелькой лежали под диваном. Долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел. Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали: «Милая! Ведь я не с дурными намерениями!» А тетка головой крутит, говорит: «Ах, ах!..»

— Дура! — сказал, усмехаясь, маленький Лелька.

Мы помолчали.

— Что же вы хотели мне сказать о ней?

— Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастным человеком будете.

— А чем же она плохая? — спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы.

— Как вам сказать... Слякоть она!

— Не женитесь! — предостерег Гришка.

— Почему же, молодые друзья?

— Она мышей боится.

— Только всего?

— А мало? — пожал плечами маленький Лелька.— Визжит, как сумасшедшая. А я крысу за хвост могу держать!

— Вчера мы поймали двух крыс. Убили,— улыбнулся Гришка.

Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к «глупой тетке», и ловко перевел разговор на разбойников.

О разбойниках все толковали со знанием дела, большой симпатией и сочувствием к этим отверженным людям.

Удивились моему терпению и выдержке: такой я уже большой, а еще не разбойник.

— Есть хочу,— сказал неожиданно Лелька.

— Что вы, братцы, хотите: наловить сейчас рыбы и сварить на берегу реки уху с картофелем или идти в дом и есть кухаркин обед?

Милые дети отвечали согласным хором:

— Ухи.

— А картофель как достать: попросить на кухне или украсть на огороде?

— На огороде. Украсть.

— Почему же украсть лучше, чем попросить?

— Веселее,— сказал Гришка.— Мы и соль у кухарки украдем. И перец! И котелок!!

Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром.

IV

Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка. Ваня ощипывал стащенного им в сарае петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром.

Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением.

Лелька держал меня за руку и безмолвно, полным обожания вглядом глядел мне в лицо.

Неожиданно Ванька расхохотался.

— Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они сказали?

— Хи-хи! — запищал голый Гришка.— Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда.

— А все Михаил Петрович,— сказал Лелька, почтительно целуя мою руку.

— Мы вас не выдадим!

— Можно называть вас Мишей? — спросил Гришка, окуная палец в котелок с ухой.— Ой, горячо!..

— Называйте. Бес с вами. Хорошо вам со мной?

— Превосхитительно!

Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дому Ванькой.

— Давайте ночевать тут,— предложил кто-то.

— Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро,— возразил я.

— Ни черта! Мы костер будем поддерживать. Дежурить будем.

— Не простудимся?

— Нет,— оживился Ванька.— Накажи меня Бог, не простудимся!!!

— Ванька! — предостерег Лелька.— Божишься? А что немка говорила?

— Божиться и клясться нехорошо,— сказал я.— В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы... Например: «Клянусь своей бородой!», «Тысяча громов...», «Проклятие неба!»

— Тысяча небов! — проревел Гришка.— Пойдем собирать сухие ветки для костра.

Пошли все. Даже неповоротливый Лелька, державшийся за мою ногу и громко сопевший.

Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил, тем более что скоро пригрело солнце, защебетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий.

V

Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подобие...

Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно — с прямой целью отвертеться от утомительного снимания и надевания штанов при купании.

Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом воздухе огрубели, тем более что все это время они упражнялись лишь в кратких, выразительных фразах:

— Проклятье неба! Какой это мошенник утащил мою папиросу?.. Что за дьявольщина! Мое ружье опять дало осечку. Дай-ка, Миша, спичечки!

К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство: что скажут родители по возвращении?

Дети успокаивали меня, как могли:

— Ну, поколотят вас, эка важность! Ведь не убьют же!

— Тысяча громов! — хвастливо кричал Ванька.— А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдет!

— Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошматят Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество.

— Ничего, Миша! — успокаивал меня Лелька, хлопая по плечу.— Зато хорошо пожили!

Вечером приехали из города родители, немка и та

самая «глупая тетка», на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей.

Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб.

Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал:

— Милый мой! Уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу... Вот, смотри! Дети! Кого вы любите больше: отца с матерью или меня?

— Тебя! — хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами.

— Пошли вы бы со мной на грабеж, на кражу, на лишения, холод и голод?

— Пойдем,— сказали все трое, а Лелька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас, немедленно пуститься в предложенные мной авантюры.

— Было ли вам эти три дня весело?

— Ого!!

Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопченными порохом и дымом костра.

Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лельке, сонно хлопавшему глазенками:

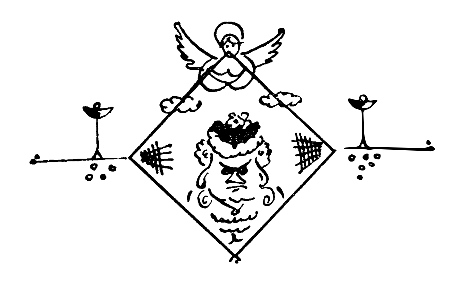
— Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?

— Да! — сказал бесстрашный Лелька. вздыхая.— Клянусь своей бородой! Пошел бы.

Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды.

Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом:

— Хохочет... Тоже! Будто ей под юбку мышь подбросили! Дура.



ДВУЛИЧНЫЙ МАЛЬЧИК

I

Авторы уголовных романов и их читатели не поняли бы странной двойственной натуры мальчишки Алешки — натуры, которая в свое время привела меня в восхищение и возмутила меня.

Авторы уголовных романов и их читатели прославились своей прямолинейностью, которая обязывала их не заниматься смешанными типами. Злодеи должны быть злодеями, добрые — добрыми, а если капелька качеств первых попадала на вторых или наоборот — все кушанье считалось испорченным... Злодей — должен быть злодеем, без всяких уверток и ухищрений... Он мог раскаяться, но только в самом конце, и то при условии, что, в сущности, он и раньше был симпатичным человеком. Добрый тоже мог стать в конце романа злым, бессердечным, но тоже при условии, что автор опрокинет на него целую гору несчастий, людской несправедливости и тягчайших разочарований, которые озлобят его. Ни в одном из таких романов я не встречал жизненного простого типа, который сегодня поколотил жену, а завтра подаст гривенник нищему, утром прилежно возится у станка, штампуя фальшивые деньги, а вечером вступится за избиваемого еврея.

Человек — более сложный механизм, чем, например, испанский кинжал, вся жизнь которого сводится только к двум чередующимся поступкам: он или режет кому-нибудь горло, или не режет.

Попадись автору уголовных романов Алешка — он повертел, повертел бы его, понюхал, лизнул бы языком и равнодушно отбросил бы прочь.

— Черт знает, что такое!.. Ни рыба ни мясо.

В жизни не так много типов, чтобы ими разбрасываться...

Я подбираю брошенного разборчивым романистом Алешку и присваиваю его себе.

Об Алешке я сначала думал, как о прекрасном, тихом, благонравном мальчике, который воды не замутит. В этом убеждали меня все его домашние поступки, все комнатное поведение, за которым я мог следить, не сходя с места.

Мы жили в самых маленьких, самых дешевых и самых скверных меблированных комнатах. Я — в одной комнате, Алешка с безногой матерью — в другой.

Тонкая перегородка разделяла нас.

Я так часто слышал мягкий, кроткий Алешкин голос:

— Мама! Хочешь, еще чаю налью? Отрезать еще кусочек колбасы?

— Спасибо, милый.

— Книжку тебе еще почитать?

— Не надо. Я устала...

— Опять ноги болят? — слышался тревожный голос доброго малютки.— Господи! Вот несчастье, так несчастье!..

— Ну ничего. Лишь бы ты, крошка, был здоров.

— Ну-с,— важно говорил Алешка,— в таком случае, ты спи, а я напишу еще кое-какие письма.

Было ему около десяти лет.

Однажды я встретился с ним в коридоре.

— Тебя Алешкой зовут? — спросил я, вежливо, ради первого знакомства, дергая его за ухо.

— Алешкой. А что?

— Да ничего. Ну, здравствуй. У тебя мать больная?

— Да, брат, мать больная. С ногами у нее неладно. Не работают.

— Плохо ваше дело, Алешка. А деньги есть?

— В сущности,— сказал он, морща лоб,— денег нет. Тем и живем, что я заработаю.

— А чем ты зарабатываешь?

Посмотрев на меня снизу вверх (я был в три раза выше его), он с любопытством спросил:

— Тебе там наверху не страшно?

— Нет. А что?

— Голова не кружится?

Я засмеялся.

— Нет, брат. Все благополучно.

— Ну, и слава Богу! До свиданья-с.

Он подпрыгнул, ударил себя пятками по спине и убежал в комнату матери.

Эти нелепые замашки в таком благонравном мальчике удивили меня. С матерью он был совсем другим. Я понял, что хитрый мальчишка надевает личину в том или другом случае, и решил при первой возможности разоблачить его.

Но он был дьявольски хитер. Я несколько раз ловил его в коридоре, подслушивал его разговоры с матерью — все было напрасно. При встречах со мной он был юмористически нахален, подмигивал мне, хохотал, а сидя с матерью, трогательно ухаживал за ней, читал ей книги и в конце вечера неизменно говорил, с видом заправского молодого человека:

— Ну-с, а мне нужно написать кое-какие письма.

Я приставал к нему несколько раз с расспросами:

— Что это за письма?

Он был непроницаем.

Однажды я решился на жестокость.

— Не хочешь говорить мне,— равнодушно процедил я,— и не надо. Я и сам знаю, кому эти письма...

— Ну? Кому? — тревожно спросил он.

— Разным благодетелям. Ты каждый день с этими письмами пропадаешь на несколько часов... Наверное, таскаешься по благотворителям и клянчишь.

— Дурак ты,— сказал он угрюмо.— Если бы я просил милостыни, то и у тебя просил бы. А я заикнулся тебе хоть раз? Нет.

И добавил с напыщенно-гордым видом:

— Не беспокойся, брат... Я не позволю себе просить милостыни... Не таковский!

Должен признаться: я был крайне заинтересован таинственным Алешкой. Сказывались мои двадцать два года и 24 часа свободного времени в сутки.

Я решил выследить Алешку.

II

Был теплый летний полдень.

Из-за перегородки слышался монотонный голос Алешки, читавшего матери «Анну Каренину». Через некоторое время он прервал чтение и заботливо спросил:

— Устала?

— Немного.

— Ну, отдохни. А я пойду. Если захочется без меня кушать, смотри сюда: вот ветчина, холодные котле-

ты, молоко. Захочется читать — вот книга. Ну, прощай.

В последовательном порядке послышались звуки: поцелуя, хлопнувшей двери и Алешкиных шагов в коридоре.

Я схватил шляпу и тихонько последовал за Алешкой.

Через двадцать минут мы оба очутились в Летнем саду, наполненном в это время дня дряхлыми старичками, нянькам с детьми и целой тучей девиц с вечными книжками в руках.

Алешка стал непринужденно прохаживаться по аллеям, бросая в то же время косые проницательные взгляды на сидевших с книжками девиц и дам и делая при этом такой вид, будто бы весь мир создан был для наслаждений и удовольствий.

Неожиданно он приостановился.

На скамейке, полускрытой зеленым кустом, сидела сухая девица и, опустив книгу на колени, мечтательно глядела в небо. Думы ее, вероятно, витали далеко, отрешившись от всего земного, рассеянный взгляд видел в пространстве е г о, прекрасного чудесного героя недочитанной книги, обаятельного, гордого красавца, а неспокойное сердце девичье крепко и больно колотилось в своей неприглядной, по наружному виду, клетке.

Алешка тихо приблизился к мечтательнице, стащил с головы фуражку и почтительно сообщил:

— А вам, барышня, письмецо есть...

— От кого? — вздрогнула девица и обернула к Алешке свое, ставшее сразу пунцовым лицо.

— От «него»,— прошептал Алешка, щуря глаза, с самым загадочным видом.

— А... кто... он?..— еще тише, чем Алешка, прошелестела девица.

— Не велено сказывать. Ах! — вскрикнул он неожиданно (будто прорвался) с самым простодушным глуповатым восторгом.— Если бы его видели; такой умница, такой красавец — прямо удивительно!

Девица дрожащими руками взяла письмо... на лице ее было написано истерическое любопытство. Грудь тяжело вздымалась, а маленькие бесцветные глаза сияли, как алмазы...

— Спасибо, мальчик. Ступай... Впрочем, постой. Вот тебе!

Девица порылась в ридикюле, вынула две серебряных монеты и сунула их в руки доброму вестнику.

Добрый вестник осыпал ее благодарностями, отсалютовал фуражкой и сейчас же деликатно исчез, не желая присутствовать при такой интимности, как чтение чужого письма.

Сидя на противоположной скамье, я внимательно следил за девицей. Бледная, как смерть, она лихорадочно разорвала конверт, вынула из него какую-то хитроумно сложенную бумажку, развернула ее, впилась в нее глазами и сейчас же с легким криком уронила ее на пол... Бесцветные глаза девицы метали молнии, но она быстро спохватилась, напустила на себя равнодушный вид, поднялась, забрала свою книгу, сумочку и быстро-быстро стала удаляться.

Когда она скрылась с глаз, я вскочил, поднял брошенное письмо от «него» и прочел в этом таинственном письме только одно слово:

— Дура!

Второе лицо Алешки было разгадано.

III

Алешка выходил из сада, распространив все свои письма и легкомысленно позвякивая серебром в растопыренном кармане.

У входа я поймал его, крепко схватил за руку и прошипел:

— Ну-с, Алешенька... Теперь мы знаем ваши штуки!..

— Знаешь? — сказал он цинично, нисколько не испугавшись.— Ну, и на здоровье.

— Кто это тебя научил? — суровым тоном спросил я, еле удерживаясь от смеха.

— Сам,— улыбнулся он с очаровательной скромностью.— Надо же чем-нибудь семье помогать.

— Но ведь если ты когда-нибудь попадешься — знаешь, что с тобой сделают? Изрядно поколотят!

Он развел руками, будто соглашаясь с тем, что всякая профессия имеет шипы.

— До сих пор не колотили,— признался он.— Да вы не смотрите, что я маленький. О-о... Я хитрый, как лисица... Вижу: где, как и что.

— Все-таки,— решительно заявил я,— твоя профессия не совсем честная...

— Ну да! Толкуйте.

— Да, конечно. Ведь ты же обманываешь девиц, сообщая им, что письмо — от красивого, умного молодого человека, в то время, как оно написано тобой.

Мальчишка прищурился. Мальчишка этот был скользок, как угорь.

— А почему, скажите пожалуйста, я не могу быть умным молодым человеком? А?

— Да уж ты умный,— согласился я.— Уж такой умный, что беда. Только почему ты, умный молодой человек, пишешь такие резкие письма. Почему «дура», а не что-нибудь другое?

И он ответил мне тоном такого превосходства, что я сразу почувствовал к нему невольное уважение.

— А разве же они — не дуры?

Вечером я лежал на диване и слушал тоненький, нежный голосок:

— Мамочка, дать еще цыпленка?

— Спасибо, милый, я сыта.

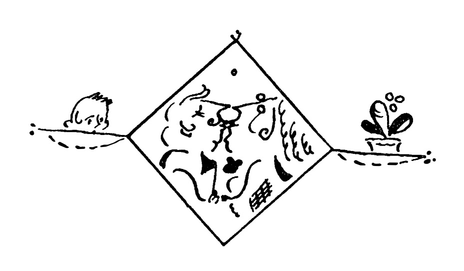
— Так я тебе почитаю.

— Не надо. Ты, вероятно, устал, продавая эти противные газеты. Отдохни лучше.

— Спасибо, мамочка. Мне еще надо написать кое-какие письма!.. Охо-хо.

С тех пор прошло несколько лет... И до настоящего дня этот проклятый двуличный мальчишка не выходил у меня из головы.

Теперь он вышел.



ЧЕЛОВЕК ЗА ШИРМОЙ

I

— Небось теперь-то на меня никто не обращает внимания, а когда я к вечеру буду мертвым — тогда небось заплачут. Может быть, если бы они знали, что я задумал,

так задержали бы меня, извинились... Но лучше нет! Пусть смерть... Надоели эти вечные попреки, притеснения из-за какого-нибудь лишнего яблока или из-за разбитой чашки. Прощайте! Вспомните когда-нибудь раба божьего Михаила. Недолго я и прожил на белом свете — всего восемь годочков!

План у Мишки был такой: залезть за ширмы около печки в комнате тети Аси и там умереть. Это решение твердо созрело в голове Мишки.

Жизнь его была не красна. Вчера его оставили без желе за разбитую чашку, а сегодня мать так толкнула его за разлитые духи в золотом флаконе, что он отлетел шагов на пять. Правда, мать толкнула его еле-еле, но так приятно страдать: он уже нарочно, движимый не внешней силой, а внутренними побуждениями, сам по себе полетел к шкафу, упал на спину и, полежав немного, стукнулся головой о низ шкафа.

Подумал:

«Пусть убивают!»

Эта мысль вызвала жалость к самому себе, жалость вызвала судорогу в горле, а судорога вылилась в резкий хриплый плач, полный предсмертной тоски и страдания.

— Пожалуйста, не притворяйся,— сердито сказала мать.— Убирайся отсюда!

Она схватила его за руку и, несмотря на то, что он в последней конвульсивной борьбе цеплялся руками и ногами за кресло, стол и дверной косяк, вынесла его в другую комнату.

Униженный и оскорбленный, он долго лежал на диване, придумывая самые страшные кары своим суровым родителям...

Вот горит их дом. Мать мечется по улице, размахивая руками, и кричит: «Духи, духи! Спасите мои заграничные духи в золотом флаконе». Мишка знает, как спасти эту драгоценность, но он не делает этого. Наоборот, скрещивает руки и, не двигаясь с места, разражается грубым, оскорбительным смехом: «Духи тебе? А когда я нечаянно разлил полфлакона, ты сейчас же толкаться?..» Или может быть так, что он находит на улице деньги... сто рублей. Все начинают льстить, подмазываться к нему, выпрашивать деньги, а он только скрещивает руки и разражается изредка оскорбительным смехом... Хорошо, если бы у него был какой-нибудь ручной зверь — леопард или пантера... Когда кто-нибудь ударит или толкнет Мишку, пантера бросается на обидчика и терзает его. А Мишка будет смотреть на

это, скрестив руки, холодный, как скала... А что, если бы на нем ночью выросли какие-нибудь такие иголки, как у ежа?.. Когда его не трогают, чтоб они были незаметны, а как только кто-нибудь замахнется, иголки приподымаются и — трах! Обидчик так и напорется на них. Узнала бы нынче маменька, как драться. И за что? За что? Он всегда был хорошим сыном: остерегался бегать по детской в одном башмаке, потому что этот поступок по поверью, распространенному в детской, грозил смертью матери... Никогда не смотрел на лежащую маленькую сестренку со стороны изголовья — чтобы она не была косая... Мало ли что он делал для поддержания благополучия в их доме. И вот теперь...

Интересно, что скажут все, когда найдут в тетиной комнате за ширмой маленький труп... Подымется визг, оханье и плач. Прибежит мать: «Пустите меня к нему! Это я виновата!» — «Да уж поздно!» — подумает его труп и совсем, навсегда умрет...

Мишка встал и пошел в темную комнату тети, придерживая рукой сердце, готовое разорваться от тоски и уныния...

Зашел за ширмы и присел, но сейчас же, решив, что эта поза для покойника не подходяща, улегся на ковре. Были сумерки: от низа ширмы вкусно пахло пылью, и тишину нарушали чьи-то заглушенные двойными рамами далекие крики с улицы:

— Алексей Иваныч!.. Что ж вы, подлец вы этакий, обе пары уволокли... Алексей Ива-а-аныч! Отдайте, мерзавец паршивый, хучь одну пару!

«Кричат...— подумал Мишка.— Если бы они знали, что тут человек помирает, так не покричали бы».

Тут же у него явилась смутная, бесформенная мысль, мимолетный вопрос: «Отчего ж, в сущности, он умирает? Просто так — никто не умирает... Умирают от болезней».

Он нажал себе кулаком живот. Там что-то зловеще заурчало.

«Вот оно,— подумал Мишка,— чахотка. Ну и пусть! И пусть. Все равно».

В какой позе его должны найти? Что-нибудь поэффектнее, поживописнее. Ему вспомнилась картинка из «Нивы», изображавшая убитого запорожца в степи. Запорожец лежит навзничь, широко раскинув богатырские руки и разбросав ноги. Голова немного склонена набок, и глаза закрыты.

Поза была найдена.

Мишка лег на спину, разбросал руки, ноги и стал понемногу умирать...

II

Но ему помешали.

Послышались шаги, чьи-то голоса и разговор тети Аси с знакомым офицером Кондрат Григорьевичем.

— Только на одну минутку,— говорила тетя Ася, входя.— А потом я вас сейчас же выгоню.

— Настасья Петровна! Десять минут... Мы так с вами редко видимся, и то все на людях... Я с ума схожу.

Мишка, лежа за ширмами, похолодел. Офицер сходит с ума!.. Это должно быть ужасно. Когда сходят с ума, начинают прыгать по комнате, рвать книги, валяться по полу и кусать всех за ноги! Что, если сумасшедший найдет Мишку за ширмами?..

— Вы говорите вздор, Кондрат Григорьич,— совершенно спокойно, к Мишкиному удивлению, сказала тетя.— Не понимаю, почему вам сходить с ума?

— Ах, Настасья Петровна... Вы жестокая, злая женщина...

«Ого! — подумал Мишка.— Это она-то злая? Ты бы мою маму попробовал — она б тебе показала».

— Почему ж я злая? Вот уж этого я не нахожу.

— Не находите? А мучить, терзать человека — это вы находите?

«Как она там его терзает?»

Мишка не понимал этих слов, потому что в комнате все было спокойно: он не слышал ни возни, ни шума, ни стонов — этих необходимых спутников терзания.

Он потихоньку заглянул в нижнее отверстие ширмы — ничего подобного. Никого не терзали... Тетя преспокойно сидела на кушетке, а офицер стоял около нее, опустив голову, и крутил рукой какую-то баночку на туалетном столике.

«Вот уронишь еще баночку — она тебе задаст»,— злорадно подумал Мишка, вспомнив сегодняшний случай с флаконом.

— Я вас терзаю? Чем же я вас терзаю, Кондрат Григорьевич?

— Чем? И вы не догадываетесь?

Тетя взяла зеркальце, висевшее у нее на длинной цепочке, и стала ловко крутить, так что и цепочка и зеркальце слились в один сверкающий круг.

«Вот-то здорово! — подумал Мишка.— Надо бы потом попробовать».

О своей смерти он стал понемногу забывать; другие

планы зародились в его голове... Можно взять коробочку от кнопок, привязать ее к веревочке и тоже так вертеть — еще почище теткиного верчения будет.

III

К его удивлению, офицер совершенно не обращал внимания на ловкий прием с бешено мелькавшим зеркальцем. Офицер сложил руки на груди и звенящим шепотом произнес:

— И вы не догадываетесь?!

— Нет,— сказала тетя, кладя зеркальце на колени.

— Так знайте же, что я люблю вас больше всего на свете!

«Вот оно... Уже начал с ума сходить,— подумал со страхом Мишка.— На колени стал. С чего, спрашивается?»

— Я день и ночь о вас думаю... Ваш образ все время стоит передо мной. Скажите же... А вы... А ты? Любишь меня?

«Вот еще,— поморщился за ширмой Мишка,— на «ты» говорит. Что же она ему, горничная, что ли?»

— Ну, скажи мне! Я буду тебя на руках носить, я не позволю на тебя пылинке сесть...

«Что-о такое?! — изумленно подумал Мишка.— Что он такое собирается делать?»

— Ну, скажи — любишь? Одно слово... Да?

— Да,— прошептала тетя, закрывая лицо руками.

— Одного меня? — навязчиво сказал офицер, беря ее руки.— Одного меня? Больше никого?

Мишка, распростертый в темном уголку за ширмами, не верил своим ушам.

«Только его? Вот тебе раз!.. А его, Мишку? А папу, маму? Хорошо же... Пусть-ка она теперь подойдет к нему с поцелуями — он ее отбреет».

— А теперь уходите,— сказала тетя, вставая.— Мы и так тут засиделись. Неловко.

— Настя! — сказал офицер, прикладывая руки к груди.— Сокровище мое! Я за тебя жизнью готов пожертвовать.

Этот ход Мишке понравился. Он чрезвычайно любил все героическое, пахнущее кровью, а слова офицера нарисовали в Мишкином мозгу чрезвычайно яркую, потрясающую картину: у офицера связаны сзади руки, он стоит на площади на коленях, и палач, одетый в красное, ходит с топором. «Настя! — говорит мужественный офицер.—

Сейчас я буду жертвовать за тебя жизнью...» Тетя плачет: «Ну, жертвуй, что ж делать». Трах! И голова падает с плеч, а палач по Мишкиному шаблону в таких случаях скрещивает руки на груди и хохочет оскорбительным смехом.

Мишка был честным, прямолинейным мальчиком и иначе дальнейшей судьбы офицера не представлял.

— Ах,— сказала тетя,— мне так стыдно... Неужели я когда-нибудь буду вашей женой...

— О,— сказал офицер.— Это такое счастье! Подумай — мы женаты, у нас дети...

«Гм...— подумал Мишка,— дети... Странно, что у тети до сих пор детей не было».

Его удивило, что он до сих пор не замечал этого... У мамы есть дети, у полковницы на верхней площадке есть дети, а одна тетя без детей.

«Наверно,— подумал Мишка,— без мужа их не бывает. Нельзя. Некому кормить».

— Иди, иди, милый.

— Иду. О, радость моя! Один только поцелуй!..

— Нет, нет, ни за что...

— Только один! И я уйду.

— Нет, нет! Ради бога...

«Чего там ломаться,— подумал Мишка.— Поцеловалась бы уж. Будто трудно... Сестренку Труську целый день ведь лижет».

— Один поцелуй! Умоляю. Я за него полжизни отдам!

Мишка видел: офицер протянул руки и схватил тетю за затылок, а она запрокинула голову, и оба стали чмокаться.

Мишке сделалось немного неловко. Черт знает что такое. Целуются, будто маленькие. Разве напугать их для смеху: высунуть голову и прорычать густым голосом, как дворник: «Вы чего тут делаете?!»

Но тетя уже оторвалась от офицера и убежала.

IV

Оставшись в одиночестве, обреченный на смерть Мишка встал и прислушался к шуму из соседних комнат.

«Ложки звякают, чай пьют... Небось меня не позовут. Хоть с голоду подыхай...»

— Миша! — раздался голос матери.— Мишутка! Где ты? Иди пить чай.

Мишка вышел в коридор, принял обиженный вид и боком, озираясь, как волчонок, подошел к матери.

«Сейчас будет извиняться»,— подумал он.

— Где ты был, Мишутка? Садись чай пить. Тебе с молоком?

«Эх,— подумал добросердечный Миша.— Ну и бог с ней! Если она забыла, так и я забуду. Все ж таки она меня кормит, обувает».

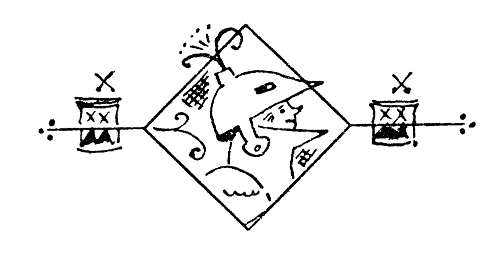
Он задумался о чем-то и вдруг неожиданно громко сказал:

— Мама, поцелуй-ка меня!

— Ах ты, поцелуйка. Ну, иди сюда.

Мишка поцеловался и, идя на свое место, в недоумении вздернул плечами:

«Что тут особенного? Не понимаю... Полжизни... Прямо — умора!»



НЯНЬКА

I

Будучи принципиальным противником строго обоснованных, хорошо разработанных планов, Мишка Саматоха перелез невысокую решетку дачного сада без всякой определенной цели.

Если бы что-нибудь подвернулось под руку, он украл бы; если бы обстоятельства располагали к тому, чтобы ограбить,— Мишка Самотоха и от грабежа бы не отказался. Отчего же? Лишь бы после можно было легко удрать, продать «блатокаю» награбленное и напиться так, «чтобы чертям было тошно».

Последняя фраза служила мерилом всех поступков Саматохи... Пил он, развратничал и дрался всегда с таким расчетом, чтобы «чертям было тошно». Иногда и его били, и опять-таки били так, что «чертям было тошно».

Поэтическая легенда, циркулирующая во всех благо-

воспитанных детских, гласит, что у каждого человека есть свой ангел, который радуется, когда человеку хорошо, и плачет, когда человека огорчают.

Мишка Саматоха сам добровольно отрекся от ангела, пригласил на его место целую партию чертей и поставил себе целью все время держать их в состоянии хронической тошноты.

И действительно, Мишкиным чертям жилось несладко.

II

Так как Саматоха был голоден, то усилие, затраченное на преодоление дачной ограды, утомило его.

В густых кустах малины стояла зеленая скамейка. Саматоха утер лоб рукавом, уселся на нее и стал, тяжело дыша, глядеть на ослепительную под лучами солнца дорожку, окаймленную свежей зеленью.

Согревшись и отдохнув, Саматоха откинул голову и замурлыкал популярную среди его друзей песенку:

Родила меня ты, мама,
По какой такой причине?
Ведь меня поглотит яма
По кончине, по кончине...

Маленькая девочка лет шести выкатилась откуда-то на сверкающую дорожку и, увидев полускрытого ветками кустов Саматоху, остановилась в глубокой задумчивости.

Так как ей были видны только Саматохины ноги, она прижала к груди тряпичную куклу, защищая это беспомощное создание от неведомой опасности, и после некоторого колебания бесстрашно спросила:

— Чии это ноги?

Отодвинув ветку, Саматоха наклонился вперед и стал в свою очередь рассматривать девочку.

— Тебе чего нужно? — сурово спросил он, сообразив, что появление девочки и ее громкий голосок могут разрушить все его пиратские планы.

— Это твои... ножки? — опять спросила девочка, из вежливости смягчив смысл первого вопроса.

— Мои.

— А что ты тут делаешь?

— Кадрель танцую,— придавая своему голосу выражение глубокой иронии, отвечал Саматоха.

— А чего же ты сидишь?

Чтобы не напугать зря ребенка, Саматоха проворчал:

— Не просижу места. Отдохну да и пойду.

— Устал? — сочувственно сказала девочка, подходя ближе.

— Здорово устал. Аж чертям тошно.

Девочка потопталась на месте около Саматохи и, вспомнив светские наставления матери, утверждавшей, что с незнакомыми нельзя разговаривать, вежливо протянула Саматохе руку.

— Позвольте представиться: Вера.

Саматоха брезгливо пожал ее крохотную ручонку своей корявой лапой, а девочка, как истый человек общества, поднесла к его носу и тряпичную куклу:

— Позвольте представить: Ма́рфушка. Она не живая, не бойтесь. Тряпичная.

— Ну? — с ласковой грубоватостью, неискренно, в угоду девочке удивился Саматоха.— Ишь ты, стерва какая.

Взгляд его заскользил по девочке, которая озабоченно вправляла в бок кукле высунувшуюся из зияющей раны паклю.

«Что с нее толку! — скептически думал Саматоха.— Ни сережек, ни медальончика. Платье можно было бы содрать и башмаки, да что за них там дадут? Да и визгу не оберешься».

— Смотри, какая у нее в боке дырка,— показала Вера.

— Кто же это ее пришил? — спросил Саматоха на своем родном языке.

— Не пришил, а сшил,— поправила Вера.— Няня сшила. А ну, поправь-ка ей бок. Я не могу.

— Эх ты, козявка! — сказал Саматоха, беря в руки куклу.

Это была его первая работа в области починки человеческого тела. До сих пор он его только портил.

III

Издали донеслись чьи-то голоса. Саматоха бросил куклу и тревожно поднял голову. Схватил девочку за руку и прошептал:

— Кто это?

— Это не у нас, а на соседней даче. Папа и мама в городе...

— Ну?! А нянька?

— Нянька сказала мне, чтобы я не шалила, и она потом

убежала. Сказала, что вернется к обеду. Наверно, к своему приказчику побежала.

— К какому приказчику?

— Не знаю. У нее есть какой-то приказчик!

— Любовник, что ли?

— Нет, приказчик. Слушай...

— Ну?

— А как тебя зовут?

— Михайлой,— ответил Саматоха крайне неохотно.

— А меня Вера.

«Пожалуй, тут будет фарт»,— подумал Саматоха, смягчаясь.— Эй, ты! Хошь, я тебе гаданье покажу, а?

— А ну, покажи,— взвизгнула восторженно девочка.

— Ну, ладно. Дай-кось руку... Ну вот, видишь — ладошка. Во... Видишь, вон загибинка. Так по этой загибинке можно сказать, когда кто именинник.

— А ну-ка! Ни за что не угадаешь.

Саматоха сделал вид, что напряженно рассматривает ручку девочки.

— Гм! Сдается мне по этой загибинке, что ты именинница семнадцатого сентября. Верно?

— Вер-р-р-но! — завизжала Вера, прыгая около Саматохи в бешеном восторге.— А ну-ка, на еще руку, скажи, когда мама именинница?

— Эх ты, дядя! Нешто по твоей руке угадаешь? Тут, брат, мамина рука требуется.

— Да мама сказала: в шесть часов приедет... Ты подождешь?

— Там видно будет.

Как это ни странно, но глупейший фокус с гаданьем окончательно самыми крепкими узами приковал девочку к Саматохе. Вкус ребенка извилист, прихотлив и неожидан.

— Давайте еще играть... Ты прячь куклу, а я ее буду искать. Ладно?

— Нет,— возразил рассудительный Саматоха.— Давай лучше играть в другое. Ты будто бы хозяйка, а я гость. И ты будто меня угощаешь. Идет?

План этот вызвал полное одобрение хозяйки. Взрослый человек, с усами, будет как всамделишный гость, и она будет его угощать!

— Ну, пойдем, пойдем, пойдем!

— Слушай ты, клоп. А у вас там никого дома нет?

— Нет, нет, не бойся, вот чудак! Я одна. Знаешь, будем так: ты будто бы кушаешь, а я будто бы угощаю!

Глазенки ее сверкали, как черные бриллианты.

IV

Вера поставила перед гостем пустые тарелки, уселась напротив, подперла рукой щеку и затараторила:

— Кушайте, кушайте! Эти кухарки такие невозможные. Опять, кажется, котлеты пережарены. А ты, Миша, скажи: «Благодарю вас, котлеты замечательные».

— Да ведь котлет нет,— возразил практический Миша.

— Да это не надо... Это ведь игра такая. Ну, Миша, говори!

— Нет, брат, я так не могу. Давай лучше я всамделишные кушанья буду есть. Буфет-то открыт? Всамделишно когда, так веселее. Э?

Такое отсутствие фантазии удивило Веру. Однако она безропотно слезла со стула, пододвинула его к буфету и заглянула в буфет.

— Видишь ты, тут есть такое, что тебе не понравится: ни торта, ни трубочек, а только холодный пирог с мясом, курица и яйца вареные.

— Ну что ж делать — тащи. А попить-то нечего?

— Нечего. Есть тут, да такое горькое, что ужас. Ты небось и пить-то не будешь. Водка.

— Тащи сюда, поросенок! Мы все это по-настоящему разделаем. Без обману.

V

Закутавшись салфеткой (полная имитация зябкой мамы, кутавшейся всегда в пуховый платок), Вера сидела напротив Саматохи и деятельно угощала его.

— Пожалуйста, кушайте. Не стесняйтесь, будьте как дома. Ах, уж эти кухарки, опять пережарила пирог, чистое наказание.

Она помолчала, выжидая реплики.

— Ну?

— Что, ну?

— Что ж ты не говоришь?

— А что я буду говорить?

— Ты говори: «Благодарю вас, пирог замечательный».

В угоду ей проголодавшийся Саматоха, запихивая огромный кусок пирога в рот, неуклюже пробасил:

— Благодарю вас... пирог знаменитый!

— Нет: замечательный!

— Ну да. Замечательный.

— Выпейте еще рюмочку, пожалуйста. Без четырех углов изба не строится.

— Благодарю вас, водка замечательная.

— Ах, курица опять пережарена. Эти кухарки — чистое наказание.

— Благодарю вас, курица замечательная,— прогудел Саматоха, подчеркивая этим стереотипным ответом полное отсутствие фантазии.

— В этом году лето жаркое,— заметила хозяйка.

— Благодарю вас, лето замечательное. Я еще баночку выпью.

— Нельзя так,— строго сказала девочка.— Я сама должна предложить... Выпейте, пожалуйста, еще рюмочку... Не стесняйтесь. Ах, водка, кажется, очень горькая. Ах, уж эти кухарки. Позвольте, я вам тарелочку переменю.

Саматоха не увлекался игрой так, как хозяйка, не старался быть таким кропотливым и точным в деталях, как она. Поэтому, когда маленькая хозяйка отвернулась, он вне всяких правил игры сунул в карман серебряную вилку и ложку.

— Ну, достаточно,— сказал он.— Сыт.

— Ах, вы так мало ели!.. Скушайте еще кусочек.

— Ну, будет там канитель тянуть, довольно. Я так налопался, что чертям тошно.

— Миша, Миша,— горестно воскликнула девочка, с укоризной глядя на своего друга.— Разве так говорят? Надо сказать: «Нет уж, увольте, премного благодарен. Разрешите закурить?»

— Ну, ладно, ладно... Увольте, много благодарен. Дай-ка папироску.

Вера убежала в кабинет и вернулась оттуда с коробкой сигар.

— Вот эти сигары я покупал в Берлине,— сказала она басом.— Крепковатые, да я других не курю.

— Мерси вам,— сказал Саматоха, оглядывая следующую комнату, дверь в которую была открыта.

Глядя на Саматоху снизу вверх и скроив самое лукавое лицо, Вера сказала:

— Миша! Знаешь во что давай играть?

— Во что?

— В разбойников.

VI

Это предложение поставило Мишу в некоторое затруднение. Что значит играть в разбойников? Такая игра с шестилетней девочкой казалась глупейшей профанацией его ремесла.

— Как же мы будем играть?

— Я тебя научу. Ты будто разбойник и на меня нападаешь, а я будто кричу: ох, забирайте все мои деньги и драгоценности, только не убивайте Марфушку.

— Какую Марфушку?

— Да куклу. Только я должна спрятаться, а ты меня ищи.

— Постой, это, брат, не так. Не пассажир должен сначала прятаться, а разбойник.

— Какой пассажир?

— Ну... этот вот... которого грабят. Он не должен сначала прятаться.

— Да ты ничего не понимаешь,— вскричала хозяйка.— Я должна спрятаться.

Хотя это было искажение всех разбойничьих приемов и традиций, но Саматоха и не брался быть их блюстителем.

— Ну ладно, ты прячься. Только нет ли у тебя какого-нибудь кольца или брошки?..

— Зачем?

— А чтоб я мог у тебя отнять.

— Так это можно нарочно... будто отнимаешь.

— Нет, я так не хочу,— решительно отказался капризный Саматоха.

— Ах ты господи! Чистое с тобой наказание! Ну, я возьму мамины часики и брошку, которые в столике у нее лежат.

— Сережек нет ли? — ласково спросил Саматоха, стремясь, очевидно, обставить игру со сказочной роскошью.

VII

Игра была превеселая.

Верочка прыгала вокруг Саматохи и кричала:

— Пошел вон! Не смей трогать Марфушку! Возьми лучше мои драгоценности, только не убивай ее. Постой, где же у тебя нож?

Саматоха привычным жестом полез за пазуху, но сейчас же сконфузился и пожал плечами.

— Можно и без ножа. Нарочно ж...

— Нет, я тебе лучше принесу из столовой.

— Только серебряный! — крикнул ей вдогонку Саматоха.

Игра кончилась тем, что, забрав часы, брошку и кольцо в обмен на драгоценную жизнь Марфушки, Саматоха сказал:

— А теперь я тебя как будто запру в тюрьму.

— Что ты, Миша! — возразила на это девочка, хорошо, очевидно, изучившая, кроме светского этикета, и разбойничьи нравы.— Почему же меня в тюрьму! Ведь ты разбойник — тебя и надо в тюрьму.

Покоренный этой суровой логикой, Миша возразил:

— Ну так я тебя беру в плен и запираю в башню.

— Это другое дело. Ванная — будто б башня... Хорошо?

Когда он поднял ее на руки и понес, она, барахтаясь, зацепилась рукой за карман его брюк.

— Смотри-ка, Миша, что это у тебя в кармане? Ложка?! Это чья?

— Это, брат, моя ложка.

— Нет, это наша. Видишь, вон вензель. Ты, наверное, нечаянно ее положил, да? Думал, платок?

— Нечаянно, нечаянно! Ну, садись-ка, брат, сюда.

— Постой! Ты мне и руки свяжи, будто бы чтоб я не убежала.

— Экая фартовая девчонка,— умилился Саматоха.— Все-то она знает. Ну, давай свои лапки!

Он повернул ключ в дверях ванной и, надев в передней чье-то летнее пальто, неторопливо вышел.

По улице шагал с самым рассеянным видом.

Прошло несколько дней.

Мишка Саматоха, как волк, пробирался по лужайке парка между нянек, колясочек младенцев, летящих откуда-то резиновых мячей и целой кучи детворы, копошившейся на траве.

Его волчий взгляд прыгал от одной няньки к другой, от одного ребенка к другому.

Под громадным деревом сидела бонна, углубившаяся в книгу, а в двух шагах маленькая трехлетняя девочка расставляла какие-то кубики. Тут же на траве раскинулась ее кукла размером больше хозяйки — длинноволосое, розовощекое создание парижской мастерской, одетое в голубое платье с кружевами.

Увидев куклу, Саматоха нацелился, сделал стойку и

вдруг как молния прыгнул, схватил куклу и унесся в глубь парка на глазах изумленных детей и нянек.

Потом послышались крики и вообще началась невероятная суматоха.

Минут двадцать без передышки бежал Мишка, стараясь запутать свой след.

Добежал до какого-то дощатого забора, отдышался и, скрытый деревьями, довольно рассмеялся.

— Ловко,— сказал он.— Поди-кось, догони.

Потом вынул замусоленный огрызок карандаша и стал шарить по карманам обрывок какой-нибудь бумажки.

— Эко, черт! Когда нужно, так и нет,— озабоченно проворчал он.

Взгляд его упал на обрывок старой афиши на заборе. Ветер шевелил отклеившимся куском розовой бумаги.

Саматоха оторвал его, крякнул и, прислонившись к забору, принялся писать что-то.

Потом уселся на землю и стал затыкать записку кукле за пояс.

На клочке бумаги были причудливо перемешаны печатные фразы афиши с рукописным творчеством Саматохи.

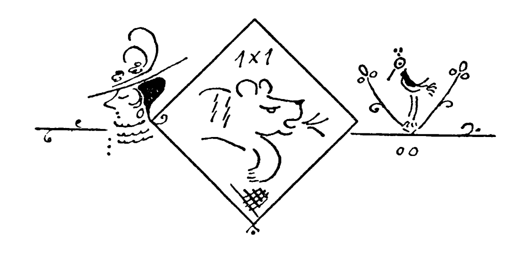
Читать можно было так:

«Многоуважаемая Вера! С дозволения начальства. Очень прошу не обижаться, что я ушел тогда. Было нельзя. Если бы кто-нибудь вернулся — засыпался бы я. А ты девочка знатная, понимаешь, что к чему. И прошу тебя получить... бинокли у капельдинеров... сию куклу, мною для тебя найденную на улице... Можешь не благодарить... Артисты среди акта на аплодисменты не выходят... Уважаемого тобой Мишу С. А. Ложку-то я забыл тогда вернуть! Прощ.».

— Вот он где, ребята! Держи его! Вот ты узнаешь, как кукол воровать, паршивец!.. Стой... не уйдешь!.. Собачье мясо!..

Саматоха вскочил с земли, с досадой бросил куклу под ноги окружавших его дворников и мальчишек и проворчал с досадой:

— Свяжись только с бабой — вечно в какую-нибудь историю втяпаешься.



МАНЯ МЕЧТАЕТ

Хорошо идти, идти, да вдруг найти на улице миллион. Вот бы тогда...

Мáне четырнадцать лет, кожа на лице ее прозрачна, и подбородок заострен; глаза, большей частью, красные; конечно, не от природы, а от усиленной работы в мастерской madame Зины, где она работает и сейчас, несмотря на вечер Страстной субботы и заманчивый перезвон колоколов...

Наблюдал ли кто-нибудь за взаимоотношением между положением человека и его желаниями? Как-никак, Мáня все же сидит более или менее сытая, в более или менее теплой комнате, и ей хочется найти миллион; броди она босая, в изорванном платье — венцом ее мечтаний было найти десять или даже сто миллионов. Неправда, что у нищих скромные желания. Нищие больны лихорадкой ненасытности. Если бы Маня сидела не в мастерской, а у себя дома, в уютной гостиной, за пианино, и отец ее был бы не пьяный рассыльный технической конторы, а статский советник — ее материалистические мечты сузились бы пропорционально благосостоянию. («Хорошо бы найти где-нибудь пятисотрублевую бумажку. Чего только на пятьсот рублей не сделаешь!..») А некоторые немецкие принцессы, как о том писали в газетах, получают от родителей десять марок в месяц, и, конечно, венец их желаний — найти где-нибудь стомарковую монету.

Маня мечтала о миллионе; из этого можно заключить, что жилось ей совсем неважно.

— Пасха тут на носу,— угрюмо думала Мáня, переезжая со своего излюбленного миллиона на предметы более реальные,— а ты сиди, работай, как собака какая-нибудь. Уйти бы теперь, да на улицу!.. Хорошо, если бы вдруг пожар случился. Чтобы вспыхнуло у старшей мастерицы платье, которое она так внимательно расправляет на мане-

кене. И чтобы огонь перескочил на всю эту кучу тряпок... Все визжат, бегут... Я бы тоже завизжала, да на улицу... Ищи меня тогда...

— Опять задумалась? Тебя что же взяли сюда — работать или раздумывать? Скоро одиннадцать часов, а у тебя что сделано, дрянь этакая?

У Мáни так и вертелся на языке ошеломляющий по своей ядовитости ответ:

— Дрянь, да с дворян, а ты халява моя.

Она и сама не знает, где впервые услышала это «возражение по существу», но элемент сатанинской гордости, заключенный в вышеприведенной угрозе, чрезвычайно привлекает ее.

Конечно, она никогда не рискнет сказать эту фразу вслух, но даже про себя произнести ее — так заманчиво.

Даже элемент неправдоподобия не смущает ее: она далеко не дворянка, да и мадам Зина никогда не была ее халявой; да и еще вопрос, что означает странное обидное слово — халява; а помечтать все же приятно: «Вдруг я скажу это вслух! Крики, истерика, да уж поздно. Слово сказано при всех, услышано, и мадам Зина опозорена навеки».

— Опять ты задумалась?! И что это в самом деле за девчонка такая омерзительная?!

Легкий толчок в плечо; иголка впивается в палец; первая мысль — профессиональная: боязнь запятнать работы кровью, для чего палец берется в рот и тщательно высасывается; вторая мысль: «Тебя бы мордой на иголку наткнуть, узнала бы тогда...»

Но этого мало; когда мысли начинают течь по обыкновенному руслу, судьба madame Зины определяется более ясно:

Хорошо бы ошпарить ей голову кипятком, когда она моет волосы; под видом, будто нечаянно. Вылезшие волосы поползут вместе с водой по плечам, по спине, и забегает она, проклятая Зинка, с красным лицом, страшная, обваренная, и только тогда поймет, какая она была дрянь по отношению к Мáне.

Однако этот проект быстро забраковывается, и нужно сказать правду — не по причинам милосердия и душевной доброты мстительницы.

— Кипятком, пожалуй, и не обваришь как следует. Наденет вместо волос парик, а красные пятна запудрит. Нет, нужно что-нибудь такое, чтобы она долго мучилась,

чтобы страдала и чувствовала, страдала и чувствовала.

И совершенно неожиданно страшный, злодейский план приходит в голову закоренелой преступнице Мане.

— Хорошо бы купить такую машину, которую я давеча видела в магазине, где покупала ветчину... Машина эта специально и сделана для резки ветчины: около небольшой площадки вращается с невероятной быстротой колесо; края у него острые, как бритва, на площадке лежит окорок ветчины, и стоит только пододвинуть этот окорок к колесу, как колесо режет тонкий, как бумага, ломоть ветчины.

Страшные мысли бродят в многодумной Маниной голове.

— Взять бы эту анафемскую Зинку да положить ногами вместо ветчины... Отрезать сначала кончики пальцев да и посмотреть в лицо: «Приятно ли тебе, матушка?» Поподвинуть немножко опять, завертеть колесо да снова заглянуть в лицо: «Что, сударыня, приятно вам?» Целый час резать можно по тоненькой такой пластиночке — а она все будет чувствовать.

Выкупавшись досыта в Зинкиной крови, Маня переходит на месть более утонченную, более женственную. Правда, тут без миллиона не обойтись, ну, что же делать — можно ведь, в конце концов, найти и миллион (иду, а он у стенки валяется в белом пакете)...

— У меня свой дом; большая мраморная лестница, и на каждой ступеньке пальма и красный лакей. Я сижу в зале, всюду огни, а меня окружает золотая молодежь! Все во фраках. Я играю на рояле, а все восхищаются, охают и говорят: «До чего ж вы хорошо играете, Мария Евграфовна! Подарите розу с вашей груди, Мария Евграфовна! Я вас люблю, Мария Евграфовна,— вот вам моя рука и сердце».

— Нет,— печально говорю я,— я люблю другого. Одного князя...— Вдруг на лестнице шум, лакеи кого-то не пускают, слышен чей-то женский голос: «Пустите меня к ней, она, наверное, не забыла свою старую хозяйку, мадам Зину! Я так разорилась, и она мне поможет...»

Рука с иголкой опустилась. Широко открытые глаза видят то, чего никто не видит. Видят они захватывающую, полную глубокого драматизма, сцену:

— Услышав шум, я встаю из-за рояля... Барон, взгляните, что там за шум?.. Встаю, иду на середину зала; за мной все мои гости, ну, конечно, и мастерицы некоторые, здешние. На мне корсаж из узорчатого светлого шелка;

воротник из тонкого линобатиста. Юбка в три волана, клеш. Спереди корсажа складки-плиссе. Шарф из тафты или фай-де-шинь. На шее сверкает кулуар. Мадам Зина одета криво, косо, юбка из рыжего драпа спереди разорвана, застежка на блузе без басонных пуговиц — позор форменный! Я смотрю на нее в лорнетку и удивляюсь как будто бы: «Это еще что за чучело?»

«Ма́нечка! — кричит она.— Это же я, мадам Зина!»— «Кескесе, Зина? — спрашиваю я, опираясь на плечо барона.— Кто осмелился пустить эту не-пре-зен-табельную женщину? Мой салон не для нее».— «Манечка,— кричит она.— Я несчастная, прости меня!» Я снова осматриваю ее в лорнетку, холодно говорю: «Вон!» — и сажусь играть за рояль. Ее выводят, она кричит, а я играю «Сон жизни», и все танцуют. А лакеи смеются над ее драповой юбкой и сбрасывают ее с лестн...

— Ну что, Ма́ня, кончила? — раздается над ее головой голос madame Зины.

Странно — голос как будто потеплел, без сухих деревянных раздражительных ноток.

— Немножко осталось, мадам. Только эту сторону притачать.

— Заработалась? — улыбается мадам Зина, поглаживая ее жидкие волосы.— Все уже ушли, только ты и Софья остались. Ну, да ладно. Отложи пока — тут на полчаса работы, пойдем ко мне.

— Зачем, мадам? — робко шепчет кровожадная, честолюбивая Ма́ня.

— Разговеешься, дурочка. Что ж так сидеть-то, спину гнуть в такой праздник?.. Разговеешься, окончишь то, что осталось, и иди домой спать. Ну, пойдем же.

Она увлекает пораженную, сбитую с толку Ма́ню во внутренние, такие таинственные, такие заманчивые комнаты, подводит ее к столу, за которым сидят уже мастерица Соня, старуха — мать хозяйки и два молодых человека в смокингах, с громадными цветками в петлицах.

— Господа, христосуйтесь! — смеется madame Зина, подталкивая Маню.— Ну, Маня, иди, я тебя поцелую. Христос воскресе!

— Воистину...— шепчет ужасная Ма́ня, касаясь дрожащими губами упругой, надушенной сладкими духами щеки madame Зины.

— Садись сюда, Ма́ня. Вот выпей, это сладенькое. Ма́ма, передайте ей свяченого кулича. Барашка хочешь или ветчины? Что именно?

...Маня задумчиво жует ветчину. Что-то ассоциируется в ее мыслях с тонкими ломтиками ветчины. Что именно?

Взгляд ее падает на красиво обтянутую шелковым чулком стройную ногу, выставленную из-под черного бархатного платья madame.

Маня хочет представить, как эта нога, обнаженная, сверкая белизной, ляжет у острого, как бритва, колеса, как колесо врежется в розовую, нежную, как лепесток цветка, пятку, как она, Маня, будет глядеть в искаженное лицо madame — хочет Маня все это представить и не может.

Жует кулич, потом сладкую творожную пасху, запивает душистым портвейном и снова глядит немигающими глазами на madame.

— Что, Ма́ня? — спрашивает madame, снова кладя теплую ладонь на светлые Ма́нины волосы.— Покушала? Ну, иди, детка, кончай, а потом ступай себе спать. Впрочем, пойдем, я тебе помогу... Вдвоем мы скорее справимся. Извините, господа! Я через десять минут...

Привычные руки быстро порхают над куском белого, как весеннее пасхальное облачко, газа...

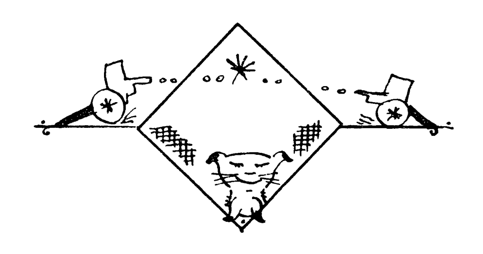
А мысли, независимо от работы рук, текут по раз навсегда прорытому руслу:

— Хорошо бы найти где-нибудь миллион да взять его, купить дом с садом и мраморной лестницей. Конечно, на каждой ступеньке лакеи и все, что полагается... Сижу я в зале, всюду огни, играю на рояле, все сидят во фраках, слушают... Вдруг шум, крики: «Пустите меня к ней, это моя бывшая мастерица Ма́нечка». Я еще не знаю, в чем дело, но уже говорю графу: «Впустите эту добрую женщину». Впускают... «Боже мой! Это вы, мадам Зина? В таком виде? В грязи, в старом платье?!! Эй, люди, горничная! Принесите сейчас же туалет легкого шелка, заложенного в складки-плиссе. То самое, низ складок которого скреплен рюшем с выстроченными краями, а на рубашечку надевается веста-кимоно из фая мелкими букетиками вяло-розовых цветов!! Дайте сюда это платье, наденьте его на мадам и, вообще, обращайтесь с ней, как с моим лучшим другом. Мадам! Вы, может быть, голодны? Мо́гу вам предложить барашка, ветчины или чего-нибудь презентабельнее? Кескесе вы пьете?» Я плачу, мадам плачет, гости и лакеи — тоже плачут. Потом все, обнявшись, идем в столовую́ и пьем за здоровье мадам. «Жить вы будете у меня, как подруга!» Тут

же я снимаю с шеи алмазный кулуар и вешаю его на мадам. Все плачут...

Обилие слез в этой фантастической истории не смущает Маню.

Главное дело — чувствительно и вполне отвечает новому настроению . . . .
. . . .



ТРАВА, ПРИМЯТАЯ САПОГОМ

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом...

— Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.

— Нет, серьезно. Ну, пожалуйста, скажи.

— Тебе-то? Лет восемь, что ли?

— Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.

— Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось и женишка уже припасла?

— Куда там! (глубокая поперечная морщина сразу выползла на ее безмятежный лоб). Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.

— Господи, Боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?

— Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.

— Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на речку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.

— Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?

— Ну, раз стих — это дело десятое. Тогда не лень и пойти.

По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:

— Знаешь, меня ночью комар как укусит, за ногу.

— Слушаю-с. Если я его встречу, я дам ему по морде.

— Знаешь, ты ужасно комичный.

— Еще бы. На том стоим.

На берегу реки мы преуютно уселись на камушке под развесистым деревцом. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, всползла на чистый лоб.

Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:

— Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..

Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:

— Чего, чего?

Она повторила.

Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:

— Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.

— Ах, стихи! Я и забыла. О Максе:

Максик вечно ноет,
Максик рук не моет,
У грязнули Макса
Руки, точно вакса.
Волосы, как швабра,
Чешет их не храбро...

— Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном слове» прочитала.

— Здорово сработано. Ты их маме-то читала?

— Ну, знаешь, ей не до того. прихварывает все.

— Что же с ней такое?

— Малокровье. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти... азотистые тоже в организм не... этого... не входили. Ну, одним словом — коммунистический рай.

— Бедный ребенок,— уныло прошептал я, приглаживая ей волосы.

— Еще бы не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклиную потеряла, да медведь пищать перестал. Не знаешь. отчего это он мог перестать пищать?

— Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.

— Ну, ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?

— Где там! Всю жизнь мечтал об этом — не удается.

— А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает: очень комично.

С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышней.

— Вишь ты, как пулеметы работают,— сказал я, прислушиваясь.

— Что ты, братец,— какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.

Ба-бах!

— Ого,— вздрогнул я,— шрапнелью ахнули.

Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением.

— Знаешь, если ты не понимаешь — так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный заряд воет, как собака. Очень комичный.

— Послушай, клоп,— воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала опустившиеся к башмакам носочки.— Откуда ты все это знаешь?

— Вот комичный вопрос, ей-Богу! Поживи с мое, еще не то узнаешь.

А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:

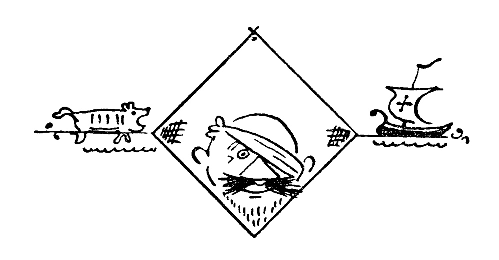
— Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черненькие глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!

* *
*

По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями.

Пройдут по ней, примнут ее.

Прошли — полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.



СМЕРТЬ АФРИКАНСКОГО ОХОТНИКА

I. ОБЩИЕ РАССУЖДЕНИЯ. СКАЛА

Мой друг, моральный воспитатель и наставник Борис Попов, провозившийся со мной все мои юношеские годы, часто говорил своим глухим, ласковым голосом:

— Знаете, как бы я нарисовал картину «Жизнь»? По необъятному полю, изрытому могилами, тяжело движется громадная стеклянная стена... Люди с безумно выкатившимися глазами, напряженными мускулами рук и спины хотят остановить ее наступательное движение, бьются у нижнего края ее, но остановить ее невозможно. Она движется и сваливает людей в подвернувшиеся ямы — одного за другим... Одного за другим! Впереди ее — пустые отверстые могилы; сзади — наполненные, засыпанные могилы. И кучка живых людей у края видит прошлое: могилы, могилы и могилы. А остановить стену невозможно. Все мы свалимся в ямы. Все.

Я вспоминаю эту ненаписанную картину и, пока еще стеклянная стена не смела меня в могилу, хочу признаться в одном чудовищном поступке, совершенном мною в дни моего детства. Об этом поступке никто не знает, а поступок дикий и для детского возраста неслы-

ханный: у основания большой желтой скалы, на берегу моря, недалеко от Севастополя, в пустынном месте я закопал в песке, я похоронил одного англичанина и одного француза...

Мир праху вашему — краснобаи и обманщики!

Стеклянная стена движется на меня, но я прикладываю к ней лицо и, сплюснув нос, вижу оставшееся позади: моего отца, индейца Ва-пити и негра Башелико. А за ними в тяжелых прыжках и извивах мощных тел мечутся львы, тигры и гиены.

Это все главные действующие лица той истории, которая окончилась таинственными похоронами у основания большой скалы на пустынном морском берегу.

*
* *
*

Мои родители жили в Севастополе, чего я никак не мог понять в то время: как можно было жить в Севастополе, когда существуют Филиппинские острова, южный берег Африки, пограничные города Мексики, громадные прерии Северной Америки, мыс Доброй Надежды, реки Оранжевая, Амазонка, Миссисипи и Замбези?..

Меня, десятилетнего пионера в душе, местожительство отца не удовлетворяло.

А занятие? Отец торговал чаем, мукой, свечами, овсом и сахаром.

Конечно, я ничего не имел против торговли... но вопрос: чем торговать? Я допускал торговлю кошенилью, слоновой костью, выменянной у туземцев на безделушки, золотым песком, хинной коркой, драгоценным розовым деревом, сахарным тростником... Я признавал даже такое опасное занятие, как торговля черным деревом (негроторговцы так называют негров).

Но мыло! Но свечи! Но пиленый сахар!

Проза жизни тяготила меня. Я уходил на несколько верст от города и, пролеживая целыми днями на пустынном берегу моря, у подножия одинокой скалы, мечтал...

Пиратское судно решило пристать к этому месту, чтобы закопать награбленное сокровище: скованный железом сундук, полный старинных испанских дублонов, гиней, золотых бразильских и мексиканских монет и разной золотой, осыпанной драгоценными камнями утвари...

Грубые голоса, загорелые лица, хриплый смех и ром, ром без конца...

Я, спрятавшись в одному мне известном углублении на верхушке скалы, молча слежу за всем происходящим: мускулистые руки энергично роют песок, опускают в яму тяжелый сундук, засыпают его и, сделав на скале таинственную отметку, уезжают на новые грабежи и приключения. Одну минуту я колеблюсь: не примазаться ли к ним? Хорошо поездить вместе, погреться под жарким экваториальным солнцем, пограбить мимо идущих «купцов», сцепиться на абордаж с английским бригом, дорого продавая свою жизнь, потому что встреча с англичанами — верный галстук на шею.

С другой стороны, можно к пиратам и не примазываться. Другая комбинация не менее заманчива: вырыть сундук с дублонами, притащить к отцу, а потом купить на «вырученные деньги» фургон, в которых ездят южноафриканские боэры, оружия, припасов, нанять нескольких охотников для компании да и двинуться на африканские алмазные поля.

Положим, отец и мать забракуют Африку! Но Боже ты мой! Остается прекрасная Северная Америка с бизонами, бесконечными прериями, мексиканскими вакеро и раскрашенными индейцами. Ради такой благодати стоило бы рискнуть скальпами — ха-ха!

Солнце накаливает морской песок у моих ног, тени постепенно удлиняются, а я, вытянувшись в холодке под облюбованной мною скалой, книга за книгой поглощаю двух своих любимцев: Луи Буссенара и капитана Майн Рида.

«...Расположившись под тенью гигантского баобаба, путешественники с удовольствием вдыхали вкусный аромат жарившейся над костром передней ноги слона. Негр Геркулес сорвал несколько плодов хлебного дерева и присоединил их к вкусному жаркому. Основательно позавтракав и запив жаркое несколькими глотками кристальной воды из ручья, разбавленной ромом, наши путешественники» и т. д.

Я глотаю слюну и шепчу, обуреваемый завистью:

— Умеют же жить люди! Ну-с... позавтракаем и мы.

Из тайного хранилища в расселине скалы я вынимаю пару холодных котлет, тарань, кусок пирога с мясом, бутылку бузы и — начинаю насыщаться, изредка поглядывая на чистый морской горизонт: не приближается ли пиратское судно?

А тени все длиннее и длиннее...

Пора и в свой блокгауз на Ремесленной улице.

Я думаю — скала эта на пустынном берегу стоит и до сих пор, и расселина сохранилась, и на дне ее, вероятно, еще лежит сломанный ножик и баночка с порохом — там все по-прежнему, а мне уже тридцать два года, и все чаще кто-нибудь из добрых друзей восклицает с радостным смехом:

— Гляди-ка! А ведь у тебя тоже появился седой волос.

II. ПЕРВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Не знаю, кто из нас был большим ребенком — я или мой отец.

Во всяком случае, я, как истый краснокожий, не был бы способен на такое бурное проявление восторга, как отец в тот момент, когда он сообщил мне, что к нам едет настоящий зверинец, который пробудет всю Святую неделю и, может быть (в этом месте отец подмигнул с видом дипломата, разоблачающего важную государственную тайну), останется и до мая.

Внутри у меня все замерло от восторга, но наружно я не подал виду.

Подумаешь, зверинец! Какие там звери? Небось и агути нет, и гну, и анаконды — матери вод, не говоря уж о жирафах, пеккари и муравьедах.

— Понимаешь — львы есть! Тигры! Крокодил! Удав! Укротители и хозяин у меня кое-что в лавке покупают, так говорили. Вот это, брат, штука! Индеец там есть — стрелок, и негр.

— А что негр делает? — спросил я с побледневшим от восторга лицом.

— Да уж что-нибудь делает,— неопределенно промямлил отец.— Даром держать не будут.

— Какого племени?

— Да племени, брат, хорошего, сразу видно. Весь черный, как ни поверни. На первый день пасхи пойдем — увидишь.

Кто поймет мое чувство, с которым я нырнул под красную кумачовую с желтыми украшениями отделку балагана? Кто оценит симфонию звуков хриплого аристона, хлопанья бича и потрясающего рева льва?

Где слова для передачи сложного дивного сочетания трех запахов: львиной клетки, конского навоза и пороха?..

Эх, очерствели мы!..

Однако, когда я опомнился, многое в зверинце перестало мне нравиться.

Во-первых — негр.

Негр должен быть голым, кроме бедер, покрытых яркой бумажной материей. А тут я увидел профанацию: негра в красном фраке, с нелепым зеленым цилиндром на голове. Во-вторых, негр должен быть грозен. А этот показывал какие-то фокусы, бегал по рядам публики, вынимая из всех карманов замасленные карты, и вообще относился ко всем очень заискивающе.

В-третьих — тяжелое впечатление произвел на меня Ва-пити — индеец, стрелок из лука. Правда, он был в индейском национальном костюме, украшен какой-то шкурой и утыкан перьями, как петух, но... где же скальпы? Где ожерелье из зубов серого медведя-гризли?

Нет, все это не то.

И потом: человек стреляет из лука — во что? — в черный кружок, нарисованный на деревянной доске.

И это в то время, когда в двух шагах от него сидят его злейшие враги, бледнолицые!

— Стыдись, Ва-пити, краснокожая собака! — хотел сказать я ему. — Твое сердце трусливо, и ты уже забыл, как бледнолицые отняли у тебя пастбище, сожгли вигвам и угнали твоего мустанга. Другой порядочный индеец не стал бы раздумывать, а влепил бы сразу парочку стрел в физиономию вон тому акцизному чиновнику, сытый вид которого доказывает, что гибель вигвама и угон мустанга не обошлись без его содействия.

Увы! Ва-пити забыл заветы своих предков. Ни одного скальпа не содрал он сегодня, а просто раскланялся на аплодисменты и ушел. Прощай, трусливая собака!

Чем дальше, тем больше падало мое настроение: худосочная девица надевала себе на шею удава, будто это был вязаный шерстяной платок.

Живой удав — и он стерпел это, не обвил негодницу своими смертоносными кольцами? Не сжал ее так, чтобы кровь из нее брызнула во все стороны?! Червяк ты несчастный, а не удав!

Лев! Царь зверей, величественный, грозный, одним прыжком выносящийся из густых зарослей и, как гром небесный, обрушивающийся на спину антилопы... Лев, гроза чернокожих, бич стад и зазевавшихся охотников, прыгал через обруч! Становился всеми четырьмя лапами на раскрашенный шар! Гиена становилась передними ногами ему на круп!..

Да будь я на месте этого льва, я так тяпнул бы этого укротителя за ногу, что он другой раз и к клетке близко бы не подошел.

И гиена тоже обнаглела, как самая последняя дрянь... Прошу не осуждать меня за кровожадность... Я рассуждал, так сказать, академически.

Каждый должен делать свое дело: индеец снимать скальп, негр — есть попавших к нему в лапы путешественников, а лев — терзать без разбору того, другого и третьего, потому что читатель должен понять: пить-есть всякому надо.

Теперь я и сам недоумеваю: что я надеялся увидеть, явившись в зверинец? Пару львов, вырвавшихся из клетки и доедающих в углу галерки не успевшего удрать матроса? Индейца, старательно снимающего скальпы со всего первого ряда обезумевших от ужаса зрителей? Негра, разложившего костер из выломанных досок слоновой загородки и поджаривающего на этом костре мучного торговца Слуцкина?

Вероятно, это зрелище было бы единственное, которое меня бы удовлетворило...

А когда мы выходили из балагана, отец сообщил мне ликующим тоном:

— Представь себе, я пригласил сегодня вечером к нам в гости хозяина, индейца и негра. Повеселимся.

Это была та же отцовская черта, которая приводила его к покупке на базаре каракатиц, которых мы потом вдвоем с отцом и съедали. Я — из любви к приключениям, он — из желания доказать всем домашним, что покупка его не носит определенного характера бессмысленности.

— Да-с. Пригласил. Интересные люди.

С таким видом, вероятно, Ротшильд теперь приглашает к себе Шаляпина.

Дух меценатства свил себе в отце прочное гнездо.

III. ВТОРОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ. СМЕРТЬ

Удар за ударом!

Индеец Ва-пити и негр Башелико явились к нам в серых пиджаках, которые сидели на них, как перчатка на карандаше.

Они по примеру хозяина зверинца христосовались с отцом и мамой.

Негр — каннибал — христосовался!

Краснокожая собака — Ва-пити, которого засмеяли бы индейские скво (бабы),— христосовался!

Боже, Боже! Они ели кулич. После жареного миссионера — кулич! А грозный индеец Ва-пити мирно съел три

крашеных яйца, измазав себе всю кирпичную физиономию синим и зеленым цветом. Это — вместо раскраски в цвета войны...

Кончилось тем, что отец, хватив киевской наливки свыше меры, затянул «Виют витры, виют буйны», а индеец ему подтягивал!!

А негр танцевал с теткой польку-мазурку... Правда, при этом ел ее, но только глазами...

И в это время играл не тамтам, а торбан под умелой рукой отца.

А грозный немец, хозяин зверинца, просто спал, забыв своих львов и слонов.

*
* *
*

Утром, когда еще все спали, я встал и, надев фуражку, тихо побрел по берегу бухты.

Долго брел, грустно брел.

Вот и моя скала, вот и расселина — мое пище- и книгохранилище.

Я вынул Буссенара, Майн Рида и уселся у подножия скалы. Перелистал книги... в последний раз.

И со страниц на меня глядели индейцы, поющие: «Виют витры, виют буйны», глядели негры, танцующие польку-мазурку под звуки хохлацкого торбана, львы прыгали через обруч, и слоны стреляли хоботом из пистолета...

Я вздохнул.

Прощай, мое детство, мое сладкое, изумительно интересное детство...

Я вырыл в песке под скалой яму, положил в нее все томики француза Буссенара и англичанина капитана Майн Рида, засыпал эту могилу, встал и выпрямился, обведя горизонт совсем другим взглядом... Пиратов не было и не могло быть; не должно быть.

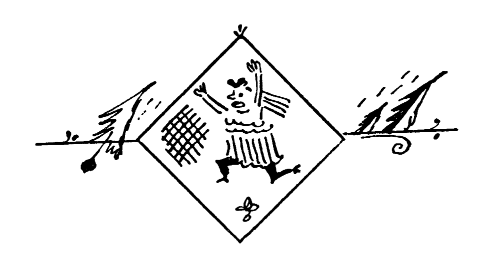
Мальчик умер.

Вместо него — родился юноша.

*
* *
*

В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями.

. . . .



ИНКВИЗИЦИЯ

Я гляжу на них сверху вниз...

И не потому, чтобы я их презирал, а просто я выше их, хотя и сижу в кресле: Лиля высотой не более аршина, Котька — вершка на два выше.

Каждый из них опирается обеими руками о мое колено, и оба не мигая глядят в мои бегающие глаза.

— Я у Шуры книжку видел,— сообщает Котька и умолкает, ожидая, чтобы я спросил: «Какую?»

— Какую?

— Называется: «Мальчик у Христа на елке».

— Мда-а,— неопределенно мычу я.

Молчание.

Лиля решает поддержать брата:

— А я стихи новые знаю.

И замирает вся, напрягается, трепетно ожидая одного только словечка: «Какие?»

— Какие?

Обыкновенно около нее нужно работать целый час, чтобы вытянуть хоть какие-нибудь стишонки.

Но тут она, как обильный весенний дождик по крыше — прорывается сразу:

У нашей елки
Иголки — колки.
В дверную щелку
Мы видим елку...
Звезда, хлопушки.
Орехи, пушки.

Все. Вчера в журнале читала.

— Так-с,— снова мямлю я.— Стишки хоть куда. А это знаешь: «Зима. Крестьянин торжествуя...»?

Но такой оборот разговора обоим невыгоден.

— Мы это знаем. Слушай, дядя... А бывают елки выше потолка?

— Бывают.

— А как же тогда?

— Делают дырку в потолке и просовывают конец в верхний этаж. Если там живут не дураки — они убирают просунутый конец игрушками, золочеными орехами и веселятся напропалую.

Котька отворачивает плутоватую мордочку в сторону и задает многозначительный вопрос:

— А кто живет этажом ниже нас — у них есть дети?

— Не знаю. Кажется, там старик какой-то.

— Жаль. А знаешь что,— неопределенно говорит Котька,— я на рождество буду слушаться.

— И я! И я! — ревниво кричит Лиля.

— Важное кушанье!— пожимаю я плечами.— Вы всегда должны слушаться. А нет — я сдеру с вас шкуру, набью ее ватой, и уж эти-то детки будут сидеть тихо.

Котька приподнимает одну ногу, осматривает ботинок, который у него в полном порядке, и, казалось бы, бесцельно сообщает:

— У наших соседов, говорят, нынче елка будет.

— Не соседов, а соседей.

— Ну, пусть соседей. Но елка-то все-таки будет.

Положение создается тягостное.

— Елки...— мычу я.— Елки... Гм!.. Тоже, знаете, и от елок иногда радости мало. Вон, у одних моих знакомых тоже как-то устроили елку, а свечка одна горела, горела, потом покосилась да кисейную гардину и подожгла... Как порох вспыхнул дом! Восемь человек сгорело.

— Елку нужно посредине ставить. Рази к окну ставят,— замечает многоопытная Лиля.

— Посредине...— горько усмехаюсь я.— Оно и посредине бывает тоже не сладко. В одном тоже вот... знакомом доме... у Петровых... Петровы были у меня такие... знакомые... Так у них — поставили елку посредине, а она стояла, стояла да как бухнет на пол, так одну девочку напополам! Голова к роялю отлетела, ноги к дверям.

К моему удивлению, этот ужасный случай не производит никакого впечатления. Будто не живой ребенок погиб, а муху на стене прихлопнули.

— Подставку нужно делать больше и тяжельше — тогда и не упадет елка,— деловито сипит Котька.

— На подставке одной далеко не уедешь,— возражаю

я.— Главная опасность — это хлопушки. Знавал я такую одну семью... как бишь их? Да! Тоже Петровы. Так вот один из мальчуганов взял хлопушку, поднес к глазам, дернул где следует — бац! Глаз пополам, и ухо на ниточке!

Мы все трое замолкаем и думаем — каждый о своем.

— А вот я тоже знала семью,— вдруг начинает задумчиво и тихо, опустив головенку, Лиля.— Ихняя фамилия была Курицыхины. И тоже, когда было рождество, так ихний папа говорит: «Не будет вам завтра елки!» Они завтра тоже легли спать днем, и ихний папа тоже лег спать днем... Нет, перед вечером, когда бы была зажгита елка, если б он сделал. Так они тогда легли. Ну, легли все и спят, потому елки нет, делать нечего. А воры видят, что все спят, забрались и все покрали, что было, чего и не было — все взяли. Ну, проснулись, понятно, и плакали все.

— Это, наверное, был такой случай?— спрашиваю я, делая встревоженное лицо.

— Д... да,— не совсем убежденно отвечает Лиля.

— Значит, если я не устрою елки, к нам тоже заберутся воры?

— Заберутся,— таинственно шепчут оба.

— А если вы не ляжете спать в это время?

— Нет, мы ляжем!!!

Дольше терзать их жалко. И так на лицах застыла мучительная гримаса трепетного ожидания, а глаза выражают то страх, то надежду, то уныние и разочарование. Не желая, однако, сразу сдать позицию, я задаю преглупый вопрос:

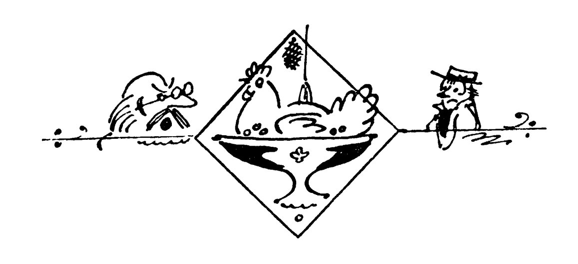
— А вы какую бы хотели елку: зеленого цвета или розового?

— Зеленую...

— Ну, раз зеленую — тогда можно. А розовую уж никак бы нельзя.

* * *

Как щедры дети: поцелуи, которыми меня осыпают, совсем не заслужены.



ИНДЕЙКА С КАШТАНАМИ

Жена заглянула в кабинет и сказала мужу:

— Василь Николаич, там твой племянник, Степа, пришел...

— А зачем?

— Да так, говорит, поздравить хочу.

— А ну его к черту.

— Ну, все-таки неловко — твой же родственник. Ты выйди, поздоровайся. Ну, дай ему рубля три, в виде подарка.

— А ты сама не можешь его принять?

— Здравствуйте! Я и то, я и се, я и туда, я и сюда, я и за индейкой присматривай, я и твоих племянников принимай?...

— Да, кстати, что же будет с индейкой?

— Это уж как ты хочешь. И сегодня гостей на индейку позвал, и завтра гостей на индейку позвал! А индейка одна. Не разорваться же ей... Распорядился — нечего сказать!!

— А нельзя половину сегодня подать, половину завтра?

— Еще что выдумай! На весь город засмеют. Кто же это к столу пол-индейки подает?

— Гм... да... Каверзная штука. Ну, где твой этот дурацкий Степа — давай его сюда!

— Какой он мой?! Твой же родственник. В передней сидит. Позвать?

— Зови. Я его постараюсь сплавить до приезда гостей.

*
* *
*

В кабинет вошел племянник, Степа,— существо, совсем не напоминающее распространенный тип легко-

мысленных, расточительных, элегантных племянников, пользующихся родственной слабостью богатого дяди.

Был Степа высоким, скуластым молодцом, с громадным зубастым ртом, искательными, навсегда испуганными глазами и такой впалой грудью, что, ходи Степа голым,— в этой впадине в дождливое время всегда бы застаивалась вода.

Руки из рукавов пиджака и ноги из брюк торчали вершка на три больше, чем это допустил бы легкомысленный племянник из великосветского романа, а карманы пиджака так оттопыривались, будто Степа целый год таскал в каждом из карманов по большому астраханскому арбузу. Брюки на коленях тоже были чудовищно вздуты, как сочленения на индусском бамбуке.

Бровей не было. Зато волосы на лбу спускались так низко, что являлось подозрение: не всползли ли брови в один из периодов изумленности Степы кверху и не смешались ли там раз навсегда с головными волосами? В ущелье, между щекой и крылом носа, пряталась огромная розовая бородавка, будто конфузясь блестящего общества верхней волосатой губы и широких мощных ноздрей...

Таков был этот бедный родственник Степа.

— Ну, здравствуй, Степа,— приветствовал его дядя.— Как поживаешь?

— Благодарю, хорошо. Поздравляю с праздником и желаю всего, всего... этого самого.

— Ага, ну-ну. А ты, Степа, тово... Гм! Как это говорится... Ты, Степа, не мог бы мне где-нибудь индейки достать, а?

— Сегодня? Где же ее нынче, дядюшка, достать. Ведь первый день рождества. Все закрыто.

— Ага... Закрыто... Вот, брат Степан, история у меня случилась: индейка-то у нас одна, а я и на сегодня и на завтра позвал гостей именно на индейку. Черт меня дернул, а?

— Да, положение ваше ужасное,— покорно согласился Степа.— А вы сегодня скажите, что больны...

— Кой черт поверит, когда я уже у обедни был.

— А вы скажите, что кухарка пережарила индейку.

— А если они из сочувствия на кухню полезут смотреть, что тогда?.. Нет, надо так, чтобы индейку они видели, но только ее не ели. А завтра разогреем, и будет она опять, как живая.

— Так пусть кто-нибудь из гостей скажет, что уже сыты и что индейку резать не надо...

Дядя, закусив верхнюю губу, задумчиво глядел на племянника и вдруг весь засветился радостью...

— Степа, голубчик! Оставайся обедать. Ты ж ведь родственник, ты — свой, тебя стесняться нечего — поддержи, Степа, а? Подними ты свой голос против индейки.

— Да удобно ли мне, дядюшка... Вид-то у меня такой... не фельтикультяпный.

— Ну вот! Я тебя, брат, за почетного гостя выдам, ухаживать за тобой буду. А когда в самом конце обеда подадут индейку — ты и рявкни, этак посолиднее: «Ну зачем ее резать зря, все равно никто есть не будет, все сыты — уберите ее».

— Дядюшка, да ведь меня хамом про себя назовут.

— Ну, большая важность. Не вслух же. А может быть, и просто скажут: оригинал. Я, конечно, буду упрашивать тебя, настаивать, а ты упрись да еще поторопи, чтобы унесли индейку, а то, неровен час, кто-нибудь и соблазнится. Это действительно номер! Да ты чего стоишь, Степа? Присядь. Садись, Степанеско!

— Дядюшка, вы мне в этом году денег не давайте,— сказал Степа, критически и с явным презрением оглядывал свои заскорузлые сапоги.— А вы мне лучше ботинки свои какие-нибудь дайте. А то я совсем тово...

— Ну, конечно, Степан! Какие там могут быть разговоры... Я тебе, Степандряс, замечательные ботинки отхвачу!.. Хе-хе... А ты, брат, не дура, Степанадзе... И как это я раньше не замечал?.. Решительно — не дурак.

*
* *
*

Когда гости усаживались за стол, Василий Николаевич представил Степу:

— А вот, господа, мой родственник и друг Стефан Феодорович! Большой оригинал, но человек бывалый. Садитесь, Стефан Феодорович, вот тут. Водочки прикажете или наливочки?

Степа приятно улыбнулся, потер огромные костлявые руки одну о другую и хлопнул большую рюмку водки.

— У меня есть знакомый генерал,— заявил он довольно громко,— так этот генерал водку закусывает яблоком!

— Это какой генерал,— заискивающе спросил дядя,— у которого вы, Стефан Феодорович, ребенка крестили?

— Нет, то — другой. То мелюзга, простой генерал-майор... А вот в Европе, знаете,— совсем нет генералов! Ей-бо право.

— А вы там были?— покосился на него сосед.

— Конечно, был. Я, вообще, каждый год куда-нибудь. В опере бываю часто. Вообще, не понимаю, как можно жить без развлечений.

Две рюмки и сознание, что какие бы слова он ни говорил — дядя не оборвет его,— все это приятно возбуждало Степу.

— Да-с, господа,— сказал он, с дикой энергией прожевывая бутерброд с паюсной икрой.— Вообще, знаете, Митюков такая личность, которая себя еще покажет. Конечно, Митюков, может быть, с виду неказист, но Митюкова нужно знать! Беречь нужно Митюкова.

— Стефан Феодорович,— ласково сказал дядя,— возьмите еще пирожок к супу.

— Благодарствуйте. Вот англичане совсем, например, супу не едят... А возьмите, например, мадам, они вас по уху съездят — дверей не найдете. Честное слово.

Худо ли, хорошо ли, но Степа завладел разговором.

Он рассказал, как у них в дровяном складе, где он служил, отдавило приказчику ногу доской, как на их улице поймали жулика, как в него, в Степу, влюбилась барышня, и закончил очень уверенно:

— Нет-с, что там говорить! Митюкова еще не знают! Но Митюков еще себя покажет. О Митюкове еще будут говорить, и еще много кому испортит крови Митюков! Да что толковать — у Митюкова, конечно, есть свои завистники, но... Митюков умственно топчет их ногами.

— Позвольте... да этот Митюков...— начала одна дама.

— Ну?

— Кто он такой, этот замечательный Митюков?

— Митюков? Я.

— А-а... А я думала — кто.

— Митюкова трудно раскусить, но если уж вы раскусили...

В это время как раз и подали индейку. Все жадно втянули ноздрями лакомый запах, а Степа встал, всплеснул руками и сказал самым великосветским образом:

— Еще и индейка? Нет, это с ума сойти можно! Этак вы нас всех насмерть закормите. Ведь все уже сыты, не правда ли, господа?! Не стоит ее и начинать, индейку. Не правда ли?

Все пробормотали что-то очень невнятное.

— Ну да! — вскричал Степа.— То же самое и я говорю. Не стоит ее и начинать! Унесите ее, ей-Богу.

— А может быть, скушаете по кусочку? — нерешительно сказал хозяин, играя длинным ножом.— Индеечка будто хорошая... С каштанами.

Длинный Степа вдруг перегнулся пополам и приблизил лицо почти к самой индейке.

— Вы говорите, с каштанами?! — странно прохрипел он.

Губы его вдруг увлажнились слюной, а глаза сверкнули такой голодной истерической жадностью, что хозяин взял блюдо и с фальшивой улыбкой сказал:

— Ну, если все отказываются — придется унести.

— С каштанами?!— простонал Степа, полузакрыв глаза.— Ну, раз с каштанами, тогда я... не откажусь съесть кусочек.

Нож дрогнул в руке хозяина... Повис над индейкой... Была слабая надежда, что Степа скажет: нет, я пошутил — унесите!

Но не та́кой человек был Степа, чтобы шутить в подобном случае... Стараясь не встречаться взором с глазами дяди, он скомандовал:

— Вот мне, пожалуйста... От грудки отрежьте и эту ножку...

— Пожалуйста, пожалуйста — сделайте одолжение,— дрогнувшим голосом сказал хозяин.

— Тогда уж, раз вы начинаете — и мне кусочек,— подхватила соседка Степы, не знавшая, что такое Ми́тюков.

— И мне! И мне!..

А когда (через две минуты) на блюде лежал унылый индейкин остов, хозяин встал и решительно сказал Степе:

— Ах, да! Я и забыл: вас генерал к телефону вызывал. Пойдем, я вам покажу телефон... Извините, господа.

Степа покорно встал и, как приговоренный к смерти за палачом, покорно последовал за дядей, догрызая индюшачью ногу...

Пока они шли по столовой, хозяин говорил одним тоном, но едва дверь кабинета за ними закрылась — тон его переменился.

Вышло приблизительно так:

— Ах, Стефан Феодорович, этот генерал без вас жить не может... Да оно, положим, вас все любят. У вас такой

тонкий своеобразный ум, что... Что ж ты, мерзавец этакий, а? Говорил, что будешь отказываться, а сам первый и полез на индейку, а? Это что ж такое? Рыбой я тебя не кормил? Супом и котлетами не кормил? Думал, до горла ты набит, ухаживал за тобой, как за первым человеком, а ты вон какая свинья? Уже все гости было отказались, а ты тут, каналья, вот так и выскочил, а?

Степа шел за ним, прижимая костлявую руку к груди, и говорил плачущим голосом:

— Дядечка, но ведь вы не предупредили, что индейка с каштанами будет! Зачем вы умолчали? А я этих каштанов с индейкой никогда и не ел... Поймите, дядечка, что это не я, а каштаны погубили индейку. Я уж совсем было отказался, вдруг слышу: каштаны! каштаны!

— Вон, негодяй! Больше и носу ко мне не показывай.

Дядя выхватил из Степиной руки обгрызанную ногу и злобно шлепнул ею Степу по щеке:

— Чтоб духом твоим у меня не пахло!!

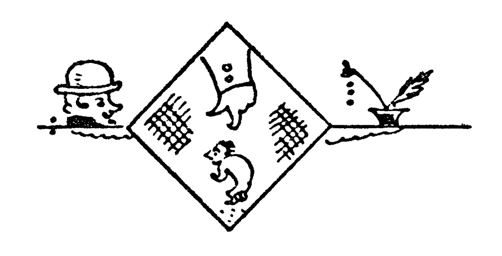
— Дядя, вы насчет же ботинок говорили...

— Что-о-о-о??! Марина, проводи барина! Пальто ему!

*
* *
*

Втянув шею в плечи, стараясь защитить от холода ветхим, коротким воротничком осеннего пальто свои большие оттопыренные уши, шел по улице Степа. Снег, лежавший раньше толстым спокойным пластом, вдруг затанцевал и стал, как юркий бес, вертеться вокруг печального Степы... Руки, не прикрытые короткими рукавами пальто, мерзли, ноги мерзли, шея мерзла...

Он шел, уткнув нос в грудь, как журавль, натыкаясь на прохожих, и молчал, а о чем думал — неизвестно.



В ОЖИДАНИИ УЖИНА

Обращая свои усталые взоры к восходу моей жизни, я вижу ярче всего себя — крохотного ребенка с бледным серьезным личиком и робким тихим голоском — за беседой с пришедшими к родителям гостями.

Беседа эта была очень коротка, но оставляла она по себе впечатление сухого унылого самума, мертвящего все живое.

Большой, широкий гость с твердыми руками и жесткой, пахнущей табаком бородой глупо тыкался из угла в угол в истерическом ожидании ужина и, исчерпав все мотивы в ленивой беседе с отцом и матерью, наконец обращал свои скучающие взоры на меня...

— Ну-с, молодой человек,— с небрежной развязностью спрашивал он.— Как мы живем?

Первое время я относился к такому вопросу очень серьезно... Мне казалось, что если такой большой гость задает этот вопрос — значит, ему мой ответ очень для чего-то нужен.

И я, подумав некоторое время, чтобы осведомить гостя как можно точнее о своих делах, вежливо отвечал:

— Ничего себе, благодарю вас. Живу себе помаленьку.

— Так-с, так-с. Это хорошо. А ты не шалишь?

Нужно быть большим дураком, чтобы ждать на такой вопрос утвердительного ответа. Конечно, я отвечал отрицательно:

— Нет, не шалю.

— Тэк-с, тэк-с. Ну, молодец.

Постояв надо мной минуту в тупом раздумье (что бы еще спросить?), он поворачивался к родителям и начинал говорить, стараясь засыпать всякой дрянью широкий овраг, отделяющий его от ужина:

— А он у вас совсем мужчина!

— Да, растет так, что прямо и незаметно. Ведь ему уже девятый год.

— Что вы говорите?!— восклицал гость с таким изумлением, как будто бы он узнал, что мне восемьдесят лет.— Вот уж никак не предполагал!

— Да, да, представьте.

Первое время моему самолюбию очень льстило, что все обращали такое лихорадочное внимание на меня, но скоро я понял эту нехитрую механику, диктуемую законами гостеприимства: родители очень боялись, чтобы гости в ожидании ужина не скучали, а гости, в свою очередь, никак не хотели показать, что они пришли только ради ужина и что им мой возраст да и я сам так же интересны, как прошлогодний снег.

И все же после первого гостя передо мной — скромно забившимся в темный уголок за роялем — вырастал другой гость с худыми узловатыми руками и небритой щетиной на щеках (эти особенности гостей прежде всего запоминались мною благодаря многочисленным фальшивым поцелуям и объятиям):

— А, вы тут, молодой человек. Ну что — мечтаешь все?

— Нет,— робко шептал я.— Так... сижу.

— Так... сидишь?! Ха-ха! Это очень мило! Он «так сидит». Ну, сиди. Маму любишь?

— Люблю...

— Правильно.

Он делал движение, чтобы отойти от меня, но тут же вспомнив, что до желанного ужина добрых десять минут,— раскачавшись на длинных ногах, томительно спрашивал:

— Ну, как наши дела?

— Ничего себе, спасибо.

— Учишься?

— Учусь.

Он скучающе отходил от меня, но едва лицо его поворачивалось к родителям — оно совершенно преображалось: восторг был написан на этом лице...

— Прямо замечательный мальчик! Я спрашиваю: учишься? А он, представьте: учусь,— говорит. Сколько ему?

— Девятый.

Остальные гости тоже поворачивали ко мне скучающие лица, и разговор начинал тлеть, чадить и дымить, как плохой костер из сырых веток.

— Неужели девятый? А я думал — семь.

— Время-то как идет!

— И не говорите! Только в позапрошлом году был седьмой год, а теперь уже девятый.

Он говорил это, а в то же время одно ухо его настороженно приподнималось, как у кошки, услышавшей царапанье крысы под полом: в соседней комнате, накрывая на стол, лязгнули ножом о тарелку.

— Дети очень быстро растут.

— Да, он потому такой и худенький. Это от роста.

— Вырастешь — большой будешь,— делает меткое замечание рыжий гость, продвигаясь ближе к дверям, ведущим в столовую.

Выходит горничная, шепчет что-то матери; все вздрагивают, как от электрического тока, но в силу законов гостеприимства не показывают вида, что готовы сорваться и побежать в столовую. Наоборот, у всех простодушные лица, и игра в спокойствие достигает апогея:

— Вы его в гимназию думаете или в реальное?

— Не знаю еще... Реальное, я думаю, лучше.

— О, безусловно! Реальное — это такая прелесть. Если вы хотите его счастья, я позволю дать вам такой совет...

— Пожалуйте, господа, закусить,— раздается голос отца из столовой.

И вот — ужас!— совет, от которого зависит все мое счастье, так и не дается благожелательным гостем. Он подскакивает, будто бы кресло им выстрелило, но сейчас же спохватывается и говорит:

— Ну зачем это, право! Такое беспокойство вам, ей-Богу.

На всех лицах как будто отражается невидимое солнце; все потирают руки, все переминаются с ноги на ногу, с тоской давая дорогу дамам, которых они в глубине души готовы сшибить ударом кулака и, перепрыгнув через них, на крыльях ветра помчаться в столовую; у всех лица, помимо воли, растягиваются в такую широкую улыбку, что губы входят в берега только после первого куска отправленной в рот семги...

Подумать только, что все это, все эти неуловимые для грубого глаза штрихи я подметил в детстве, только в моем нежном восприимчивом детстве, когда все так важно, так значительно. Теперь наблюдательность огрубела, и все, что казалось раньше достойным пристального внимания,— теперь сделалось обычным, ординарным.

Чистая, нежная пленка, на которой раньше отражался каждый волосок, так исцарапалась за эти десятки лет, так огрубела, загрязнилась, что только грубое помело способно оставить на этой пленке заметный чувствительный след.

*
* *
*

Вот странно: почему, бишь, это я вспомнил сейчас все рассказанное выше...

Что заставило меня из пыльной мглы забытого вытащить маленького тихого мальчика с худым бледным личиком, вытащить всех этих черных и рыжих гостей с колючими бородами и широкими твердыми руками — всех этих больших, скучающих людей, которые, тупо уставившись на меня, спрашивали в тоскливом ожидании заветного ужина:

— Ну, как мы живем?

Почему я все это вспомнил?

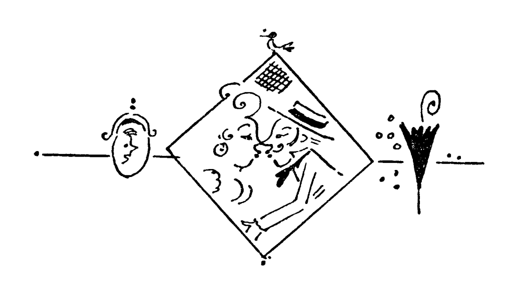
Ах, да!

Дело вот в чем: сейчас я стою — большой взрослый человек — перед маленьким мальчиком, сыном хозяина дома, и спрашиваю его, покачиваясь на ленивых ногах:

— Ну, как мы живем?

Со взрослыми у меня разговоры все исчерпаны, ужин будет только через полчаса, а ждать его так тоскливо...

— Маму свою любишь?..



МОЛОДНЯК

Нет ничего бескорыстнее детской дружбы... Если проследить начало ее, ее истоки, то в большинстве случаев наткнешься на самую внешнюю, до смешного пустую причину ее возникновения: или родители ваши были «знакомы

домами» и таскали вас, маленьких, друг к другу в гости, или нежная дружба между двумя крохотными человечками возникла просто потому, что жили они на одной улице, или учились оба в одной школе, сидели на одной скамейке — и первый же разделенный братски пополам и съеденный кусок колбасы с хлебом посеял в юных сердцах семена самой нежнейшей дружбы.

Фундаментом нашей дружбы — Мотька, Шаша и я — послужили все три обстоятельства: мы жили на одной улице, родители наши были «знакомы домами» (или, как говорят на юге — «знакоми домамы»); и все трое вкусили горькие корни учения в начальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на длинной скамейке, как желуди на одной дубовой ветке.

У философов и у детей есть одна благородная черта — они не придают значения никаким различиям между людьми — ни социальным, ни умственным, ни внешним. У моего отца была галантерейная лавка (аристократия), Шашин отец работал в порту (плебс, разночинство), а Моткина мать просто существовала на проценты с грошового капитала (рантье, буржуазия), умственно Шаша стоял гораздо выше нас с Мотькой, а физически Мотька почитался среди нас — веснушчатых и худосочных — красавцем.

Ничему этому мы не придавали значения... Братски воровали незрелые арбузы на баштанах, братски их пожирали и братски же катались потом по земле от нестерпимой желудочной боли. Купались втроем, избивали мальчишек с соседней улицы втроем, и нас били тоже всех трех — единодушно и нераздельно.

Если в одном из трех наших семейств пеклись пироги — ели все трое, потому что каждый из нас почитал святой обязанностью с опасностью для фасада и тыла воровать горячие пироги для всей компании.

У Шашиного отца — рыжебородого пьяницы — была прескверная манера лупить своего отпрыска, где бы он его ни настигал, а так как около него всегда маячили и мы, то этот прямолинейный демократ бил и нас, на совершенно равных основаниях.

Нам и в голову не приходило роптать на это, и отводили мы душу только тогда, когда Шашин отец брел обедать, проходя под железнодорожным мостом, а мы трое стояли на мосту и, свесив головы вниз, заунывно тянули:

Рыжий, красный,
Человек опасный...

Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал...

— Сволочи!— грозил снизу кулаком Шашин отец.

— А ну иди сюда, иди,— грозно говорил Мотька.— Сколько вас нужно на одну руку?

И если рыжий гигант взбирался по левой стороне насыпи, мы, как воробьи, вспархивали и мчались на правую сторону — и наоборот. Чего там говорить — дело было беспроигрышное.

Так счастливо и безмятежно жили мы, росли и развивались до шестнадцати лет.

А в шестнадцать лет дружно, взявшись за руки, подошли мы к краю воронки, называемой жизнью, как щепки попали в водоворот, и водоворот закружил нас.

Шаша поступил в наборщики в типографию «Электрическое усердие». Мотю мать отправила в Харьков в какую-то хлебную контору, а я остался непристроенным, хотя отец и мечтал «определить меня на умственные занятия» — что это за штука, я и до сих пор не знаю. Признаться, от этого сильно пахло писцом в мещанской управе, но, к моему счастью, не оказалось вакансий в означенном мрачном и скучном учреждении...

С Шашей мы встречались ежедневно, а где был Мотька и что с ним — об этом ходили только туманные слухи, сущность которых сводилась к тому, что он удачно «определился на занятия» и что сделался он таким франтом, что не подступись.

Мотька постепенно сделался объектом нашей товарищеской гордости и лишенных зависти мечтаний возвыситься со временем до него, Мотьки.

И вдруг получилось сведение, что Мотька должен прибыть в начале апреля из Харькова «в отпуск с сохранением содержания». На последнее усиленно напирала Моткина мать, и в этом «сохранении содержания» видела бедная женщина последний лавр в победном венке завоевателя мира Мотьки.

*
* *
*

В этот день не успели закрыть «Электрическое усердие», как ко мне ворвался Шаша и, сверкая глазами, светясь от восторга, как свечка, сообщил, что уже видели Мотьку едущим с вокзала и что на голове у него настоящий цилиндр!..

— Такой, говорят, франт,— горделиво закончил Шаша,— такой франт, что пусти — вырвусь.

Эта неопределенная характеристика франтовства разожгла меня так, что я бросил лавку на приказчика, схватил фуражку — и мы помчались к дому блестящего друга нашего.

Мать его встретила нас несколько важно, даже с примесью надменности, но мы впопыхах не заметили этого и, тяжело дыша, первый делом потребовали Мотю.

Ответ был самый аристократический:

— Мотя не принимает.

— Как не принимает?— удивились мы.— Чего не принимает?

— Вас принять не может. Он сейчас очень устал. Он сообщит вам, когда сможет принять.

Всякой шикарности, всякой респектабельности должны быть границы. Это уже переходило даже те широчайшие границы, которые мы себе начертили.

— Может быть, он нездоров?..— попытался смягчить удар деликатный Шаша.

— Здоров-то он здоров... Только у него, он говорит, нервы не в порядке... У них в конторе перед праздниками было много работы... Ведь он теперь уже помощник старшего конторщика. Очень на хорошей ноге...

Нога, может быть, была и подлинно хороша, но нас она, признаться, совсем придавила: «Нервы, не принимает»...

Возвращались мы, конечно, молча. О шикарном друге впредь до выяснения не хотелось говорить. И чувствовали мы себя такими забитыми, так униженно жалкими, провинциальными, что хотелось и расплакаться и умереть или, в крайнем случае, найти на улице сто тысяч, которые дали бы и нам шикарную возможность носить цилиндр и «не принимать» — совсем как в романах.

— Ты куда?— спросил Шаша.

— В лавку. Скоро запирать надо. (Боже, какая проза!) А ты?

— А я домой... Выпью чаю, поиграю на мандолине и завалюсь спать.

Проза не меньшая! Хе-хе.

* *
*

На другое утро — было солнечное воскресенье — Мотькина мать занесла мне записку: «Будьте с Шашей в городском саду к 12 часам. Нам надо немного объясниться и пересмотреть наши отношения. Уважаемый вами Матвей Смелков».

Я надел новый пиджак, вышитую крестиками белую рубашку, зашел за Шашей — и побрели мы со стесненными сердцами на это дружеское свидание, которого мы так жаждали и которого так инстинктивно, панически боялись.

Пришли, конечно, первыми. Долго сидели с опущенными головами, руки в карманах. Даже в голову не пришло обидеться, что великолепный друг наш заставляет ждать так долго.

Ах! Он был действительно великолепен... На нас надвигалось что-то сверкающее, пестрое, до крика элегантное, бряцающее многочисленными брелоками и скрипящее лаком желтых ботинок с перламутровыми пуговицами.

Пришелец из неведомого мира графов, золотой молодежи, карет и дворцов, он был одет в коричневый жакет, белый жилет, какие-то сиреневые брючки, а голова увенчивалась сверкающим на солнце цилиндром, который если и был мал, то размеры его уравновешивались огромным галстуком с таким же огромным бриллиантом. Палка с лошадиной головой обременяла правую аристократическую руку. Левая рука была обтянута перчаткой цвета освежеванного быка. Другая перчатка высовывалась из внешнего кармана жакета так, будто грозила нам своим вялым указательным пальцем: «Вот я вас!.. Отнеситесь только без должного уважения к моему носителю».

Когда Мотя приблизился к нам развинченной походкой пресыщенного денди, добродушный Шаша вскочил и, не могши сдержать порыва, простер руки сиятельному другу:

— Мотька! Вот, брат, здорово!..

— Здравствуйте, здравствуйте, господа,— солидно кивнул головой Мотька и, пожав наши руки, опустился на скамейку...

Мы оба стояли.

— Очень рад видеть вас... Родители здоровы? Ну, слава Богу, приятно, я очень рад.

— Послушай, Мотька...— начал я с робким восторгом в глазах.

— Прежде всего, дорогие друзья,— внушительно и веско сказал Мотька.— Мы уже взрослые, и поэтому «Мотьку» я считаю определенным «кельвыражансом»... хе-хе... Не правда ли? Я уже теперь Матвей Семеныч — так меня и на службе зовут, а сам бухгалтер за ручку здоровается. Оборот предприятия два миллиона. Вообще, мне бы хотелось пересмотреть в корне наши отношения.

— Пожалуйста, пожалуйста,— пробормотал Шаша. Стоял он согнувшись, будто свалившимся невидимым бревном ему переломило спину.

Перед тем как положить голову на плаху, я малодушно попытался отодвинуть этот момент.

— Теперь опять стали носить цилиндры?— спросил я с видом человека, которого научные занятия изредка отвлекают от капризов изменчивой моды.

— Да, носят,— снисходительно ответил Матвей Семеныч.— Двенадцать рублей.

— Славные брелочки. Подарки?

— Это еще не все. Часть дома. Все на кольце не помещаются. Часы на камнях, анкер, завод без ключа. Вообще в большом городе жизнь — хлопотливая вещь. Воротнички «Монополь» только на три дня хватают, маникюр, пикники разные.

Я чувствовал, что Матвей Семенович тоже тянет, что ему тоже не по себе... Но, наконец, он решился. Тряхнул головой так, что цилиндр вспрыгнул на макушку,— и начал:

— Вот что, господа... Мы с вами уже не маленькие и вообще... детство это одно, а когда молодые люди, так совсем другое. Другой, например, добился до какого-нибудь там лучшего общества, до интеллигенции, а другие есть из низших классов, и если бы вы, скажем, увидели в одной карете графа Кочубей рядом с нашей Миронихой, которая, помните, на углу маковники продавала, так вы бы первые смеялись до безумия. Я, конечно, не Кочубей, но у меня есть известное положение, ну, конечно, и у вас есть известное положение, но не такое, а что мы были маленькими вместе, так это мало ли что... Вы сами понимаете, что мы уже друг другу не пара... и... тут, конечно, обижаться нечего — один достиг, другой не достиг, но, впрочем, если хотите, мы будем изредка встречаться около железнодорожной будки, когда я буду делать прогулку,— все равно там публики нет, и мы будем как свои. Но, конечно, без особой фамильярности — я этого не люблю. Я, конечно, вхожу в ваше положение — вы меня

любите, вам даже, может быть, обидно, и поверьте... я со своей стороны... если могу быть чем-нибудь полезен...

В этом месте Матвей Семенович взглянул на свои часы нового золота и заторопился:

— О-ля-ля! Как я заболтался... Семья помещика Грузикова ждет меня на пикник, и если я запоздаю, это будет нонсенс. Желаю здравствовать! Желаю здравствовать! Привет родителям!..

И он ушел, сверкающий и даже немного гнущийся под бременем респектабельности, усталый от повседневного вихря светской жизни.

*
* *
*

В этот день мы с Шашей, заброшенные, будничные, лежа на молодой травке железнодорожной насыпи, в первый раз пили водку и в последний раз плакали.

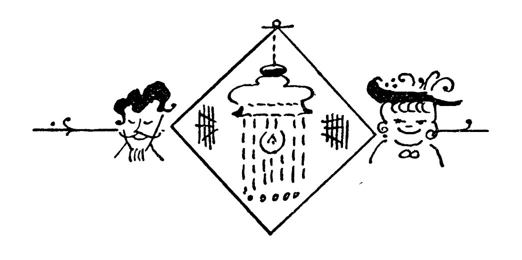
Водку мы пьем и теперь, но уже больше не плачем.

Это были последние слезы детства. Теперь — засуха.

И чего мы плакали? Что хоронили? Мотька был напыщенный дурак, жалкий третьестепенный писец в конторе, одетый, как попугай, в жакет с чужого плеча; в крохотном цилиндре на макушке, в сиреневых брюках, обвешанный медными брелоками,— он теперь кажется мне смехотворным и ничтожным, как червяк без сердца и мозга,— почему же мы так убивались, потеряв Мотьку?..

А ведь — вспомнишь — как мы были одинаковы, как три желудя на дубовой ветке, когда сидели на одной скамейке у Марьи Антоновны.

Увы! Желуди одинаковые, но когда вырастут их них молодые дубки — из одного дубка сделают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого...



ОТЕЦ

Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.

Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков.

Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других... Он знал несколько языков, но это были странные, не нужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать — такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот, до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы, но тоже они были как-то ни к чему — делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:

— Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!

— А матерьял стоил тридцать!— подхватывала мать.

— Молчи, Варя,— говорил отец.— Ты ничего не понимаешь...

— Конечно,— горько усмехаясь, возражала мать.— Ты много понимаешь...

Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности — с коммерческой точки зрения — тех операций, которые в магазине происходили.

Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом... Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:

— Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.

— Ты ничего не понимаешь, Варя,— деликатно возражал отец.— Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.

— Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне — так всем и давать в долг?

— Ты ничего не понимаешь, Варя,— печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.

Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам, и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.

— Ты ничего не понимаешь, Васька,— сказал, сконфузившись, отец.

Я любил книжки, а он купил мне полдюжины каких-то голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план — открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.

Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычная его страсть — покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.

*

Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, которых вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.

— Что это такое? — с беспокойством спросила мать.

Лучезарное лицо отца сияло годостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.

— Увидите,— дрожа от нетерпения, говорил он.— Сейчас поставим его.

Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.

— Ну? — торжествующе обратился отец к окружающим.— Во сколько вы оцените эту штуку?

— Да для чего она? — спросила мать.

— Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты — сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?

Алеша — льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклонная душонка — всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:

— Какая прелесть! Сколько стоит! Четыреста двадцать пять рублей!

— Ха-ха-ха!— торжествующе захохотал отец.— А ты, Варя, сколько скажешь?

Мать скептически покачала головой.

— Да что ж... рублей пятнадцать за него еще можно дать.

— Много ты понимаешь! Можете представить — весь этот мрамор, красное дерево и все — стоит по случаю всего двадцать пять рублей. Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.

В монументальный рукомойник налили ведро воды... Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.

— Течет!— сказал отец.— Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.

Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку.

Умывальник поселился у нас.

Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:

— Вы ничего не понимаете!

У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему — покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.

Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била.

Но струя не дремала.

Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.

Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала...

*
* *
*

Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье... Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку.

То была странная процессия.

Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и

стеклянным матовым полушарием, величиной с крышу небольшого сарайчика.

— Что это?— с тайным страхом спросила мать.

— Лампа,— весело отвечал отец.

— А я думала — тумба для афиш.

— Не правда ли,— подхватил отец,— прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.

Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного — тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.

— Ну, как думаешь, Алеша... Сколько она стоит?

— Три тысячи!— уверенно сказал Алеша.

— Ха-ха! А ты что скажешь, Варя?

Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.

С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.

— Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа?

— Семь тысяч,— сказал я, обойдя вокруг лампы.— По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.

— Много ты понимаешь!— растерялся отец.

Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начадил, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.

А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.

Отец стоял перед ней в немом восторге.



Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.

— Что еще?— выскочила мать.

— Часы,— счастливо смеясь, сообщил отец.

Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.

По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек...

Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой.

Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.

Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку... Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске...

Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.

Часы пригодились нам как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат... Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.

Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».

Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржаньем.

Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пу-

ста, и только три крашеных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.

— Что ты с ними сделала? — спросили мы мать.

— Продала.

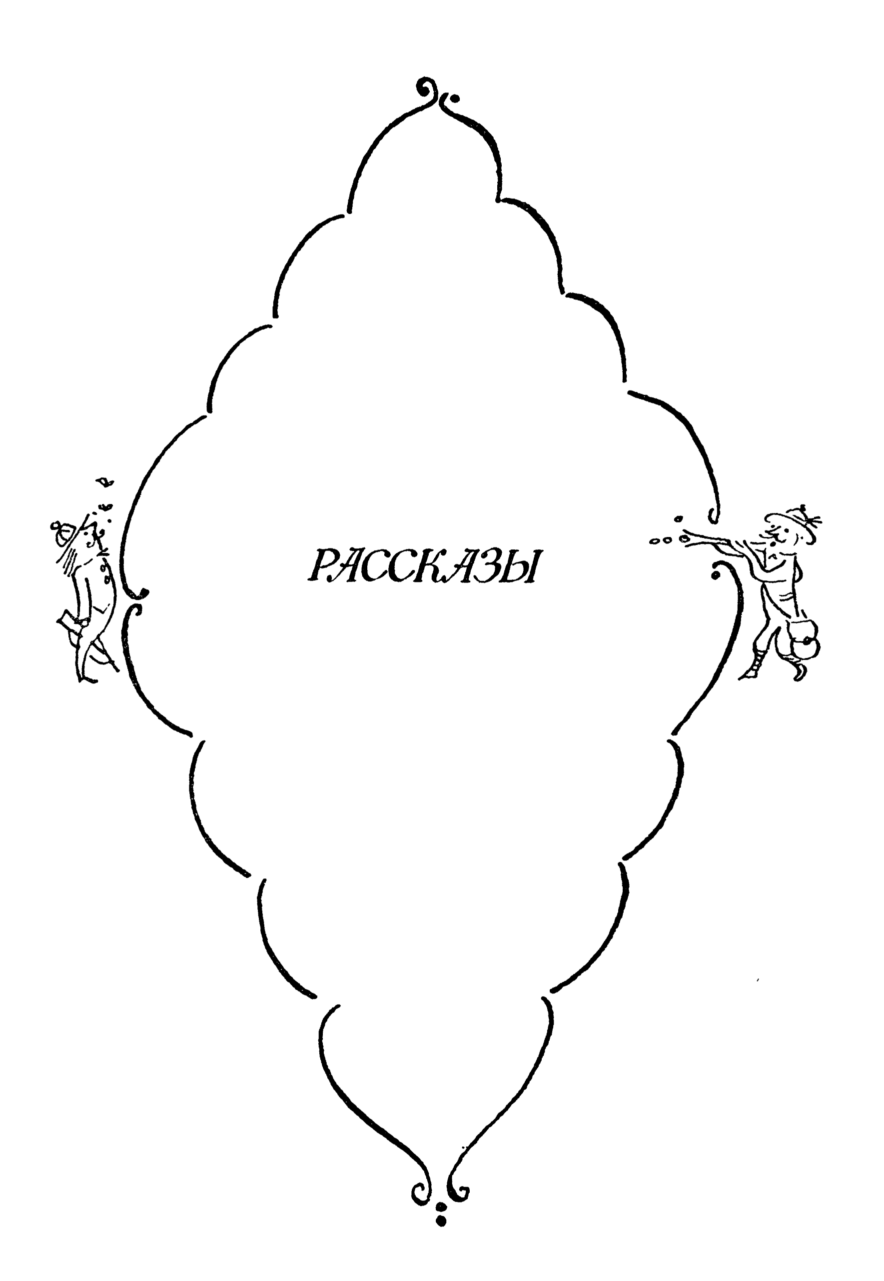
— Много дали? — спросил молчавший доселе отец.

— Три рубля. Только не они дали, а я... Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром...

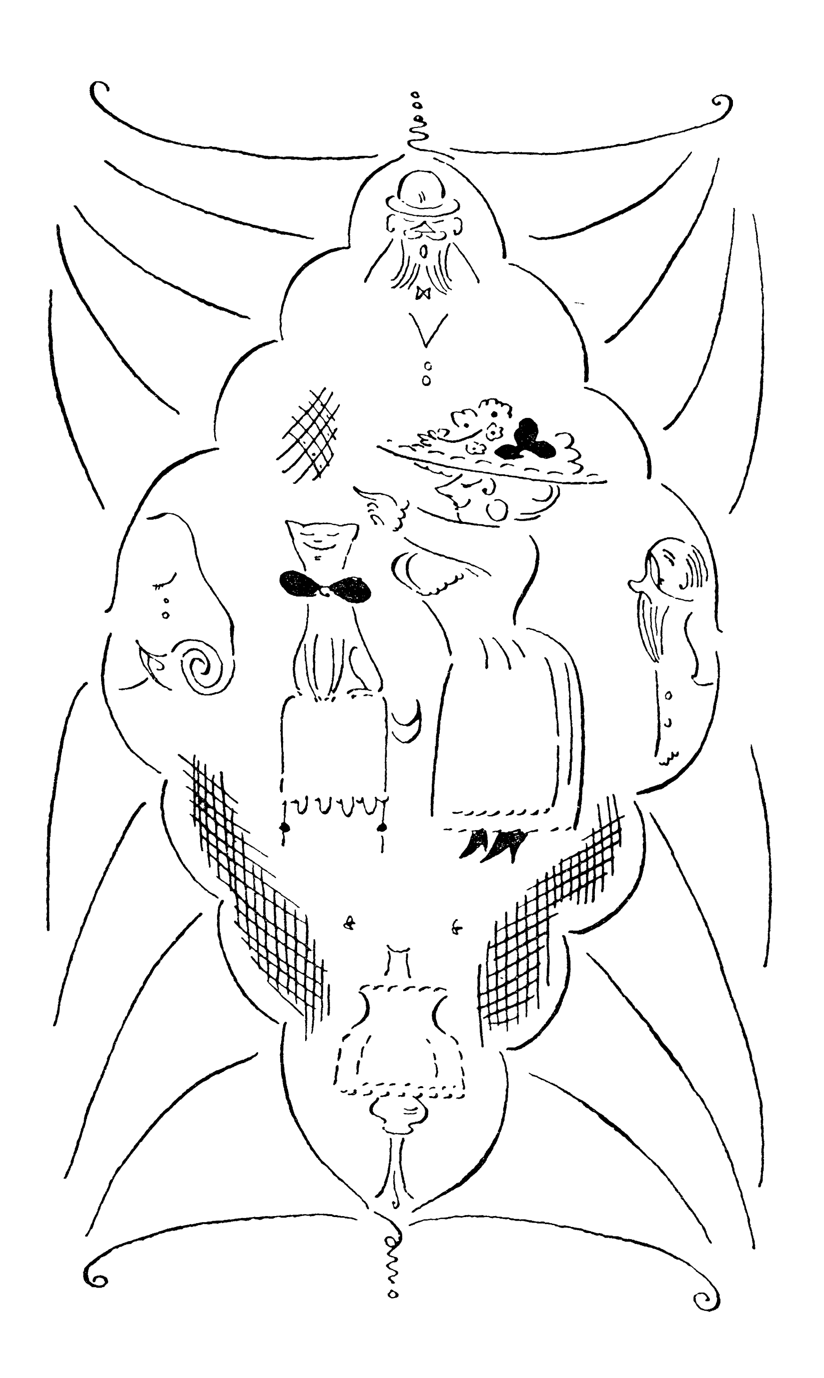
Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:

— Много ты понимаешь!

Теперь он умер, мой отец.



РАССКАЗЫ





АРГОНАВТЫ И ЗОЛОТОЕ РУНО

С тех пор как осенью 1920 года пароход покинул берег Крыма и до самого Константинополя они так и ходили нераздельно вместе — впереди толстый, рыжебородый, со сложенными на груди руками, а за ним, немного сзади, двое: худощавый брюнет с усиками и седенький, маленький. Этот вечный треугольник углом вперед напоминал стадо летящих журавлей.

Только один раз я увидел их не в комбинации треугольника: они дружно выстроились у борта парохода, облокотясь о перила, и поплевывали в тихую воду Черного моря с таким усердием, будто кто-нибудь дал им поручение — так или иначе, а повысить уровень черноморской воды.

Я подошел и бесцельно облокотился рядом.

— Ну что, юноша,— обратился вдруг ко мне седенький.— Как делишки?

— Ничего себе, юноша,— приветливо ответил я.— Дрянь делишки.

— Что думаете делать в Константинополе?

— А черт его знает. Что придется.

— Так нельзя,— наставительно отозвался черноусый мужчина.— Надо заранее выработать план действий, чтобы не очутиться на константинопольском берегу растерянным дураком. Вот мы выработали себе по плану — и спокойны.

— Прекрасное правило,— пришел я в истинное восхищение.— Какие же ваши планы?

Седенький подарил морскую гладь искусным полновесным плевком и, поглядев на удаляющиеся с глаз плоды своего рта, процедил сквозь энергично сжатые губы:

— Газету буду издавать.

— Ого! Где?

— Что значит — где? В Константинополе. Я думаю сразу ахнуть и утреннюю и вечернюю. Чтобы захватить рынок. Вообще Константинополь — золотое дно!

— Дно-то дно,— с некоторым сомнением согласился я.— Только золотое ли?

— Будьте спокойны,— вмешался черноусый.— На этом дне лежат золотые россыпи, только нужно уметь их раскопать, Впрочем, мои планы скромнее.

И две стороны треугольника сейчас же поддержали третью:

— Да, его планы скромнее.

— Журнал будет издавать?— попытался догадаться я.

— Ну что там ваш журнал! Чепуха. Нет, мне пришла в голову свежая мыслишка. Только вы никому из других пассажиров не сообщайте. Узнают — сразу перехватят.

Я твердо поклялся, что унесу эту тайну с собой в могилу.

— Так знайте: я решил открыть в Константинополе русский ресторан.

— Гм... Я, правда, никогда до сих пор не бывал в Константинополе, но... мне кажется, что... там в этом направлении кое-что сделано.

— Черта с два сделано! Разве эти головотяпы сумеют? Нет, у меня все будет особенное: оркестр из живых венгерцев, метрдотель — типичный француз, швейцар — швейцарец с алебардой, а вся прислуга — негры!

— И вы всю эту штуку назовете русским рестораном?

— Почему бы и нет? Кухня-то ведь русская! Щи будут заказывать, кулебяки загибать, жареных поросят зашпаривать. На всю Турцию звон сделаю.

— Но ведь для этого дела нужны большие деньги!

— Я знаю, тысяч десять лир. Но это самое легкое. Найду какого-нибудь богатого дурака-грека — в компании с ним и обтяпаем.

Молчавший доселе бородач вдруг загрохотал, подарил морскую гладь сложным плевком с прихотливой завитушкой и дружески ударил меня по плечу.

— Нет, это все скучная материя — дела, расчеты, выкладки. Вот у меня план так план. Знаете, что я буду делать?

— А Бог вас знает.

— То-то и оно. Ничего не буду делать. Сложа руки буду сидеть. Валюту везу. Ловко, а!

— Замечательно.

— Да-а. Узнает теперь этот Константинополишка Никанора Сырцова! Ей-бо, право! Палец о палец не ударю. Сложа руки и буду сидеть. Поработали, и буде. Ежели встречу там где — шампанеей до краев налью. Да просто заходи в лучший готель и спроси Никанора Сырцова — там я и буду. А може, я в Васькиной газете публиковаться буду: «Такой-то Никанор Гаврилов Сырцов разыскивает родных и знакомых на предмет выпивки с соответствующей закуской». А в кабак мы с тобой будем ходить только в Петькин: пусть нам негры да венгерцы дурака ломают. Поддержим приятеля, хе-хе! Хай живе Украина!

Журавлиный треугольник отделился от перил, взмахнул крыльями и плавно понесся в трюм на предмет насыщения свои пернатых желудков.

*
* *
*

Пока все беженство кое-как утрясалось, пока я лично устраивался — никто из журавлиного треугольника не попадался мне на глаза.

Но однажды, когда я скромно ужинал в уголке шумного ресторана, ко мне подлетел головной журавль — Никанор Сырцов.

— Друг!— завопил он.— Говорил, шампанеей налью — налью! Пойдем до кабинету. Какие цыгане — пальчики оближешь! Как зальются — так или на отцовскую могилу хочется бежать, или кому-нибудь по портрету заехать. Благороднейшие люди.

Он сцепился со мной на абордаж, после долгой битвы победил меня и, взяв на буксир, отшвартовал «до кабинету», который оказался холодной, дымной, накуренной комнатой, наполненной людьми. В руках у них были гитары, на плечах — линялые кунтуши, на лицах скука непроходимая.

— Эх, брат!— воскликнул Сырцов, становясь в позу.— Люблю я тебя, а за что, и сам не знаю. Хороший человек, чтоб ты сдох! Веришь совести — вторую тысячу пропиваю!.. А ну, вы, конокрады, ушкварьте: «Две гитары за стеной»!

Пел Сырцов, рыдал Сырцов в промежутках, и снова плясал Сырцов, оделяя всех алчущих и жаждущих бокалами шампанского и лирами.

— Во, брат!— кричал он, путаясь неверными ногами в

странном танце.— Это я называю жить сложа руки! Вот она, брат, это и есть настоящая жизнь! Ой, жги, жги, жги!

Последний призыв Никанора цыгане приняли вяло и вместо поджога только хлопали бокал за бокалом, зевая, перемигиваясь и переталкиваясь локтями. Впрочем, и сам Сырцов не мог точно указать, какой предмет обречен им на сжигание.

— Постой,— попытался я остановить пляшущего Никанора.— Расскажи мне лучше — что поделывают твои приятели? Открыли ресторан? Издают газету?..

— А черт их знает. Я восьмой день дома не был — так что мне газета! На нос мне ее, что ли?



Шел я однажды вечером по Пти-Шан.

Около знаменитого ресторана «Георгия Карпыча» раздался нечеловеческий вопль:

— Интер-р-есная газета «Пресс дю суар»!* Купите, господин!

Я пригляделся: вопил издатель из журавлиного треугольника.

Очевидно, вся его издательская деятельность ограничилась тем, что он издавал вопли, с головой уйдя в несложное газетное дело сбыта свежих номеров.

— Что же это вы чужую газету продаете?— участливо спросил я.— А своя где?

— Дело, это... налаживается,— нерешительно промямлил он.— Еще месяц, два, и этого... С разрешением дьявольски трудно!..

— А что ваш приятель, как его дело с рестораном?

— Пожалуйте! Тут за углом, второй дом, вывеска. Навестите, он будет рад.

«Слава богу,— подумал я, идя по указанному адресу,— хоть один устроился».

Этот последний, увидав меня, действительно обрадовался.

Подошел к моему столику, обмахнул его салфеткой, вынул из кармана карточку и сказал:

— Вот приятная встреча! Что прикажете? Водочки с закусочкой, горячего или просто чашку кофе?

---

* «Вечерняя газета» (*фр.*).

— Вы что тут, в компании? Нашли дурака-грека с деньгами?

— Нет, собственно, он нашел меня, дурака. Или, вернее, я его, конечно, нашел, ну, так вот... Гм!.. Пока служу. У него, впрочем, действительно есть большие деньги. Я только... этого. Не заинтересован.

— А венгерцев и негров нет?

Он отвернулся к окну и стал салфеткой протирать заплаканное стекло.

— И швейцар ваш без алебарды, обезоруженный, в опорках...

— Шутить изволите. Может, винца прикажете? Хорошее есть...

. . . .

Еще месяц с грохотом пронесся над нашими головами.

Проходя мимо греческого пустынного ресторанчика, я иногда видел дремлющего с салфеткой в руках у стены смелого инициатора дела, построенного на венгерцах, неграх, швейцарах и алебардах.

И по-прежнему издатель на углу яркой улицы издавал стоны:

— «Пресс дю суар»!

Вчера, остановившись и покупая газету, я спросил простодушно:

— А что же ваша собственная газета?

— Наверное, скоро разрешится.

— Ну а что ваш приятель, Никанор Сырцов? По-прежнему сидит сложа руки?

— Сложа-то сложа. Только не сидит, а лежит. От голодного тифа или что-то вроде — помер. Все деньги на цыган да на разные глупости проухал. У меня в конце концов по пяти пиастров перехватывал. Да мне тоже, знаете, их взять неоткуда. Вот тебе и «сложа руки»! Много их, таких дураков.

И когда он говорил это — у него было каменное неподвижное лицо, как у старых боксеров, которых другие боксеры лупили по щекам огромными каменными кулачищами, отчего лицо делается навсегда непробиваемым.

Жестокий это боксер — Константинополь. Каменеет лицо от его ударов.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

Ознакомившись с городом, я решил заняться делами. Узнав, что все деловые люди собираются в специальном кафе на Пере, я пошел туда, потребовал чашку кофе и уселся выжидательно за столик — не наклюнется ли какое дельце.

На ловца, как говорится, и зверь бежит. Ко мне подсел неизвестный господин, потрепал меня по плечу и сказал:

— Здравствуйте, господин писатель! Не узнаете меня?

— Как не узнаю,— с вялой вежливостью возразил я.— Очень даже хорошо узнаю. Как поживаете?

— Дела разные ломаю. А вы?

— Я тоже думаю каким-нибудь делом заняться.

— Лиры есть?

— Немножко есть,— хлопнул я себя по карману.

Лицо моего собеседника выразило напряженное внимание.

— Гм... Что мне для вас придумать?.. Гм... Есть у меня одно дельце, да. Впрочем, поделюсь с вами. Скажите, вы знаете, сколько весит баран?

— Какой баран?— удивился я.

— Обыкновенный. Знаете, сколько он весит?

— А черт его знает! Я до сих пор писал рассказы, а не взвешивал баранов.

— Как же вы не знаете веса барана!— с упреком сказал незнакомец.

— Не приходилось. Впрочем, если нужно, я как-нибудь на днях, когда будет свободное время...

— Ну так знайте же, что средний баран весит три пуда.

Я изобразил на своем лице напряженное удовольствие.

— Смотрите-ка, кто бы мог подозревать!

— Да, да. Три пуда. А вы знаете, сколько стоит фунт баранины? Пятьдесят пиастров!

— Да, вообще сейчас жизнь очень запуталась,— неопределенно заметил я.

— Ну, для умного человека жизнь проста, как палец. Итак, продолжаю. А знаете ли вы, сколько стоит целый баран в Кады-Кее? Десять лир. Итак, вот вам дело: вы даете двадцать лир, и я двадцать лир. Я покупаю двух овец, режу их...

— Не надо их резать,— сентиментально заметил я,— они такие хорошенькие.

— А как же иначе мы их на мясо продадим? Я их сам зарежу, не бойтесь. Итак, на ваши двадцать лир вы будете иметь шесть пудов овечьего мяса. По розничной цене — шестьдесят лир. Да шкура в вашу пользу, да рога.

Хотя я до сих пор рогатых овец не встречал, но это, очевидно, была местная порода.

Я кивнул головой с видом знатока.

— Очень хорошее дельце. А когда прикажете внести деньги?

— Да хоть сейчас: чем скорей, так лучше. Сколько тут у вас? Ровно двадцать? Ну вот и спасибо. Завтра утром бараны будут уже у нас. Хотите, я приведу их к вам показать?

— Не знаю, удобно ли это. Вдруг ни с того ни с сего бараны заходят на квартиру... Да еще моя хозяйка против этих посторонних визитов... Нет, лучше их просто зарежьте. Только не мучьте. Хорошо?

Мой новый компаньон заверил, что смерть этих невинных созданий будет совершенно безболезненна и легка, как сон, и, пожав мне руку, умчался с озабоченным лицом.

С тех пор прошло восемь дней. Пока я не вижу ни моего компаньона, ни баранов, ни прибыли.

Очевидно, с компаньоном что-нибудь случилось.

Иногда по ночам меня мучит совесть: прав ли я был, поручив этому слабосильному человеку опасную процедуру умерщвления баранов? А что, если они по дороге сбежали от него? А что, если перед смертью они вступили с ним в борьбу и, разъяренные предстоящей участью, растерзали моего бедного компаньона?

Вчера со мной произошел удивительный случай: иду по улице, вдруг вижу — мой компаньон навстречу.

Я радостно кинулся к нему:

— Здравствуйте, голубчик! Ну, что слышно с баранами?

Он удивленно взглянул на меня:

— Какие бараны? Простите, я вас совершенно не знаю.

— Ка-а-ак?.. Да ведь мы же вместе хотели зарабатывать на баранах!

— Простите, я вас в первый раз вижу. Я иногда зарабатываю на баранах, но зарабатываю один.

И, отстранив меня, он пошел дальше.

«Однако какое удивительное сходство!..— бормотал я себе под нос, провожая его взглядом.— То же лицо, тот же голос, и даже на баранах зарабатывает, как и тот!»

Много тайн хранит в себе чарующий, загадочный Восток!

РУССКОЕ ИСКУССТВО

— Вы?

— Я.

— Глазам своим не верю.

— Таким хорошеньким глазам не верить — это преступление.

Отпустить подобный комплимент днем на Пере, когда сотни летящего мимо народа не раз толкают вас в бока и в спину,— для этого нужно быть очень светским, чрезвычайно элегантным человеком.

Таков я и есть.

Обладательница прекрасных глаз, известная петербургская драматическая актриса, стояла передо мной, и на ее живом лукавом лице в одну минуту сменялось десять выражений.

— Слушайте, Простодушный. Очень хочется вас видеть. Ведь вы — мой старый милый Петербург. Приходите чайку выпить.

— А где вы живете?

Во всяком другом городе этот простой вопрос вызвал бы такой же простой ответ: улица такая-то, дом номер такой-то.

Но не таков городишко Константинополь!

На лице актрисы появилось выражение небывалой для нее растерянности.

— Где я живу? Позвольте. Не то Шашлы-Башлы, не то Биюк-Темрюк. А может быть, и Казанлы-Базанлы. Впрочем, дайте мне лучше карандаш и бумажку, я вам нарисую.

Отчасти делается понятна густая толпа, толкущаяся на Пере: это все русские стоят друг против друга и по полчаса объясняют свои адреса: не то Шашлы-Башлы, не то Бабаджан-Османды.

Выручают обыкновенно карандаш и бумажка, причем отправной пункт — Токатлиан: это та печка, от которой всегда танцует ошалевший русский беженец.

Рисуются две параллельные линии — Пера. Потом квадратик — Токатлиан. Потом...

— Вот вам,— говорит актриса, чертя карандашом по бумаге,— эта штучка — Токатлиан. От этой штучки вы идите налево, сворачивайте на эту штучку, потом огибаете эту штучку — и тут второй дом — где я живу. Номер двадцать два. Третий этаж, квартира барона К.

Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный документ и откланялся.

На другой день вечером, когда я собрался в гости к актрисе, зашел знакомый.

— Куда вы?

— Куда? От Токатлиана прямо, потом свернуть в эту штучку, потом в другую. Квартира барона К.

— Знаю. Хороший дом. Что ж это вы, дорогой мой, идете в такое аристократическое место — и в пиджаке?

— Не фрак же надевать!

— А почему бы и нет? Вечером в гостях фрак — самое разлюбезное дело. Все-таки это ведь заграница!

— Фрак так фрак,— согласился я.

Оделся и, сверкая туго накрахмаленным пластроном фрачной сорочки, отправился на Перу — танцевать от излюбленной русской печки.

Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, то это только половина дела. Другая половина — найти номер дома. Это трудно. Потому что седьмой номер помещается между двадцать девятым и четырнадцатым, а щестнадцатый скромно заткнулся между сто двадцать седьмым и девятнадцатым.

Вероятно, это происходит оттого, что туркам наши арабские цифры не известны. Дело происходило так: решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площали. А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, закорючки и загогулины которого приходились ему более по душе.

Искомый номер двадцать два был сравнительно приличен: между двадцать четвертым и тринадцатым.

На звонок дверь открыла дама очень элегантного вида.

— Что угодно?

— Анна Николаевна здесь живет?

— Какая?

— Русская, Беженка.

— Ах, это вы к Аннушке! Аннушка, тебя кто-то спрашивает!

Раздался стук каблучков, и в переднюю выпорхнула моя приятельница в фартуке и с какой-то тряпкой в руке.

Первые слова ее были такие:

— Чего тебя, ирода, черти-то по парадным носят?! Не мог через черный ход прийтить!

— Виноват,— растерялся я,— вы сказали...

— Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня! Я его допреж того в Петербурхе знала. Иди уж на кухню, раздевайся там. Недотепа!

Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее.

— Ну, садись, кум, коль пришел. Самовар, чать, простыл, по стакашку еще нацедить возможное дело.

— А я вижу, вы с гран-кокет перешли на характерные,— уныло заметил я, вертя в руках огромную ложку с дырочками.

— Чаво? Я, стал-быть, тут у кухарках пристроилась. Ничего, хозяева добрые, не забижают.

— На своих харчах? — деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска.

— Хозяйские и отсыпное хозяйское.

— И доход от мясной и зеленной имеете?

— Законный процент (в последнем слове она сделала ударение на «о»). А то, может, щец похлебаешь? С обеда осталось. Я б разогрела.

Вошла хозяйка.

— Аннушка, самовар поставь.

Во мне заговорил джентльмен.

— Позвольте, я поставлю,— предложил я, кашлянув в кулак.— Я мигом. Стриженая девка не успеет косы заплести, как я его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите, куда насыпать уголь и куда налить воды.

— Кто это такой, Аннушка? — спросила хозяйка, с остолбенелым видом разглядывая мой фрак.

— Так, один тут. Вроде как сродственник. Он, барыня, тихий. Ни тебе напиться, ни тебе набезобразить.

— Вы давно знакомы?

— С Петербурга,— скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу.— Аннушка в моих пьесах играла.

— Как... играла... Почему... в ваших?..

— А кто тебя за язык тянет, эфиоп,— с досадой пробормотала Аннушка.— Места только лишишься из-за вас, чертей. Видите ли, барыня... Ихняя фамилия — Простодушный.

— Что ж вы тут, господи, пожалуйте в столовую, я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады.

— Видала? — заносчиво сказал я, подмигивая.—

А ты меня все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются и к столу приглашают.

С черного хода постучались. Вошел еще один Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший когда-то Третьей армией. Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с галуном и сказал:

— Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское.

Мы сидели в столовой, за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое — кухарка, швейцар и я.

Хозяин побежал в лавку за закуской и вином.

Хозяйка раздувала на кухне самовар.

ЛЮДИ — БРАТЬЯ

Их было трое: бывший шулер, бывший артист императорских театров — знаменитый актер и третий — бывший полицейский пристав 2-го участка Александро-Невской части.

Сначала было так: бывший шулер сидел за столиком в ресторане на Приморском бульваре и ел жареную кефаль, а актер и пристав порознь бродили между публикой, занявшей все столы, и искали себе свободного местечка. Наконец бывший пристав не выдержал: подошел к бывшему шулеру и, вежливо поклонившись, спросил:

— Не разрешите ли подсесть к вашему столику? Верите, ни одного свободного места!

— Скажите! — сочувственно покачал головой бывший шулер.— Сделайте одолжение, садитесь! Буду очень рад. Только не заказывайте кефали — жестковата.— При этом бывший шулер вздохнул: — Эх, как у Донона жарили судачков обернуар!

Лицо бывшего пристава вдруг озарилось тихой радостью.

— Позвольте! Да вы разве петербуржец?!

— Я-то?.. Да вы знаете, мне даже ваше лицо знакомо. Если не ошибаюсь, вы однажды составляли на меня протокол по поводу какого-то недоразумения в Экономическом клубе?..

— Да господи ж! Конечно! Знаете, я сейчас чуть не плачу от радости!.. Словно родного встретил. Да позвольте вас просто по-русски...

Знаменитый актер, бывший артист императорских театров, увидев, что два человека целуются, смело подошел и сказал:

— А не уделите ли вы мне местечка за вашим столом?

— Вам?! — радостно вскричал бывший шулер.— Да вам самое почтеннейшее место надо уступить. Здравствуйте, Василий Николаевич!

— Виноват!.. Почему вы меня знаете? Вы разве петербуржец?

— Да как же, господи! И господин бывший пристав петербуржец из Александро-Невской части, и я петербуржец из Экономического клуба, и вы.

— Позвольте... Мне ваше лицо знакомо!!

— Еще бы! По клубу же! Вы меня еще — дело прошлое — били сломанной спинкой от стула за якобы накладку.

— Стойте! — восторженно крикнул пристав.— Да ведь я же по этому поводу и протокол составлял!!

— Ну конечно! Вы меня еще выслали из столицы на два года без права въезда! Чудесные времена были!

— Да ведь и я вас, господин пристав, припоминаю,— обрадовался актер.— Вы меня целую ночь в участке продержали!!

— А вы помните, за что? — засмеялся пристав.

— Черт его упомнит! Я, признаться, так часто попадал в участки, что все эти отдельные случаи слились в один яркий сверкающий круг.

— Вы тогда на пари разделись голым и полезли на памятник Александра Третьего на Знаменской площади.

— Господи! — простонал актер, схватившись за голову.— Слова-то какие: Александр Третий, Знаменская площадь, Экономический клуб... А позвольте вас, милые петербуржцы...

Все трое обнялись и, сверкая слезинками на покрасневших от волнения глазах, расцеловались.

— О, Боже, Боже,— свесил голову на грудь бывший шулер,— какие воспоминания!.. Сколько было тогда веселой, чисто столичной суматохи, когда вы меня били... Где-то теперь спинка от стула, которой вы... А, чай, теперь от тех стульев и помина не осталось?

— Да,— вздохнул бывший пристав.— Все растащили, все погубили, мерзавцы... А мой участок, помните?

— Это второй-то? — усмехнулся актер.— Как отчий дом помню: восемнадцать ступенек в два марша, длин-

ный коридор, налево ваш кабинет. Портрет государя висел. Ведь вот было такое время: вы — полицейский пристав, я — голый, пьяный актер, снятый с царского памятника, а ведь мы уважали друг друга. Вы ко мне вежливо, с объяснением... Помню, папироску мне предложили и искренне огорчились, что я слабых не курю...

— Помните шулера Афонькина? — спросил бывший шулер.

— Очень хороший был человек.

— Помню, как же. Замечательный. Я ведь и его бил тоже.

— Пресимпатичная личность. В карты, бывало, не садись играть — зверь, а вне карт — он тебе и особенный салат-омар состряпает, и «Сильву» на рояли изобразит, и наизусть лермонтовского «Демона» продекламирует.

— Помню,— кивнул головой пристав.— Я и его высылал. Его в Приказчичьем сильно тогда подсвечниками обработали.

— Милые подсвечники,— прошептал лирически актер,— где-то вы теперь?.. Разворовали вас новые вандалы! Ведь вот времена были: и электричество горело, а около играющих всегда подсвечники ставили.

— Традиция,— задумчиво сказал бывший шулер, разглаживая шрам на лбу.— А позвольте, дорогие друзья, почествовать вас бутылочкой «Абрашки»...

Радостные пили «Абрау». Пожимали друг другу руки и любовно, без слов, смотрели друг другу в глаза.

Перед закрытием ресторана бывший шулер с бывшим приставом выпили на «ты».

Они лежали друг у друга в объятиях и плакали, а знаменитый актер простирал над ними руки и утешал:

— Петербуржцы! Не плачьте! И для нас когда-нибудь небо будет в алмазах! И мы вернемся на свои места!.. Ибо все мы, вместе взятые,— тот ансамбль, без которого немыслима живая жизнь!!

ОККУЛЬТНЫЕ ТАЙНЫ ВОСТОКА

Прехорошенькая дама повисла на пуговице моего пиджака и мелодично прощебетала:

— Пойдемте к хироманту!

— Чего-о-о?

— Я говорю вам — идите к хироманту! Этот оккультизм такая прелесть. И вам просто нужно пойти к хироман-

ту! Эти хироманты в Константинополе такие замечательные!

— Ни за что не пойду,— увесисто возразил я.— Ноги моей не будет... или, вернее, руки моей не будет у хироманта.

— Ну, а если я вас поцелую — пойдете?

Когда какой-либо вопрос переносится на серьезную деловую почву, он начинает меня сразу интересовать.

— Солидное предложение,— задумчиво сказал я.— А когда пойти?

— Сегодня же. Сейчас.

— Аванс будет?

Фирма оказалась солидная, не стесняющаяся затратами.

Пошел.

*
* *
*

Римские патриции, которым надоедало жить, перед тем, как принять яд, пробовали его на своих рабах.

Если раб умирал легко и безболезненно, патриций спокойно следовал его примеру.

Я решил поступить по этому испытанному принципу: посмотреть сначала, как гадают другому, а потом уже и самому шагнуть за таинственную завесу будущего.

Около русского посольства всегда толчется масса праздной публики.

Я подошел к воротам посольства, облюбовал молодого человека в военной шинели без погон, подошел, попросил прикурить и прямо приступил к делу.

— Бывали вы когда-нибудь у хироманта? — спросил я.

— Не бывал. А что?

— Вы сейчас ничего не делаете?

— Буквально ничего. Третий месяц ищу работу.

— Так пойдем к хироманту. Это будет стоить две лиры.

— Что вы, милый! Две лиры!!! Откуда я их возьму? У меня нет и пятнадцати пиастров!

— Чудак вы! Не вы будете платить, а я вам заплачу за беспокойство две лиры. Только при условии: чтоб я присутствовал при гадании!

Молодой человек зарумянился, неизвестно почему помялся, оглядел свои руки, вздохнул и сказал:

— Ну, что ж... Пойдем.

Хиромант принял нас очень любезно.

— Хиромантия,— приветливо заявил он,— очень точ-

ная наука. Это не то что какие-нибудь там бобы или кофейная гуща. Садитесь.

На столе лежал человеческий череп.

Я приблизился, бесцельно потыкал пальцем в пустую глазницу и рассеянно спросил:

— Ваш череп?

— Конечно, мой. А то чей же.

— Очень симпатичное лицо. Обаятельная улыбка. Скажите, он вам служит для практических целей или просто как изящная безделушка?

— Помилуйте! Это череп одного халдейского мага из Мемфиса.

— А вы говорите — ваш. Впрочем, дело не в этом. Погадайте-ка сему молодому человеку.

Мой новый знакомый застенчиво протянул хироманту правую руку, но тот отстранил ее и сказал:

— Левую.

— Да разве не все равно, что правая, что левая?

— Отнюдь. Исключительно по левой руке. Итак, вот передо мной ваша левая рука... Ну, что ж я вам скажу?.. Вам пятьдесят два года.

— Будет,— мягко возразил мой «патрицианский раб».— Пока только двадцать четыре.

— Вы ошибаетесь. Вот эта линия показывает, что вам уже немного за пятьдесят. Затем проживете вы до... до... Черт знает, что такое?!

— А что? — заинтересовался я.

— Никогда я не видел более удивительной руки и более замечательной судьбы. Знаете ли, до каких пор вы проживете, судя по этой совершенно бесспорной линии?!

— Ну?

— До двухсот сорока лет!!

— Порядочно!! — завистливо крякнул я.

— Не ошибаетесь ли вы? — медовым голосом заметил обладатель замечательной руки.

— Я голову готов прозакладывать!

Он наклонился над рукой еще ниже.

— Нет, эти линии!!! Что-то из ряду вон выходящее!!! Вот смотрите — сюда и сюда. В недалеком прошлом вы занимали последовательно два королевских престола: один около тридцати лет, другой около сорока.

— Позвольте,— робко возразила коронованная особа.— Сорок и тридцать лет — это уже семьдесят. А вы говорили, что мне и всего-то пятьдесят два.

— Я не знаю, ничего не знаю,— в отчаянии кричал хиромант, хватаясь за голову.— Это первый случай в моей пятнадцатилетней практике! Ваша проклятая рука меня с ума сведет!!

Он рухнул в кресло, и голова его бессильно упала на стол рядом с халдейским черепом.

— А что случилось? — участливо спросил я.

— А то и случилось,— со стоном вскричал хиромант,— что когда этот господин сидел на первом троне, то он был умерщвлен заговорщиками!! Тут сам черт ничего не разберет! Умерщвлен, а сидит. Разговаривает!!! Привели вы мне клиента — нечего сказать!!

— Были вы умерщвлены на первом троне? — строго спросил я.

— Ей-Богу, нет. Видите ли... Я служил капитаном в Марковском полку, а что касается престола...

— Да ведь эта линия — вот она! — в бешенстве вскричал хиромант, тыча карандашом в мирную капитанскую ладонь.— Вот один престол, вот другой престол! А это вот что? Что это? Ясно: умерщвлен чужими руками!

— Да вы не волнуйтесь,— примирительно сказал я.— Вы же сами сказали, что его величество проживет двести сорок лет. Чего же тут тревожиться по пустякам? Вы лучше поглядите, когда и от чего он умрет по-настоящему, так сказать — начисто.

— От чего он умрет?.. Позвольте-ка вашу руку...

Хиромант ястребиным взором впился в капитанскую ладонь, и снова испуг ясно отразился на его лице.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил я.

— Я так и думал, что будет какая-нибудь гадость,— в отчаянии застонал хиромант.

— Именно?

— Вы знаете, отчего он умрет? От родов.

Мы на минуту оцепенели.

— Не ошибаетесь ли вы? Если принять во внимание его пол, а также тот преклонный возраст, который...

— «Который, который»!! Ничего не который! Я не мальчишка, чтобы меня дурачить, и вы не мальчишка, чтобы я мог вам врать. Я честно говорю только то, что вижу, а вижу я такое, что и этого молодого человека и меня надо отправить в сумасшедший дом!! Это сам дьявол написал на вашей ладони эти антихристовы письмена!

— Ну уж и дьявол,— смущенно пробормотал молодой человек.— Это считается одной из самых солидных фирм:

Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, триста сорок пять.

Мы оба выпучили на него глаза.

— Господа, не сердитесь на меня... Но ведь я же вам давал сначала правую руку, а вы не захотели. А левая, конечно... Я и сам не знаю, что они на ней вытиснули...

— Кто-о? — взревел хиромант.

— Опять же Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, триста сорок пять. Видите ли, когда мне под Первозвановкой оторвало кисть левой руки, то мой дядя, который жил в Берлине, как представитель фабрики искусственных конеч...

Череп халдейского мудреца полетел мимо моего плеча и, кляцнув зубами, зацепился челюстью за шинель капитана. За черепом полетели две восковые свечи и какая-то древняя книга, обтянутая свиной кожей.

— Бежим,— шепнул я капитану,— а то он так озверел, что убить может.

Бежали, схватившись за руки, по узкому грязному переулку. Отдышались.

— Легко отделались,— одобрительно засмеялся я.— Скажите, кой черт поддел вас не признаться сразу, что ваша левая лапа резиновая, как галоша «Проводник»?

— Да я, собственно, боялся потерять две лиры. Вы знаете, когда пять дней подряд питаешься одними бубликами... А теперь, конечно, сам понимаю, что ухнули мои две лирочки.

— Ну, нет,— великодушно сказал я.— Вам, ваше величество, еще двести пятнадцать лет жить осталось, так уж денежки-то ой-ой как нужны. Получайте.

*
* *
*

Встретил даму. Ту самую.

— Ну что, были?

— Конечно, был. Аванс отработал честно.

— Ну, что же? — с лихорадочным любопытством спросила она.— Что же он вам сказал?

— А вы верите всему, что они предсказывают? — лукаво спросил я.

— Ну, конечно.

— Так он сказал, что с вас причитается еще целый ворох поцелуев.

До чего же эти женщины суеверны, до чего доверчивы.

МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

Между корью и сценой существует огромное сходство: тем и другим хоть раз в жизни нужно переболеть. Но между корью и сценой существует и огромная разница: в то время как корью переболеешь только раз в жизни — и конец, заболевание сценой делается хроническим, неизлечимым.

Более счастливые люди отделываются редкими припадками вроде перемежающейся лихорадки, выступая три-четыре раза в год на клубных сценах в любительских спектаклях; все же неудачники — люди с более хрупкими организмами — заболевают прочно и навсегда.

Три симптома этой тяжелой болезни: 1) исчезновение растительности на лице, 2) маниакальное стремление к сманиванию чужих жен и 3) бредовая склонность к взятию у окружающих денег без отдачи.

*
* *
*

Гулял я всю свою жизнь без забот и огорчений по прекрасному белому свету, резвился, как птичка, и вдруг однажды будто злокачественным ветром меня прохватило.

Встречаю в ресторане одну знакомую даму — очень недурную драматическую артистку.

— Что это,— спрашиваю,— у вас такое лицо расстроенное?

— Ах, не поверите! — уныло вздохнула она.— Никак второго любовника не могу найти...

«Мессалина!» — подумал я с отвращением.

Вслух резко спросил:

— А разве вам одного мало?

— Конечно, мало. Как же можно одним любовником обойтись? Послушайте... может, вы на послезавтра согласитесь взять роль второго любовника?

— Мое сердце занято! — угрюмо пробормотал я.

— При чем тут ваше сердце?

— При том, что я не могу разбрасываться, как многие другие, для которых нравственность...

Она упала локтями и головой на стол и заколыхалась от душившего ее смеха.

— Сударыня! Если вы способны смеяться над моим первым благоуханным чувством... над девушкой, которой вы даже не знаете, то... то...

— Да позвольте,— сказала она, утирая выступившие слезы.— Вы когда-нибудь играли на сцене?

Не кто иной, как черт, дернул меня развязно сказать:

— Ого! Сколько раз! Я могу повторять, как и Савина: «Сцена — моя жизнь».

— Ну?.. Так вы знаете, что такое на театральном жаргоне «любовник»?

— Еще бы! Это такие... которые... Одним словом, любовники. Я ведь давеча думал, что вы о вашей личной жизни говорите...

Она встала с видом разгневанной королевы:

— Вы нахал! Неужели вы думаете, что я могу в личной жизни иметь двух любовников?!.

Это неопределенное возмущение я понял впоследствии, когда простак сообщил мне, что у нее на этом амплуа было и четыре человека.

— В наказание за то, что вы так плохо обо мне подумали, извольте выручить нас, пока не приехал Румянцев,— вы сыграете Вязигина в «После крушения» и Крутобедрова в «Ласточкином гнезде». Вы играли Вязигина?

Ее пренебрежительный тон так задел меня, что я бодро отвечал:

— Сколько раз!

— Ну и очень мило. Нынче вечером я пришлю роль. Репетиция завтра в одиннадцать.

Очевидно, в моей душе преобладает женское начало: сначала сделаю, а потом только подумаю: что я наделал!



Роль была небольшая, но привела меня в полное уныние.

Когда читаешь всю пьесу, то все обстоит благополучно: знаешь, кто тебе говорит, почему говорит и что говорит. А в роли эти необходимые элементы отсутствовали. Никакой дьявол не может понять такого, например, разговора:

Явление 6

Ард. В экипажах и пешком.
А княжна Мэри.
Ард. Этого несчастья.
Спасибо, я вам очень обязан.
Ард. Его нужно пить.

Это вы так о ней выражаетесь...

А р д. Капризам.

В таком случае я способен переступить все границы.

Г р и б. Две чечетки.

Надо быть во фраке.

Кто эти «Ард.» и «Гриб.»? Родственники мои, враги, старые камердинеры или светские молодые люди?..

Я швырнул роль на стол и, хотя было уже поздно, побежал к одному своему другу, который отличался тем, что все знал. Это был человек, у которого слово «нет» отсутствовало в лексиконе.

— Ты знаешь, что нужно, чтобы играть на сцене?

— Знаю.

— Что же? Скажи, голубчик!

— Только нахальство! Если ты вооружишься невероятной, нечеловеческой наглостью, то все сойдет с рук. Даже, пожалуй, похлопают.

— По ком? — боязливо спросил я.

— До тебя не достанут. Ладошами похлопают. Но только помни: нахальство, нахальство и еще раз оно же.

Ушел я успокоенный.

На репетиции я заметил, что героем дня был суфлер. К нему все относились с тихим обожанием. Простак даже шепнул мне:

— Ах, как подает! Чудо!

Я удивленно посмотрел на суфлера: он ничего никому не подавал, просто читал по тетради.

Однако мне не хотелось уронить себя:

— Это что за подача! Вот мне в Рязани подавали — так с ума сойти можно.

Я совсем не знал роли, но с некоторым облегчением заметил, что вся труппа в этом отношении шла со мной нога в ногу.

Актер, игравший старого графа, прислушался к словам суфлера и после монолога о том, что его сын проиграл десять тысяч, вдруг кокетливо добавил:

— Ах, я ни за что не выйду замуж!

— Это не ваши слова,— сонно заметил суфлер.— Дочка, вы говорите: «Ах, я ни за что не выйду замуж».

Дочка рабски повторила это тяжелое решение.

В путанице и неразберихе я был не особенно заметен, как незаметен обломок спички в куче старых окурков.

* * *

— Побольше нахальства! — сказал я сам себе, когда парикмахер спросил, какой мне нужен парик.

— Видите ли... Я вам сейчас объясню... Представьте себе человека избалованного, легкомысленного, но у которого случаются минуты задумчивости и недовольства собой, минуты, когда человек будто поднимается и парит сам над собой, уносясь в те небесные глубины...

— Понимаю-с,— сказал парикмахер, тряхнув волосами,— блондинистый городской паричок.

— А? Во-во! Только чтоб он на глаза не съехал.

— Помилуйте! А лак на что? Да и вошьем.

— Побольше нахальства! — сказал я сам себе, усаживаясь в вечер спектакля перед зеркалом гримироваться.

Увы!.. Нахальства было много, а красок еще больше. И куда, на какое место какая краска — я совершенно не постигал.

Вздохнул, мужественно нарисовал себе огромные брови, нарумянил щеки — задумался.

Вся гримировальная задача для новичка состоит только в том, чтобы сделаться на себя непохожим.

«Эх! Приклеить бы седую бороду — вот бы ловко! Пойди-ка тогда, узнай. Но раз по смыслу роли нельзя бороды — ограничимся усами».

Усы очень мило выделялись на багровом фоне щек.



В первом акте я должен выбежать из боковых дверей в белом теннисном костюме. Перед выходом мне сунули в руку какую-то плетеную штуку вроде выбивалки для ковров, но я решил, что эта подробность только стеснит мои первые шаги, и бросил плетенку за кулисами.

— А вот и я! — весело вскричал я, выскочив на что-то ослепительно яркое, с огромной зияющей дырой впереди.

— А, здравствуйте,— пропищала инженю.— Слушайте, тут пчела летает, я бою-юсь. Дайте вашу ракетку — я ее убью!..

Я добросовестно, как это делалось на репетициях, протянул ей пустую руку.

Она, видимо, растерялась.

— Позвольте... А где же ракетка?

— Какая ракетка? (Побольше наглости! Как можно больше нахальства!) Ракетка? А я, знаете, нынче именинник, так я ее зажег. Здорово взлетела. Ну, как поживаете?

— Сошло! — пробормотал я, после краткого диалога вылетая за кулисы.— До седьмого явления можно и закурить.

*
* *
*

— Вам выходить! — прошипел помощник режиссера.

— Знаю, не учите,— солидно возразил я, поглаживая рукой непривычные усы.

И вдруг... сердце мое похолодело: один плохо приклеенный ус так и остался между моими пальцами.

— Вам выходить!!!

Я быстро сорвал другой ус, зажал его в кулак и выскочил на сцену.

Первые мои слова должны быть такие:

— Граф отказал, мамаша.

Я решил видоизменить эту фразу:

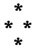
— А я, мамаша, уже успел побриться. Идет? Не правда ли, моложе стал?

Усы в кулаке стесняли меня. Я положил их на стол и сказал:

— Это вам на память. Вделайте в медальон. Пусть это утешит вас в том, что граф отказал.

— Он осмелился?! — охнула мать моя, смахнув незаметно мой подарок на пол.— Где же совесть после этого?

Сошла и эта сцена. Я в душе поблагодарил своего всезнающего друга.



В третьем акте мои первые слова были:

— Он сейчас идет сюда.

После этого должен был войти старый граф, но в стройном театральном механизме что-то испортилось.

Граф не шел.

Как я после узнал, он в этот момент был занят тем, что жена била его в уборной зонтиком за какую-то обнаруженную интрижку с театральной портнихой.

— Он сейчас придет, мамаша, не волнуйтесь,— сказал я, спокойно усаживаясь в кресло.

Мы подождали. На сцене секунды кажутся десятками минут.

— Он, уверяю вас, придет сейчас! — заорал я во все горло, желая дать знать за кулисы о беспорядке.

Граф не шел.

— Что это, мамаша, вы взволнованы? — спросил я заботливо.— Я вам принесу сейчас воды.

Вылетел за кулисы и зашипел:

— Где граф, черт его дери?!!

— Ради бога,— подскочил помощник,— протяните еще минутку: он приклеивает оторванную бороду.

Я пожал плечами и вернулся.

— Нет воды,— грубо сказал я.— Ну и водопроводец наш!

Мы еще посидели...

— Мамаша! — нерешительно сказал я.— Есть ли у вас присутствие духа? Я вам хочу сообщить нечто ужасное...

Она удивленно и растерянно поглядела на меня.

— Дело в том, что когда я вышел за водой, то мимоходом узнал ужасную новость, мамаша. Автомобиль графа по дороге наскочил на трамвай, и графа принесли в переднюю с проломленной головой и переломанными ногами... Кончается!

Я уже махнул рукой на появление графа и только решил как-нибудь протянуть до тех пор, пока кто-нибудь догадается спустить занавес.

Мы помолчали.

— Да...— неопределенно протянул я.— Жизнь не ждет. Вообще, эти трамваи... Вот я вам сейчас расскажу историю, как у меня в трамвае вытянули часы. История длинная... так минут на десять, на пятнадцать, но ничего. Надо вам сказать, мамаша, что есть у меня один приятель — Васька. Живет он на Рождественской. С сестрой. Сестра у него красавица, пышная такая — еще за нее сватался Григорьев, тот самый, который...

— Вы меня звали, Анна Никаноровна? — вдруг вошел изуродованный мною граф, с достоинством останавливаясь в дверях.

— А, граф,— вскочил я.— Ну, как ваше здоровье? Как голова?

— Вы меня звали, Анна Никаноровна? — строго повторил граф, игнорируя меня.

— Я рад, что вы дешево отделались,— с удовольствием заметил я.

Он поглядел на меня, как на сумасшедшего, заморгал и вдруг сказал:

— Простите, Анна Никаноровна, но я должен сказать вашему сыну два слова.

Он вытащил меня за кулисы и сказал:

— Вы что?!. Идиот или помешанный? Почему вы говорите слова, которых нет в пьесе?

— Потому что надо выходить вовремя. Я вас чуть не похоронил, а вы лезете. Хоть бы голову догадались тряпкой завязать.

— Выходите! — прорычал режиссер.

*
* *
*

Могу с гордостью сказать, что в этот дебютный день я покорил всех своей находчивостью.

В четвертом акте, где героиня на моих глазах стреляется, она сунула руку в ящик стола и... не нашла револьвера.

Она опустила голову на руки, и когда я подошел к ней утешить ее, она прошептала:

— Нет револьвера: что делать?

— Умрите от разрыва сердца. Я вам сейчас что-то сообщу.

Я отошел от нее, схватился за голову и простонал:

— Лидия! Будьте мужественны! Я колебался, но теперь решил сказать все. Знайте же, что ваша мать зарезала вашу сестренку и отравилась сама.

— Ах! — вскрикнула Лидия и, мертвая, шлепнулась на пол.

*
* *
*

Нас вызывали.

Я же того мнения, что если мы и заслужили вызова, то не перед занавесом, а в камере судьи — за издевательство над беззащитной публикой.

КОСЬМА МЕДИЧИС

Бродя по Большой Морской, остановился я у витрины маленького «художественно-комиссионного» магазина и, вглядевшись в выставленные на витрине вещи, сразу же обнаружил в этих ищущих своего покупа-

теля сокровищах разительное сходство с сокровищами в знаменитой гостиной Плюшкина.

Я даже не погрешу против правды, если просто выпишу это место из «Мертвых душ».

«...Стоял сломанный стул и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же лежала куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха (тут, на витрине, было полдюжины таких лимонов в банке из-под варенья), отломленная ручка кресел, кусочек сургуча, кусочек тряпки, два пера, запачканные чернилами, зубочистка совершенно пожелтевшая,— а из всей этой кучи заметно высовывался отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога».

Это, если вы помните, было у Плюшкина. Буквально то же самое красовалось на витрине, но с прибавкой небольшого, крайне яркого плаката, стоявшего на самом выгодном месте, посредине... Плакатик изображал разноцветного господина, держащего в одной руке сверкающую резиновую калошу, а пальцем другой указывающего на клеймо фирмы на подошве: «Проводник».

Меня очень рассмешила эта ироническая улыбка нашего быта: резиновых калош нельзя достать ни за какие деньги, а хозяин магазина упорно продолжает их рекламировать.

Так как хозяин стоял тут же, у дверей своей сокровищницы, я спросил его:

— Зачем вы рекламируете калоши «Проводник»?

— Где? — удивился он.— Это? Помилуйте. Да это картина. Мы это продаем.

— Как продаете? Да кому ж это нужно...

— Покупают. Повесишь в комнате на стенке, очень даже украшает. Видите, какие краски!

В торгашеском азарте он снял с витрины господина, указующего перстом на сверкающую калошу, и преподнес это произведение к самому моему носу.

— Вот она, картинка-то. Купите, господин.

Я вспомнил свою петербургскую квартиру, украшенную Репиным, Добужинским, Билибиным, Ре-Ми, Александром Бенуа,— и рассмеялся.

— А в самом деле, не купить ли?

Раз наступает такая дикариная жизнь, что скоро будем ходить голыми, то для украшения наших вигвамов

хорош будет и юркий господин, сующий под нос обязательно сверкающую калошу.

В этот момент к нам приблизился незнакомец в темно-зеленом пиджачке в обтяжку и соломенной шляпе-канотье...

Он на секунду застыл в немом восхищении перед господином с калошей, снял шляпу, самоуверенно обмахнулся ею и спросил:

— Что ж вы мне прошлый раз, когда я покупал картины, не показывали этой штуки? Занятно!

— Купите! Замечательная вещь,— захлопотал хозяин, почуяв настоящего покупателя.— Настоящая олеография! Это не то что масляные краски... Те — пожухнут и почернеют... А это — тряпкой с мылом мойте — сам черт не возьмет!

— Цена? — уронил покровитель искусства, прищурившись с видом покойного Третьякова, покупающего уники для своей галереи...

— Четыре тысячи.

— Ого! И трех предовольно будет. Достаточно, что вы прошлый раз содрали с меня за женскую головку «Дюбек лимонный» — шесть тысяч.

— Та ж больше. И потом на картон наклеена — возьмите это во внимание!

— Ну, заверните. А фигур нет?

— То есть скульптуры? Очень есть одна стоящая вещь: «Диана с луком».

— Садит, что ли?

— Чего?

— Лук-то.

— Никак нет. Стреляет. Замечательный предмет (хозяин сделал ударение на первом слоге) — настоящий, неподдельный гипс! Вещь — алебастровая!..

Когда меценат, закупив часть живописных и скульптурных сокровищ, довольный собой удалился, я сделал серьезное лицо и спросил:

— Скажите, фамилия этого нового покровителя искусств — не Косьма Медичис?

— Никак нет, совсем напротив: Степан Картохин. Они тут у портного в мастерах служат и огромадные деньги нынче вырабатывают: до восьмисот тысяч в месяц! Известно, девать некуда, вот они в валюту все перегоняют — вещи покупают. И опять же искусство любят.

И почувствовал я, что все мы, прежние, до ужаса устарели со всеми нашими Сомовыми, Добужинскими, Репи-

ными, Обри, Бердслеями, Ропсами, Билибиными и Александрами Бенуа.

Шире дорогу! Новый Любим Торцов идет!

Бумажки бьют из его карманов двумя фонтанами, и в одной руке у него сверкает всеми цветами радуги «Дюбек лимонный», в другой — «Покупайте калоши «Проводник»!

Ars longa, vita brevis!*

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ

(Из выставочных встреч)

До сих пор при случайных встречах с модернистами я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо, или попросит взаймы.

Но это чувство улетучилось после первого же ближайшего знакомства с таким художником.

Он оказался человеком крайне миролюбивого характера и джентльменом, хотя и с примесью бесстыдного лганья.

Я тогда был на одной из картинных выставок, сезон которых теперь в полном разгаре,— и тратил вторые полчаса на созерцание висевшей передо мной странной картины.

Картина эта не возбуждала во мне веселого настроения... Через все полотно шла желтая полоса, по одну сторону которой были наставлены маленькие закорючки черного цвета. Такие же закорючки, но лилового цвета, приятно разнообразили тон внизу картины. Сбоку висело солнце, которое было бы очень недурным астрономическим светилом, если бы не было односторонним и притом — голубого цвета.

Первое предположение, которое мелькнуло во мне при взгляде на эту картину,— что передо мной морской вид. Но черные закорючки сверху разрушали это предположение самым безжалостным образом.

— Э! — сказал я сам себе.— Ловкач-художник просто изобразил внутренность нормандской хижины...

Но одностороннее солнце всем своим видом и положением отрицало эту несложную версию.

Я попробовал взглянуть на картину в кулак: впечат-

* Искусство долговечно, жизнь коротка (*лат.*).

ление сконцентрировалось, и удивительная картина стала еще непонятнее...

Я пустился на хитрость — крепко зажмурил глаза и потом, поболтав головой, сразу широко раскрыл их...

Одностороннее солнце по-прежнему пузырилось выпуклой стороной и закорючки с утомительной стойкостью висели — каждая на своем месте.

Около меня вертелся уже минут десять незнакомый молодой господин с зеленоватым лицом и таким широким галстуком, что я должен был все время вежливо от него сторониться. Молодой господин заглядывал мне в лицо, подергивал плечом и вообще выражал живейшее удовольствие по поводу всего его окружающего.

— Черт возьми! — проворчал я, наконец потеряв терпение.— Хотелось бы мне знать автора этой картины... Я б ему...

Молодой господин радостно закивал головой.

— Правда? Вам картина нравится?! Я очень рад, что вы оторваться от нее не можете. Другие ругались, а вы... Позвольте мне пожать вам руку.

— Кто вы такой? — отрывисто спросил я.

— Я? Автор этой картины! Какова штучка?!

— Да-а... Скажите,— сурово обратился я к нему.— Что это такое?

— Это? Господи боже мой... «Четырнадцатая скрипичная соната Бетховена, опус восемнадцатый». Самая простейшая соната.

Я еще раз внимательно осмотрел картину.

— Соната?

— Соната.

— Вы говорите, восемнадцатый? — мрачно переспросил я.

— Да-с, восемнадцатый.

— Не перепутали ли вы? Не есть ли это пятая соната Бетховена, опус двадцать четвертый?

Он побледнел.

— Н-нет... Насколько я помню, это именно четырнадцатая соната.

Я недоверчиво посмотрел на его зеленое лицо.

— Объясните мне... Какие бы изменения сделали вы, если бы вам пришлось переделать эту вещь опуса на два выше?.. Или дернуть даже шестую сонату... А? Чего нам с вами, молодой человек, стесняться? Как вы думаете?

Он заволновался.

— Так нельзя... Вы вводите в настроение математическое начало... Это продукт моего личного переживания! Подходите к этому как к четырнадцатой сонате.

Я грустно улыбнулся.

— К сожалению, мне трудно исполнить ваше предложение... О-очень трудно! Четырнадцатой сонаты я не увижу.

— Почему?!!

— Потому что их всего десять. Скрипичных сонат Бетховена, к сожалению, всего десять. Старикашка был преленивым субъектом.

— Что вы ко мне пристаете?! Значит, эта вещь игралась не на скрипке, а на виолончели!.. Вот и все! На высоких нотах... Я и переживал.

— Старик как будто задался целью строить вам козни... Виолончельных-то сонат всего шесть им и состряпано.

Мой собеседник, удрученный, стоял, опустив голову, и отколупывал от статуи кусочки гипса.

— Не надо портить статуи,— попросил я.

Он вздохнул.

У него был такой вид, что я сжалился над заблудившимся импрессионистом.

— Вы знаете... Пусть это останется между нами. Но при условии, если вы дадите мне слово исправиться и начать вести новую честную жизнь. Вы не будете выставлять таких картин, а я буду помалкивать о вашем этом переживании. Ладно?

Он сморщил зеленое лицо в гримасу, но обещал.

* * *

Через неделю я увидел на другой выставке новую его картину: «Седьмая фуга Чайковского, оп. 9, изд. Ю. Г. Циммермана».

Он не сдержал обещания. Я — тоже.

КОРИБУ

В мой редакторский кабинет вошел, озираючись, бледный молодой человек. Он остановился у дверей и, дрожа всем телом, стал всматриваться в меня.

— Вы редактор?

— Редактор.

— Ей-Богу?

— Честное слово!

Он замолчал, пугливо посматривая на меня.

— Что вам угодно?

— Кроме шуток — вы редактор?

— Уверяю вас! Вы хотели что-нибудь сообщить мне? Или принесли рукопись?

— Не губите меня,— сказал молодой человек.— Если вы сболтнете — я пропал!

Он порылся в кармане, достал какую-то бумажку, бросил ее на мой стол и сделал быстрое движение к дверям с явной целью — бежать.

Я схватил его за руку, оттолкнул от дверей, оттащил к углу, повернул в дверях ключ и сурово сказал:

— Э, нет, голубчик! Не уйдешь... Мало ли какую бумажку мог ты бросить на мой стол!..

Молодой человек упал на диван и залился горючими слезами.

Я развернул брошенную на стол бумажку.

Вот какое странное произведение было на ней написано.

«Африканские неурядицы

Указания благомыслящих людей на то, что на западном берегу Конго не все спокойно и что туземные князьки позволяют себе злоупотребления властью и насилие над своими подданными — все это имеет под собой реальную почву. Недавно в округе Дилибом (селение Хухры-Мухры) имел место следующий случай, показывающий, как далеки опаленные солнцем сыновья далекого Конго от понятий европейской закономерности и порядка...

Вождь племени бери-бери Корибу, заседая в совете государственных деятелей, получил известие, что его приближенный воин Му́заки не был допущен в корраль, где веселились подданные Корибу. Не разобрав дела, князек Корибу разлетелся в корраль, разнес всех присутствующих в коррале, а корраль закрыл, заклеив его двери липким соком алоэ. После оказалось, что виноват был его приближенный воин, но, в сущности, дело не в этом! А дело в том, что до каких же пор несчастные, сожженные солнцем туземцы будут терпеть безграничное самовластие и безудержную вакханалию произвола какого-то князька Корибу?! Вот на что следовало бы обратить Норвегии серьезное внимание!»

Прочтя эту заметку, я пожал плечами и строго обратился к обессилевшему от слез молодому человеку, который все еще лежал на моем диване:

— Вы хотите, чтобы мы это напечатали?

— Да...— робко кивнул он головой.

— Никогда мы не напечатаем подобного вздора! Кому из читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели Конго, коррали, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как это важно для нас, русских!

Он встал с дивана, взял меня за руки, приблизил свое лицо к моему и пронзительным шепотом сказал:

— Так я вам признаюсь! Это написано об одесском Толмачеве и о закрытии им благородного собрания.

— Какой вздор и какая нелепость,— возмутился я.— К чему вы тогда ломались, переносили дело в какое-то Конго, мазали двери глупейшим соком алоэ, когда так было просто — описать одесский случай и прямо рассказать о поведении Толмачева! И потом вы тут нагородили того, чего и не было... Откуда вы взяли, что Толмачев был в каком-то «совете государственных деятелей»? Просто он приехал в три часа ночи из кафешантана и закрыл благородное собрание, продержав под арестом полковника, которого по закону арестовывать не имел права. При чем здесь «совет государственных деятелей»?

— Я думал, так безопаснее...

— А что такое за дикая, дурного тона выдумка: заклеил двери липким соком алоэ? Почему не просто — наложил печати?

— А вдруг бы догадались, что это о Толмачеве? — прищурился молодой человек.

— Вы меня извините,— сказал я.— Но тут у вас есть еще одно место — самое чудовищное по ненужности и вздорности... Вот это: «Следовало бы Норвегии обратить на это серьезное внимание»? Положа руку на сердце: при чем тут Норвегия?

Молодой человек положил руку на сердце и простодушно сказал:

— А вдруг бы все-таки догадались, что это о Толмачеве? Влетело бы тогда нам по первое число. А так — ну-ка — пусть догадаются! Ха-ха!

На мои глаза навернулись слезы.

— Бедные мы с вами...— прошептал я и заплакал, нежно обняв хитрого молодого человека. И он обнял меня.

И так долго мы с ним плакали.

И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали:

— Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы!

И тоже плакали над своей горькой участью.

И артельщик пришел, и кассир, и мальчик, обязанности которого заключались в зализывании конвертов для заклейки — и даже этот мальчик не мог вынести вида нашей обнявшейся группы и, открыв слипшийся рот, раздирательно заплакал...

И так плакали мы все.

*
* *
*

Эй, депутаты, чтоб вас!.. Да когда же вы сжалитесь над нами? Над теми, которые плачут...

«АПОЛЛОН»

Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу... По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

— Как же он... называется? — растерянно спросил я.

— Да ведь заглавие-то на обложке!

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

— Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны, могу дать вам слово, что если то, что вы мне сообщите, секрет,— я буду свято хранить его.

— Здесь нет секрета,— сказал приказчик.— Журнал называется «Аполлон», а если буквы греческие, то это ничего... Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет, как по маслу.

— Почему же журнал называется «Аполлон», а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался.

— Аполлон — бог красоты и света, а ящерица — символ чего-то скользкого, противного... Вот она, очевидно, и пронзена богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием «Скрежет», то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов...

Заинтересованный диковинным «Аполлоном», я купил журнал и ушел.

*
* *
*

Первая статья, которую я начал читать,— Иннокентия Анненского,— называлась «О современном лиризме».

Первая фраза была такая:

«Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро...»

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку... Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался и ну — махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины «лиризма», тоже не развеселила меня:

«В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...»

Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи «О современном лиризме»...

*
* *
*

Неприятное чувство сгладила другая статья: «В ожидании гимна Аполлону».

Я человек очень жизнерадостый, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:

«Так как танец есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем людям в хороводы и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными, непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни».

Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов привели меня в решительный восторг.

«Действительно!— думал я.— Как мы живем... Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползают на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены... Нет, решительно, обетные шествия и плясы — вот то, что выведет нас на новую дорогу».

Дальше автор говорил:

«Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу...»

«Вот оно!— подумал я.— Начинается!»

У меня захватило дыхание от предвкушения близкого

веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье:

«О театре».

*
* *
*

Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.

Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жаловании у дирекции театра, или актеры будут уравнены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты «на право игры»... И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре — простое глазение на все происходящее?..

Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.

*
* *
*

Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.

Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.

— Господа!— предложил я.— Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!

Мое предложение вызвало недоумение.

— То есть?..

— В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нестись даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь... Позвольте вашу руку, мадам!.. Вот так... Господа! Ну, зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну, теперь можете нестись в радостном хороводе. Господа... Нельзя же так!..

Гости растерянно опустили сплетенные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.

— Почему вам взбрела в голову такая идея — танцевать?— сухо спросил хозяин дома.— Когда будет танцевальный вечер, там молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла — согласитесь сами...

Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:

— А поэта Бунина в академики выбрали... Слышали?

Я пожал плечами.

— Ах, уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы и теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...

Хозяйка побледнела.

А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:

— Надеюсь, после всего вами сказанного вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно...

Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:

— То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы наших первых мэнад. Вам только поручи какое-нибудь дело... Благодарю вас, не беспокойтесь... Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек...

*
* *
*

По улице я шагал с тяжелым чувством.

— Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще, в извозчичий кнут обратив, тебя же им и оттузит! Дионисы!

Огорченный, а зашел в театр.

На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.

— Так — жаловаться?!— гремел городничий.

Я решил попытаться провести в жизнь так понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.

— ...Жаловаться? Архиплуты, протобестии...

Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:

— ...Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь...

Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:

— Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?..

Я попытался оправдаться:

— Тирсы уж очень примахались, господин околоточный...

— Знаем мы вас,— скептически сказал околоточный.— Напьются, а потом — тирсы! . . . .
. . . .

НЕИЗЛЕЧИМЫЕ

Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию.

Книжн известия

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

— В чем дело?

— Вещь!

— Которая?

— Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса — так и быть, отдам!

Издатель нахмурил брови.

— Повесть?

— Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

«...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная, волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...»

— Еще что?— сухо спросил издатель.

— Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все заверте...»

— Еще что?— спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин, в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

— А... еще... вот... Зззаб... бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... Над их головами шмыгали пароходы

и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте...»

— Не надо,— сказал издатель.

— Что не надо?— вздрогнул писатель Кукушкин.

— Не надо. Идите, идите с богом.

— В-вам... не нравится? У... у меня другие места есть... Внучек увидел бабушку в купальне... А она еще была молодая...

— Ладно, ладно. Знаем! «Не помня себя, он бросился к ней, схватил ее в объятия, и все заверте...»

— Откуда вы узнали?— ахнул, удивившись, писатель Кукушкин.— Действительно, так и есть у меня.

— Штука нехитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:

— А где тут у вас корзина?

— Вот она,— указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

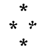
— О чем нужно?

— Первее всего теперь читаетстя естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных...

— А аванс дадите?

— Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!!

— Давайте под муху,— вздохнул писатель Кукушкин.



Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:

I. БОЯРСКАЯ ПРОРУХА

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

— Ой, ты, гой, еси,— воскликнул он на старинном языке того времени.

— Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец!— воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и — все заверте...

II. МУХИ И ИХ ПРИВЫЧКИ

(Очерки из жизни насекомых)

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.

Звали ее по-мушиному — Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте...

ПРЕСТУПЛЕНИЕ АКТРИСЫ МАРЫСЬКИНОЙ

Раздавая роли, режиссер прежде всего протянул толстую, увесистую тетрадь премьерше Любарской.

— Ого!— сказала премьерша.

Потом режиссер дал другую такую же тетрадь любовнику Закатову.

— Боже!— с ужасом в глазах вздохнул любовник.— Здесь фунта два! Не успею. Фунта полтора я бы еще выучил, а два фунта — не выучу.

«Дурак ты, дурак!» — подумала выходная актриса Марыськина.

— Это не роль, а библия!— вскричала Любарская и сделала вид, что сгибается под тяжестью полученной тетрадки.

«Дура ты, дура,— подумала Марыськина.— Оторвала бы для меня листков десять — я бы вам показала!»

Потом получили роли: старуха Ковригина, комик Лучинин-Кавказский, второй актер Талиев и вторая актриса Макдональдова.

Марыськина с аппетитом проглотила слюну и спросила, сдерживая рыдания:

— А мне?

— Есть и тебе, милочка,— улыбнулся режиссер.— Вот тебе ролька — пальчики проглотишь.

Между двумя его пальцами виднелась какая-то крохотная измятая бумажка.

— Это такая роль?

— Такая.

— Да где она?

— Вот.

— Я ее не вижу,— обиженно сказала Марыськина.

— Ничего,— вздохнул режиссер,— она маловата, но зато дает громадный материал для игры. Подумай, ты богатая купчиха, гостья — во втором акте.

— А что я говорю?

— Вот что: «...в числе других гостей входит купчиха Полуянова. Целуется с хозяйкой... («с ней» — указал режиссер на Любарскую)... говорит: «Наконец-то собралась к вам, милые мои...» Солнцева: «Очень рада, садитесь».— «Сяду и даже чашечку чаю выпью».—«Сделайте одолжение!» Полуянова садится, пьет чай».

— И это все?— с отвращением спросила Марыськина.— Хоть бы две странички дали...

— Миленькая! Да ведь тут игры масса! Погляди, быту сколько: «Наконец-то собралась к вам, милые мои...» Ведь это живое лицо! Купчиха во весь рост! А потом: «...Сяду и даже чашечку чаю выпью!» Заметь, ей еще и не предлагали чай, а она уже сама заявляет — «выпью»! Вот оно где, темное купеческое царство гениального Островского: сяду, говорит, и даже чаю выпью. Ведь это тип! Это сама жизнь, перенесенная на подмостки! Я понимаю, если бы хозяйка там предложила ей: «Выпейте чаю, госпожа Полуянова». А то ведь нет! Этакая бесцеремонность: «Сяду и даже чаю выпью». Хе-хе! Ты бесцеремонность-то подчеркни!

Марыськина с болезненной гримасой прочла еще раз роль и сказала:

— А мне тип Полуяновой рисуется иначе: эта женщина хотя и выросла в купеческой среде, но она рвется к свету, рвется в другой мир... У нее есть идеалы, она даже влюблена в одного писателя, но муж ее угнетает и давит своей злостью и ревностью. И она, нежная, тонкочувствующая, рвется куда-то.

— Ладно,— равнодушно кивнул головой режиссер.— Пусть рвется. Это не важно. Тебе виднее...

— Я ее буду толковать немного экзальтированной, истеричкой...

— Толкуй! Дальше... «Роль слуги Дамиана»! Это вам, Аполлонов. «Горничная Катерина»— Рабынина-Вольская!

Марыськина отошла в угол в задумчивости...

*
* *
*

...Начался второй акт. Сцена изображала гостиную в доме Солнцевой (Любарская). Собираются гости, приходит комик Матадоров (Лучинин-Кавказский), с которым хозяйка ведет напряженный разговор, так как она ожидает появления своего любовника Тиходумова (Закатов), изменившего ей с баронессой. Должна произойти сцена, полная глубокого драматизма. Объяснение на первом плане; в глубине сцены — тихий разговор ничего не подозревающих гостей...

Когда поднялся занавес, на сцене была одна Солнцева. Она ходила по сцене, ломала руки и, читая какую-то записку, шептала:

— Неужели? О, негодяй!

В это время в гостиную вошла группа гостей, и Солнцева, согнав с лица страдальческое выражение, приветливо встретила пришедших.

Она поклонилась молчаливым гостям, поцеловалась с купчихой Полуяновой (Марыськиной), и когда суфлер сказал: «Ах, это вы... вот приятный сюрприз!»— хозяйка тоже обрадовалась и покорно повторила:

— Ах, неужели же это вы! Вот так приятный сюрприз!

Марыськина посмотрела вдаль и печально прошептала:

— Наконец-то собралась к вам, милые мои!

— Очень рада,— приветливо сказал суфлер.— Садитесь.

Хозяйка дома вполне согласилась с ним:

— Очень рада! Чрезвычайно. Отчего же вы не садитесь? Садитесь!

Марыськина истерически засмеялась и, теребя платок, сказала:

— Сяду и даже чашечку чаю выпью!

Она опустилась на диван, и сердце ее больно сжалось. «Все...— подумала она.— Все! Вот она и роль!..»

И неожиданно сказала вслух:

— Да... что-то жажда меня томит, с самого утра. Ну, думаю, приеду к Солнцевым — там и напьюсь.

Солнцева недоумевающе взглянула на купчиху.

— Сделайте одолжение,— согласился гостеприимный суфлер.

— Пожалуйста! Сделайте одолжение... Я очень рада,— преувеличила Солнцева.

— Да...— сказала Марыськина.— Ничто так не удовлетворяет жажду, как чай. А за границей, говорят, он не в ходу.

— Замолчите!— прошептал суфлер, меняя обращение с купчихой Полуяновой.—«Солнцева отходит к другим гостям».

— Что это вы, милая моя, такая бледная?— спросила вдруг Марыськина.— Неприятности?

— Да...— пролепетала Солнцева.

От приветливости суфлера не осталось и следа.

— Молчите! Почему вы, черт вас дери, говорие слова, которых нет? «Солнцева отходит к другим гостям»! Солнцева! Отходите!

Солнцева, смотревшая на Марыськину с немым ужасом, напрягла свои творческие способности и сочинила:

— Извините, мне надо поздороваться с другими. Вам сейчас подадут чай.

— Успеете поздороваться,— печально прошептала Марыськина.— Ах, если бы вы знали, душечка... Я так несчастна! Мой муж — это грубое животное без сердца и нервов!

Марыськина приложила платок к глазам и истерически крикнула:

— Лучше смерть, чем жизнь с этим человеком.

— Замолчишь ли ты, черт тебя возьми!— прошептал энергично суфлер.— Оштрафует тебя Николай Алексеич — будешь знать!

— Передо мной рисуется другая жизнь,— сказала Марыськина, ломая руки.— Я рвусь к свету! Я хочу пойти на курсы. О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?!

— Успокойтесь!— сказала Солнцева и повернула к публике свое бледное, искаженное ужасом лицо.— Извините... Я пойду к другим гостям.

Марыськина схватилась за голову.

— К другим гостям? А кто они такие, эти гости? Жалкие паразиты и лгуны. Агриппина Николаевна! Здесь перед вами страдает живой человек, и вы хотите променять его на каких-то пошляков... О, бож-же, как тяжело... Все знают только — ха-ха!— богатую купчиху Полуянову, а душу ее, ее разбитое сердце никто не хочет знать... Господи! Какое мучение!

— Она с ума сошла!— сказал вслух суфлер и, сложив книгу, в отчаянии провалился вниз.

— Пусть я не святая!— вскричала Марыськина, подходя к рампе.— Я женщина, и я люблю... Пусть! И знаете кого?

Она схватила Солнцеву за руку, нагнула к ней искаженное лицо и прошипела с громадным драматическим подъемом:

— Я люблю вашего любовника, которого вы ждете! Он мой, и я никому его не отдам. Вам написали насчет баронессы — ложь! Я его люблю! Что, мадам, кусаете губы? Ха-ха! Купчиха Полуянова никого не стесняется — да! Я имею любовника, и фамилия его — Тиходумов.

— Вон со сцены!— проревел из-за кулис режиссер.

«Истерику бы,— подумала Марыськина.— Если уж чем выдвинуться, то истерикой».

Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи ее задрожали... Плач перемешался с хохотом, и из уст вырывались отрывочные слова:

— Пусть! Пусть... Я его вам... не отдам. Ты у меня его не возьмешь... змея!

Никогда зрителям не приходилось видеть более жалких, растерянных лиц, чем у актеров на сцене в этот момент. Все так привыкли говорить только по тетрадкам весом в два фунта, в фунт и четверть фунта, что самые простые слова, вырывающиеся у присутствующих при истерике, никому не приходили в голову.

И в то время, когда купчиха Полуянова билась в истерике, два гостя рассматривали картину, и один говорил другому вызубренные наизусть слова:

— А эта Солнцева богато живет... У нее шикарно!

— Говорят, у нее что-то есть с Тиходумовым.

— Кто говорит? Я об этом ничего не слышал...

Никому не пришло в голову даже предложить воды плачущей купчихе. Нахохотавшись и наплакавшись вдоволь, она встала и, пошатываясь, сделала прощальный жест по направлению к Солнцевой:

— Прощай, низкая интриганка! Теперь я понимаю, почему ты предлагала мне чаю! Я видела через дверь, как твой сообщник сыпал мне в чашку белый порошок. Ха-ха! Купчиха Полуянова только сама, собственной рукой, перережет нить своей жизни! Не вам, червям, бороться с ней! Прощайте и вы, пошлые манекены, и ты прощай, жалкий, хихикающий Матадоров! Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни!

Марыськина вышла ...и гром аплодисментов, низринувшись с галерки, разбился внизу, прокатился по партеру и замер в снисходительно похлопавших первых рядах...

* * *

Усталая, опустошенная, прошла Марыськина за кулисы, повернула в уборную и наткнулась на режиссера, который бежал прямо к ней.

— Вот твои вещи — их уже уложили. Тебе следовало двадцать восемь рублей, минус двадцать пять штрафу — три! На.

— Ладно,— сказала устало Марыськина.— Пусть... вещи на извозчика.

— Никифор! Выброси на извозчика ее вещи.

— Прощайте.

— Вон!

Сверх платья купчихи Полуяновой Марыськина натянула дряхлое, истасканное пальто, размазала рукой по лицу грим и с непроницаемым видом вышла, споткнувшись о порог.

НА «ФРАНЦУЗСКОЙ ВЫСТАВКЕ ЗА СТО ЛЕТ»

Посмотрим, посмотрим... Признаться, не верю я этим французам.

— Почему?

— Так как-то... Кричат: «Искусство, искусство!» А что такое искусство, почему искусство?— никто не знает.

— Я вас немного не понимаю — что вы хотите сказать словами: «Почему искусство»?

— Да так: я вот вас спрашиваю — почему искусство?

— То есть как — почему?

— Да так! Вот небось и вы даже не ответите, а то французские какие-то живописцы. Наверное, все больше из декадентов.

— Почему же уж так сразу и декаденты? Ведь декаденты недавно появились, а эта выставка за сто лет.

— Ну, половина, значит, декадентов. Вы думаете, что! Им же все равно.

— Давайте лучше рассматривать картины.

— Ну, давайте. Вы рассматривайте ту, желтую, а я эту.

— Что ж тут особенного рассматривать — вот я уже и рассмотрел.

— Нельзя же так скоро. Вы еще посмотрите на нее.

— Да куда ж еще смотреть?! Все видно как на ладони: стол, на столе яблоки, апельсины, какая-то овощь. Интересно, как она называется?

— А какой номер?

— Сто двадцать седьмой.

— Сейчас... Гм! Что за черт! В каталоге эта картина называется «Лесная тишина». Как это вам понравится?! У этих людей все с вывертом... Он не может прямо и ясно написать: «Стол с яблоками» или «Плоды». Нет, ему, видите ли, нужно что-нибудь этакое почуднее придумать! Лесная тишина! Где она тут? А потом возьмет он, нарисует лесную тишину и подпишет: «Стол с апельсином». А я вам скажу прямо: такому молодцу не на выставке место, а в сумасшедшем доме!

— Ну, может быть, это ошибка. Мало ли что бывает: типографщик напился пьяный и допустил ошибку.

— Допустим. Пойдем дальше. А это что за картина? Ну... голая женщина — это еще ничего. Искусство там, натура, как вообще... Какая-нибудь этакая Далила или Семирамида. Какой номер? Двести восемнадцать? Посмотрим. Вот тебе! Я же говорю, что у этих людей вместо головы коробка от шляпы! И это называется «новым искусством»! Новыми путями! Может, скажете — опять типографская ошибка? Нарисована голая женщина, а в каталоге ее называют: «Вид с обрыва»! Нет-с, это не типографская ошибка, а тенденция! Как бы почудней, как бы позабористее на голову стать. Эх вы! Просвещенные мореплаватели!

— Это не англичане, а французы.

— Я и говрою. И я уверен, что вся выставка в стиле «О, закрой свои голубые ноги». Это что? Четыреста одиннадцатый? Лошадки на лугу пасутся. Как оно там? Ну конечно! Они это называют «Заседание педагогического совета»!

— А знаете — это мне нравится. Тут есть какая-то сатира... Гм! Ненормальная постановка дела высшего образования в России. Проект Кассо...

— Нет! Нет! Вы посмотрите! Тут нормальному человеку можно с ума сойти! Я бы за это новое искусство в Сибирь ссылал! Вы видите? Нарисован здоровенный мужчинище с бородой, а под этим номером творец сего увража в каталоге пишет: «Моя мать»... Его мать! Да я б его... Нет, не могу больше! Я им сейчас покажу, как публику обманывать. Ты, милый мой, хоть и декадент, а тюрьма для декадентов и для недекадентов одинаковая! Эй, кто

тут! Вы капельдинер? Билеты отбираете? За что? Может, и у вас новое течение? Посмотрите вашими бесстыдными глазами — кто это может допустить?! Это какой номер? Девяносто пятый? Мужчина с бородой? А в каталоге что? Девяносто пятый — «Моя мать»? Мать с бородой? Юлия Пастрана? Или зарвавшаяся наглость изломанных идиотов, которым все прощается? Я вас спрашиваю! Что вы мне на это скажете?

— Что я скажу? Позвольте ваш каталог... Вы сейчас откуда?

— Мы, миленький мой, сейчас из такого места, которое не вам чета! Там художники хранят святые старые традиции! Одним словом — с академической выставки, которая...

— Вы бы, господин, если так экономите, то уж не кричали бы,— ведь у вас каталог-то не нашей, а чужой выставки.

ЛЮДИ, БЛИЗКИЕ К НАСЕЛЕНИЮ

Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказало разнеженным голосом:

— Ах, вы знаете, какая прелесть это искусство!.. Вот я на днях был в Эрмитаже, такие там есть картинки, что пальчики оближешь: Рубенсы разные, Теннирсы, голландцы и прочее в этом роде.

Секретарь подумал и сказал:

— Да, живопись — приятное времяпрепровождение.

— Что живопись? А музыка! Слушаешь какую-нибудь ораторию, и кажется тебе, что в небесах плаваешь... Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли...

— Гуно — хороший композитор,— подтвердил секретарь.— Вообще, музыка — увлекательное занятие.

— А поэзия! Стихи возьмите. Что может быть возвышеннее?

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
И я понял в одно мгновенье...

Ну, дальше я не помню. Но, в общем, хорошо!

— Да-с. Стихи чрезвычайно приятные и освежительны для ума.

— А науки!..— совсем разнежась, прошептало его превосходительство.— Климатология, техника, гидрография... Я прямо удивляюсь, отчего у нас так мало открытий

в области науки, а также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах?

— Они есть, ваше превосходительство, но гибнут в безвестности.

— Надо их открывать и... как это говорится, вытаскивать за уши на свет божий.

— Некому поручить, ваше превосходительство!

— Как некому? Надо поручить тем, кто стоит ближе всех к населению. Кто у нас стоит ближе всех к населению?

— Полиция, ваше превосходительство!

— И прекрасно! Это как раз по нашему департаменту. Пусть ищут, пусть шарят! Мы поставим искусство так высоко, что у него голова закружится.

— О-о, какая чудесная мысль! Ваше превосходительство, вы будете вторым Фуке!

— Почему вторым? Я могу быть и первым!

— Первый уже был. При Людовике XIV. При нем и благодаря ему расцветали Лафонтен, Мольер и др.

— А-а, приятно, приятно! Так вы распорядитесь циркулярчиком.

* * *

Губернатор пожевал губами, впал в глубокую задумчисть и затем еще раз перечитал полученную бумагу:

«2 февраля 1916 г.
Второе делопроизводство
департамента.

Принимая во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать все там происходящее и заслуживающее быть отмеченным, прошу ваше превосходительство поручить чинам подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений, проявленного тем или иным лицом творчества или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будет, ли то в области сельского хозяйства или технологии, поэзии, живописи или музыки, техники в широком смысле или климатологии,— немедленно доводить до вашего сведения, и затем по проверке представленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в министерство внутренних дел по департаменту полиции».

Очнулся.

— Позвать Илью Ильича! Здравствуйте, Илья Ильич!

Я тут получил одно предписаньице: узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией или вообще какой-нибудь климатологией, и по выяснении лиц, занимающихся означенными предметами, сообщать об этом в департамент полиции. Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению!

— Слушаю-с.

*
* *

— Илья Ильич, вы вызывали исправника. Он ожидает в приемной.

— Ага, зовите его! Здравствуйте! Вот что, мой дорогой! Тут получилось предписание разыскивать, кто из жителей вашего района занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией, и, по разыскании и выяснении их знания и прочего, сообщать об этом нам. Понимаете?

— Еще бы не понять? Будьте покойны, не скроются.

*
* *

— Становые пристава все в сборе?

— Все, ваше высокородие!

Исправник вышел к приставам и произнес им такую речь:

— До сведения департамента дошло, что некоторые лица подведомственных вам районов занимаются живописью, музыкой, климатологией и прочими художествами. Предлагаю вам, господа, таковых лиц обнаруживать и, по снятии с них показаний, сообщать о результатах в установленном порядке. Прошу это распоряжение передать урядникам для сведения и исполнения.

*
* *

Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах, слушали урядники четкую речь станового пристава:

— Ребята! До сведения начальства дошло, что тут некоторые из населения занимаются художеством — музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать виновных и, по выяснении их художеств, направлять в стан. Предупреждаю: дело очень серьезное, и потому никаких послаблений и смягчений не должно быть. Поняли?

— Поняли, ваше благородие! Они у нас почешутся. Всех переловим.

— Ну, вот то-то. Ступайте!

*
* *
*

— Ты Иван Косолапов?

— Я, господин урядник!

— На гармонии, говорят, играешь?

— Это мы с нашим вдовольствием.

— А-а-а... «С вдовольствием»? Вот же тебе, паршивец!

— Господин урядник, за что же? Нешто уж и на гармонии нельзя?

— Вот ты у меня узнаешь «вдовольствие»! Я вас мерзавцев всех обнаружу. Ты у меня заиграешь! А климатологией занимаешься?

— Что вы, господин урядник? Нешто возможно? Мы, слава богу, тоже не без понятия.

— А кто же у вас тут климатологией занимается?

— Надо быть Игнашка Кривой к этому делу причинен. Не то он конокрад, не то это самое.

— Взять Кривого. А тебя, Косолапов, буду держать до тех пор, пока всех сообщников не покажешь.

*
* *
*

— Ты — Кривой?

— Так точно.

— Климатологией занимался?

— Зачем мне? Слава богу, жена есть, детки...

— Нечего прикидываться! Я вас всех, дьяволов, переловлю! Песни пел?

— Так нешто я один. На лугу-то запрошлое воскресенье все пели: Петрушка Кондыба, Фома Хряк, Хромой Елизар, дядя Митяй да дядя Петряй...

— Стой, не тарахти! Дай записать... Эка, сколько народу набирается. Куда его и сажать? Ума не приложу.

*
* *
*

Через две недели во второе делопроизводство департамента полиции стали поступать из провинции донесения:

«Согласно циркуляра от 2 февраля, лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены, затем, после некоторого запирательства, изобличены и в настоя-

щее время состоят под стражей впредь до вашего распоряжения».

*
* *
*

Второй Фуке мирно спал, и грезилось ему, что второй Лафонтен читал ему свои басни, а второй Мольер разыгрывал перед ним «Проделки Скапена».

А Лафонтены и Мольеры, сидя по «холодным» и «кордегардиям» необъятной матери-России, закаивались так прочно, как только может закаяться простой русский человек.

ОККУЛЬТНЫЕ НАУКИ

Предисловие

Большинство несведущих людей под словом оккультизм подразумевают столоверчение. Это не так.

Оккультизм очень сложная и хлопотливая вещь; это громадная область — от вызывания духов до получения, с помощью гипнотического внушения, наследства от совершенно постороннего человека.

Мы не хотим хвастаться своей ученостью, но должны для полноты указать на такую область оккультизма, как учение йогов.

Ошеломлять так ошеломлять.

Учение йогов разделяется на хатха-йога, бхакти-йога, раджа-йога и жнани-йога.

Все это изложено в книгах индусского мудреца, носящего немного сложную, но звучную фамилию:

Рамачарака.

Наш товарищ по перу, Рамачарака, очень аккуратно и внимательно изложил принципы учения йогов, и если эти принципы сложны и запутанны, то не наш товарищ Рамачарака тому виной.

Наша задача скромнее задач Рамачараки — мы дадим только общую схему оккультных наук в сжатой форме. И если кто-нибудь, прочтя наш труд, сумеет вызвать духа — пусть он и разделывается с ним, как знает.

Глава первая. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ЧЕЛОВЕК

Средний читатель уверен, что все окружающие его состоят из мяса, костей, крови и мозга.

О, как он глубоко заблуждается!

Некоторые смотрят на человека еще примитивнее:

— Боже, как вы похудели: кожа да кости!

Или:

— Как он растолстел: *одно сало.*

О, какой дикариный взгляд на сущность человека!

Вот из чего состоит человек: 1) Тело как таковое. 2) Эфирное тело. 3) Астральное тело и 4) Мысленное тело.

I. *Тело как таковое.*— Для ознакомления с этим предметом лучше всего ощупать самого себя.

II. *Двойник, или эфирное тело.*— Это тело, после физического,— самое видное. Ледбитер говорит (вы, конечно, не знаете, кто такой Ледбитер, а мы знаем...), что «эфирный двойник» ясно виден ясновидящему — в виде светловатой массы пара, серо-красной, выходящей за пределы физического тела. Эта светловатая масса называется аурой. Имеется она даже у подрядчиков строительных работ, скаковых жокеев и клубных шулеров.

Когда человек здоров — аура его с легким голубоватым оттенком, в виде множества лучей, ровно расходящихся во все стороны. Но стоит человеку заболеть — лучи на заболевшей части тела становятся неправильными, пересекаются в беспорядке, поникают и перепутываются. В этом случае расчесывание перепутанной ауры гребенкой не рекомендуется.

Ш. Ланселен (его-то уж читатель знает) утверждает, что когда эфирное тело (двойник) отделяется от физического тела — оно всегда выходит с левой стороны, в уровень селезенки, под видом излучений. Каждый это может легко проверить на самом себе.

III. *Астральное тело.*— Оно тоньше и нежнее, чем эфирное. Чем человек умнее, интеллигентнее, тем его астральное тело нежнее.

Например, пишущему эти сроки однажды пришлось увидеть свое астральное тело. И что же — он чуть не ослеп от блеска. Нежности оно было такой, что мясо цыпленка по сравнению с ним казалось куском чугуна.

Астральное тело, отделяясь от физического, по утверждению оккультистов, может появляться в других местах. Так, например, если ваше физическое тело занято на свидании с любимой женщиной, вы можете послать свое астральное тело в банкирскую контору для учета векселя или получения денег по чеку. Если же, возвратясь, астральное тело эти деньги зажилит, то, значит, оно где-нибудь

материализовалось и пропило всю сумму в кабинете ресторана. При отделении астрального тела от физического физическое тело должно спать. Если же в ту комнату, где спит такое опустошенное тело, зайдет посторонний и начнет радостными криками будить спящего,— астральное тело обязано сломя голову мчаться назад и, прибежав, моментально впрыгнуть в человека. Только тогда человек делается полным человеком и имеет право проснуться.

Оккультисты утверждают, что если астральное тело почему-нибудь к моменту пробуждения не вернется, то спящий умирает. Вообразите же себе изумление и досаду астрального тела, когда оно, разогнавшись, прибежит домой и вместо теплого футляра наткнется на холодный труп. Разочарованное, оно пойдет бродить около других людей, ехидно поджидая случая, когда кто-нибудь отпустит свое астральное тело погулять по местам не столь отдаленным... Тогда осиротевшее астральное тело влезет в живого спящего и, свернувшись там клубочком, станет поджидать своего коллегу.

И когда тот прибежт, запыхавшись, и полезет в спящее тело, оттуда выглянет наш первый астрал и, пряча смущенное лицо, проворчит:

— Ну, куда лезешь? Не видишь — место занято.

Иногда доходит до тяжелой сцены, кончающейся дракой.

IV. *Мысленное тело.*— Определение его оккультистами не совсем вразумительно («Это — орудие души на плане мысли, когда она покинула астральное тело»).

Мысленное тело (говорит Анни Безант) образуется под влиянием мысли, в особенности если последняя благообразна и возвышенна. Мысленное тело — яйцеобразное.

У дураков это тело такое маленькое, что его почти не видно. Да и немудрено.

Глава втора. ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИЗРАКА

Призрак живых в древние времена назывался двутелесностью.

В своей книге «Cite de Dieu» святой Августин рассказывает, что «его отец, поевши у себя дома отравленного (?!) сыра, лежал на постели в глубоком сне, и его не могли разбудить никаким способом... Спустя несколько дней он проснулся и рассказал о том, что испытывал во сне: он был лошадью и вместе с другими лошадьми возил солдатам

припасы, которые называют рецийскими, потому что доставляют их из Реции».

К сожалению, вопрос об этих метаморфозах не разработан. Человек, скажем, поел отравленного сыра и превратился в лошадь, возящую рецийские припасы... Спрашивается: в какое животное превратился бы он и что возил бы он, поев отравленного мяса, или разложившихся фруктов, или сгнившей рыбы? Может быть, рыба сделала бы его ослом, возящим донецкий антрацит, а мясо — слоном, несущим на лобастой голове канака с молоточком...

Много необъяснимого и загадочного на свете.

Тот же доктор Ш. Ланселен утверждает, что призраки живых существуют и отделить от тела спящего его эфирный двойник не так уж трудно. Он говорит, что сам проделывал это сотни раз. Его рассказ об этом дышит искренним простодушием и несокрушимой деловитостью.

«У меня,— говорит он,— есть несколько специальных субъектов, годных для раздвоения, и я произвожу с ними такие опыты: усаживаю субъекта в кресло, сбоку которого стоит другое кресло — для призрака. После нескольких гипнотических пассов субъект быстро засыпает и затем начинает излучать бледный свет, который быстро материализуется, сгущается, становясь призраком. Призрак помещается по левую сторону от субъекта на расстоянии 40—50 сантиметров. Субъект соединяется со своим призраком особым шнуром, толщиной в палец; шнур выходит из тела на уровне селезенки и служит для передачи от призрака субъекту и обратно чувствований и ощущений. Если быстро перерезать этот шнур — субъект может умереть».

Доктор Ш. Ланселен в своих опытах с выделением призраков дошел до такой развязности, что стал делать опыты над осязанием призраков, обонянием, вкусом, слухом и зрением... Одного призрака он даже взвесил. Призрак весил немного: что-то около полуфунта.

В некоторых опытах Ланселена много настоящего юмора. Например, он рассказывает, что однажды, усыпив со своим товарищем двух субъектов и выделив их призраки, он послал обоих призраков в другую комнату. Но, проходя в двери, призраки перепутались шнурами, соединяющими их с субъектами, и так как оба экспериментатора не видели в темноте этих шнуров, то после попытки распутать сцепившихся призраков запутали их еще больше. Призраки стали нервничать, дергаться в разные стороны, а спящие субъекты принялись издавать стоны и жаловаться

на сильную боль... «Насилу,— говорит деловитый Ш. Ланселен,— мы распутали их, обводя одного вокруг другого».

Все это, конечно, кажется чем-то диким, сверхъестественным, но если бы читатель дал себе труд проштудировать всю эту интересную книгу («Призрак живых» Дюрвиля — опыты Ш. Ланселена, книгоиздательство «Новый человек»), он вместе с нами был бы загипнотизирован серьезным спокойным тоном ученого, который безо всякой примеси шарлатанства рассказывает о вещах, от которых шевелятся волосы на голове.

Когда мы читаем беллетристические измышления о появлении призраков, вещающих загробным голосом какие-то странные слова, мы привыкли к тому, что всякий, кто присутствует при этом, или умирает от разрыва сердца или остается на всю жизнь седовласым стариком.

Не таков человек доктор Ланселен.

«В субботу (рассказывает он) 13 июня 1908 г. г-жа Ламбер (одна из пациенток доктора Ланселена) была у А. Около 8 часов вечера, проходя по темной гостиной, она увидела у камина немного блестящую туманную колонну, вышиною с человека среднего роста, с неясно обрисованными контурами. Испуганная (еще бы!), она быстро прошла в столовую и объявила, что видела призрак. Г-жа А. подошла к дверям гостиной и увидела ту же светящуюся колонну».

Кажется, после всего этого единственный нормальный выход — бросить квартиру на произвол судьбы и бежать куда глаза глядят... Так бы оно, вероятно, и было. Но тут замешался доктор Ланселен, автор книги «Призрак живых».

Приступает он к исследованию просто и деловито: в том месте, где появился призрак, он вешает несколько термометров и выясняет, что температура этого места *выше на два градуса*, чем температура в 2-х шагах. Усыпленная им ясновидящая г-жа Ламбер объясняет, что призрак этот — умерший отец г-жи А. и что он все время напрягает свои слабые силенки, чтобы материализоваться и сообщить г-же А. что-то очень, по его мнению, важное. Повышение температуры и есть следствие его немощных усилий принять видимую внешность.

А г-жа А., в свою очередь, рассказывает:

«Вот уже два дня, как мы видим призрак покойного, который следует за нами или предшествует нам, куда бы мы ни шли — особенно в квартире; тут, если мы менее заняты, он возвращается к своей стоянке у камина и виден все время в форме блестящей колонны. Протягивая

руки в эту колонну, мы всегда ощущаем сильную теплоту».

Появление этого призрака кончилось ничем — старичок так и не излил дочери своей наболевшей души. Теплоту израсходовал совершенно зря и, побродив еще немного за дочерью, мирно вернулся к своим астральным занятиям — бедный, бесхитростный, беспомощный старик.

А деловитый Ланселен снял развешанные термометры, составил протокол и снова вернулся к своим «призракам живых», измеряя их, взвешивая, пробуя на вкус.

Деловитость его доходит в некоторых вещах до того, что, например, глава III (стр. 121) носит название «Действие призрака на сернистый кальций».

Даже об этом подумал ничего не упускающий доктор Ш. Ланселен!

Глава третья. КАК ПРИОБРЕСТИ ЛИЧНЫЙ МАГНЕТИЗМ

Искусство дышать. Общее мнение таково, что дышать может всякий дурак. «И рыба дышит»,— сказал Сенека. Однако дышать не так легко, как думают.

«Оккультные книги указывают на следующий способ дыхания: сперва выпустите воздух из легких, пока они не станут совершенно пустыми; затем станьте прямо, вздохните через нос и наполните сначала нижнюю часть легких; затем наполняйте среднюю часть легких, выгибая вперед нижние ребра, грудную кость и грудь. Тогда уже наполняйте верхушку легких, выдвигая верхнюю часть грудной клетки и поднимая грудь вместе с верхними шестью и семью парами ребер». (См. Хатха-йога. Рамачарака, стр. 93).

Рамачарака уверяет, что это наиболее простое и приближающееся к природе дыхание.

Однажды пишущий эти строки попробовал, сидя в театре, подышать минут пять по-настоящему, по-йоговски.

Когда капельдинер выводил пишущего эти строки, слегка подталкивая в спину, он все время шептал со вздохами (вздохи были не йоговские): «И где это вы так успели набраться, господин?» Впрочем, в вопросе этом было больше истерического любопытства, чем укоризны...

Правду сказать, йогам дышать легко: забрался себе в джунгли, лег под бамбуком и дыши как угодно: поднимай грудь вместе с шестью ребрами или выгибай нижние ребра — ни одна собака, кроме близлежащего тигра, не осудит тебя.

А нам все время приходится быть на людях — не очень-

то тут задышишь по-йоговски. Дыши, как все — как говорит пословица: «С волками жить, по-волчьи выть».

Другая книга (д-р Ридель, «Оккультные науки») идет еще дальше:

«Дышите, как было указано выше, и одновременно с этим двигайте руками взад и вперед, пока ладони не сойдутся у вашего лба; когда же легкие вполне расширены, задержите дыхание и начинайте двигать руками назад, вперед и в стороны, описывая круг. Выдыхайте сначала верхнюю часть легких, потом нижнюю. Это нужно делать десять раз».

Оно можно бы делать и больше, но к десятому разу обычно сбегаются окружающие и, уложив вас с компрессом на голове в кровать, посылают за доктором, священником и нотариусом.

Это, в свою очередь, вызывает ряд глубоких вздохов как у вас, так и у окружающих...

Нервная мускулатура. «Примите правильное положение и, повернув лицо к окну (?), возьмите лист писчей бумаги за нижний правый угол большим пальцем и двумя следующими пальцами правой руки, держа верхний край бумаги в горизонтальной линии по отношению к вашему глазу и оконной раме; держать бумагу сначала надо минут пять, пока не устанет рука. Повторяя это упражнение, можно достигнуть получаса. Затем кладите на бумагу несколько дробинок и следите, чтобы они не скатывались».

Если вы выдержите эти упражнения три месяца, то в начале четвертого вы делаете следующее упражнение: снимаете с окна шнурок от портьеры, прикрепляете его к дверному косяку и, просунув голову в петлю, пробуете так висеть, стараясь глубоко и часто дышать по способу Рамачараки.

Упражнение это (придуманное исключительно нами) имеет ту хорошую сторону, что уже никаких повторений не потребует.

Гимнастика глаз (по доктору М. Риделю).

«Станьте перед зеркалом, поставьте в середине его маленькую точку и пристально смотрите на нее; двигайте головой кругообразно, увеличивая постепенно радиус круга. Глаз принужден будет при этом вращаться с целью фиксировать точку. Упражняйтесь так время от времени по две, по три минуты в течение первых десяти — четырнадцати дней. Такое упражнение укрепляет глазные мускулы и дает вам возможность воспринимать зрением данный предмет со всех сторон.

В течение следующих десяти дней делайте круг больше, а движения быстрее, не теряя из виду точки, направо и налево, продолжая упражняться по десяти минут или более, если не чувствуете боли».

Если бы в вашей голове вместо мозга было молоко, то по истечении одного-двух дней этих упражнений молоко сбилось бы в превосходное сливочное масло. Но так как предполагается, что голова ваша наполнена нежным мозговым веществом — мы можем только по-братски пожалеть вас и протянуть руку помощи. Можем также дать вам совет: отыскать доктора Магнуса Риделя и, заведя его в темный уголок, поделиться с ним личным мнением по поводу его высоконаучной книги...

Упражнение для развития личного магнетизма (по М. Риделю).

«Возьмите стул, стоящий твердо на полу, и сядьте на него как можно глубже, не касаясь, однако, плечами до его спинки. Грудь вперед, а живот назад; плечи несколько откинуть и слегка опустить. Руки положить на бедра, касаясь локтями верха бедер. Большой палец поднять так, чтоб он представлял собой с другими вытянутыми пальцами латинское V. Ноги отдельно, носки на расстоянии пяти-шести дюймов, пятки — двух или трех, представляя собой тоже латинское V. Губы сомкнуть, зубы разжать; язык должен лежать на нижней части рта, касаясь кончиком нижней челюсти, несколько вогнуть, совершенно спокойно. Подбородок должен быть откинут назад для придания независимого положения. Сидеть совершенно прямо без напряжения мускулов — лишь один позвоночный столб должен быть твердым, спиной к свету.

Теперь выберите какой-нибудь неяркий предмет, чтобы не рассеивались мысли, как, напр., копейка. Поместите этот предмет на расстоянии четырех-семи футов и на высоте глаз. Глядите на него упорно, не переставая и не моргая. В этом положении вы станете воспринимать, что посторонние мысли не оказывают на вас никакого влияния и вы находитесь, таким образом, в состоянии концентрации».

Лично мы того мнения, что копейка крайне неудачный предмет для концентрации мысли. Этот предмет скорей рассеивает мысли, чем концентрирует их.

«Копейка,— думаете вы, сидя перед этим «неярким предметом».— Гм... копейка... А вот будь у меня тысяча таких копеек, что бы я на них сделал! Купил бы новый галстук, отдал башмаки в починку, и еще осталось бы на кинематограф для меня и для моей Мурочки. А кстати:

Мурочка уже не заходит три дня. Не бегает ли она к этому художнику? Вообще, эти художники!.. Недавно видел в «Эрмитаже» Рубенса. Что только этот человек мог написать! Кстати: написать. Давно не отвечал маме на письма».

Вот тебе и концентрация.

Ридель приводит еще много подобных упражнений, но мы не хотим приводить их, потому что в глубине нашей души все время сидит тайный страх: а что, если хоть один из наших читателей примется серьезно за все предлагаемые Риделем упражнения. Что скажет нам его любимая жена? Его родственники? Его осиротевшая собака?



Усвоив принципы личного магнетизма, вы можете гипнотизировать всех, кто подвернется вам под руку...

Глава четвертая. ГИПНОТИЗМ

Гипнотизмом называется ряд поступков, благодаря которым один засыпает по желанию и воле другого. Однако автор какой-либо книги, развернув которую читатель засыпает, не может быть назван гипнотизером.

Гипнотизеры, как известно, усыпляют четырьмя манипуляциями, а именно:

1) Поглаживание.
2) Источение силы.
3) Возложение рук.
4) Дуновение.

Поглаживание без гипнотического сна вызывает у поглаживаемого субъекта возложение на лицо рук гипнотизера с большим источением сил. Это возложение рук нимало не напоминает дуновение.

Из вышеизложенного видно, что перед опытом субъект должен обязательно погрузиться в сон. Иначе — получается неприятность.

Гипнотизировать не так трудно, как принято думать...

Вы просто усаживаете человека на стул, делаете перед его лицом несколько пассов и приказываете:

— Спите.

После этого он засыпает.

Вы его спрашиваете:

— Вы спите?

— Ну да,— отвечает гипнотизированный,— конечно, сплю. Что вы — не видите, что ли?

После этого начинаются опыты.

Вы берете чугунное пресс-папье, подносите к носу спящего и категорически, тоном, не допускающим возражений, говорите:

— Это — лампа.

— Нет, это не лампа,— говорит далее гипнотизер,— а кошка.

— Ну да, кошка,— спешит согласиться спящий.— Ясное дело — кошка. Где вы достали эту дрянь?

По нашему мнению, все дело в кротости и покладливости спящего. Человек этот настолько деликатен, что не хочет обижать гипнотизера. Кошка? Пусть будет кошка. Вы хотите, чтобы это пресс-папье было яблоком? Извольте. Я даже откушу кусочек промокательной бумаги, если это вам доставит некоторое удовольствие!

После того как гипнотизер натешился всласть над спящим, подсовывая ему одни предметы вместо других, гипнотизер может скомандовать:

— Проснитесь!

— Есть,— бодро откликается спящий...

Хороший тон гипнотизма требует, чтобы спящий по пробуждении спросил: «Где я?», а потом принялся бы уверять, что он «ничего, ну решительно-таки ничего, вот тебе ни крошечки не помнит».

Гипнотизеры очень ценят таких воспитанных субъектов и платят им за сеанс большие деньги.

Впрочем, мы лично ценим только таких гипнотизеров, в действиях которых преобладает элемент юмора.

Например, д-р Северин рассказывает в своей книге о гипнотизме — об опытах английского гипнотизера Кеннеди.

«Кеннеди внушил нескольким мужчинам, что один из них — непослушный грудной ребенок, доведший до отчаяния своими криками няньку. Другому внушил, что он очень нетерпеливая нянька, третьему — что он мать.

Чтобы сделать комедию забавнее, он последних нарядил — одного в чепец, другого в фартук. Когда он сосчитал до трех, двое из находившихся под внушением — нянька и ребенок — серьезно принялись за исполнение своих ролей.

Ребенок, уже лежавший на полу, начал необыкновенно натурально кричать. Нянька бегала и искала (потом она их нашла) бутылку с молоком и пеленки. Дав ребенку молока, она взяла его на руки, но так как дитя не хотело

успокоиться, завернула его в готовые пеленки и положила в громадную корзинку.

Но ничего не помогло. Дитя кричало все сильнее и сильнее, и нянька со злостью таскала корзину по полу туда и сюда. Наступил момент появления матери. Было сделано внушение, и она появилась на сцену. Крупная перебранка между обеими сторонами. Мать берет ребенка на руки и начинает с ним ходить. Но дитя кажется слишком тяжелым и опять укладывается в корзину, заменяющую колыбель. Однако крикуна ничем не успокоишь.

Наконец он надоел матери, та его отшлепала и отдала няньке.

Эта в отчаянии схватилась за бутылку, довольно похожую на ликерную, и дала ее ребенку; затем он с таким ожесточением начал с проклятиями дергать корзину, что та перевернулась. Тут опять возгорелось недоразумение, обе стороны бросились друг на друга.

Внушение и удар в ладоши оператора, и все участвующие замерли на местах в живописных позах.

Другой раз Кеннеди среди добровольных зрителей заметил одного так называемого «просветленного», который за спиной оператора строил гримасы, давая публике понять, что дело не совсем чисто. Публика уже начала испытывать враждебное настроение к оператору. Последний, обеспокоенный этим, обернулся назад и увидел виновника. Он попросил у одного из присутствующих палку, приложил ее к плечу и начал фиксировать взором этого, совершенно неподготовленного к такой неожиданности человека. Просветленного это поразило. Его противодействие было сломлено. Он начал дрожать, встал со стула, бросился к Кеннеди и коснулся концом носа палки, которая все еще была устремлена на него.

Кеннеди, проведя его при помощи палки на некоторое расстояние, одним ударом опустил ее, и субъект не мог сдвинуться с места. То был случай каталепсии, вызванной страхом. Затем Кеннеди обратился к пораженному собеседнику: «Вы мне оказали большую услугу, и я хотел бы быть вам признательным за это. Скажите мне ваше желание, и, если возможно, я исполню его». Тот захотел много денег. Кеннеди приказал принести стакан воды, подал его субъекту и сказал: «В этом стакане 240 золотых, если вы их высыпете в карман, не рассыпав, они все ваши». Радость просветленного была необычайна, все лицо его засияло от восторга ввиду необычайной легкости задачи.

Он ловко опорожнил карман, придержал его края и

другой рукой вылил стакан с предполагаемыми 240 золотыми. Публика разразилась хохотом.

Кеннеди пробудил его, и он поразился, не понимая, как он тут очутился, и сделал несколько шагов, чтобы уйти. Теперь он заметил, что что-то случилось с одной половиной брюк, видит лужу на полу, хватается за брюки, которые непонятно влажны, заезжает рукой в карман, и скандал (?) готов».

А вот опыт Кеннеди с одной старухой:

«— Я,— говорит Кеннеди, усыпив старуху,— сделаю вас опять молодой!

Вам 20 лет, вы певица и сейчас выступаете на сцене с исполнением веселой песенки!

— Невозможно! 20 лет — как я могу стать двадцатилетней! Ведь я — старуха!

— Через две минуты вам будет 20 лет, вы сейчас почувствуете превращение.

Она вся как-то подбирается и через две минуты начинает:

— Как хорошо! Вот чудо-то!— Она поправляет косынку и улыбается: она уже уселась на постели.— Ах, вот и г-н директор! Чья очередь?— Далее она вступает в разговор с воображаемой подругой:— Пойдешь ты или я? Моя очередь или твоя? Одной надо выходить! Скорей! Ну хорошо, я иду! Дайте звонок, г-н директор! Я даже не знаю, какой у меня номер по программе! Ах, что тут! Не все ли равно?— Она изящно трижды кланяется воображаемой публике и выразительно поет. Затем протягивает руку, как будто что-то берет:— Какой прекрасный букет! Да еще в день моего рождения!— Затем она обращается к своей соседке и спрашивает:— Видишь букет?

— Через минуту вы будете пьяным кучером,— говорю я ей. Она протирает глаза, выпрямляется в кровати и начинает угощать воображаемую лощадь здоровыми ударами кнута: «Но, но, но, старая кляча!— Жест к вожжам.— Ты что же, ложиться? Но, но! Нет, так больше нельзя! Мальчишка, берегись! Смотри, смотри, чтобы тебя не переехали... Но, но старая кляча! Ты уж, верно, чуешь овес! А я с самого утра еще ничего не пил! Ах, вот (взгляд влево), вот и вывеска!»

Я спрашиваю: «Ты угощаешь?»—«Я не богач! Ну, изволь стаканчик, войдем! Стой, стой, старая стерва! Ну, поскорей, а то она удерет, и завяжется история с полицией! Человек, два стакана!— Она опоражнивает стакан.— А еще не нальешь? Еще разок. До свидания, до следующего

раза!» И все это она произносит тоном, который сделал бы честь самому лучшему кучеру в мире.

— Теперь вы светская дама и едете в экипаже со своим слугою.

Она принимает важный, гордый и серьезный вид, откидывается назад, опирается на подушки, прикрывается старательно одеялом, торжественно скрещивает руки на груди и говорит серьезным, резким голосом: «Какая чудная погода! Жозеф, поезжайте к водопаду, но осторожнее! Ехать тихо!» Она делает приветственные жесты рукой, с улыбкой раскланивается с разными лицами: «Какая масса народу!» Так в этом положении, с этим же гордым, величественным выражением лица она пребывает две минуты и затем приказывает: «Поверните! Но осторожнее!»

Наконец я говорю: «Лошади испугались!» А она на это: «Осторожнее, Жозеф! (Все еще прежним резким, размеренным тоном). Держите лошадей! Я вылезу! Держите лошадей! Я вылезу, держите же их скорее! Я не могу понять, отчего такая невнимательность! Успокойте лошадей, держите их! Недурно, мы едем назад, но скорее, чем мы ехали сюда! Эта толпа их так испугала, я не понимаю, что вы не следите! Ведь вы можете быть виною несчастья! Я с вами никогда больше не поеду! Я вам откажу, если вы не будете лучше следить за лошадьми! Дайте вожжи!»

— Я превращаю вас в капрала!

— Боже мой, капралом! Но какого полка? Ведь я женщина!

— Я превращаю вас в мужчину и капрала! Все ваши люди ждут ваших приказаний, вы во главе отряда!

Ей надо всего минутку, чтобы приготовиться к новой роли, затем она выпрямляется и кричит: «Эй, ребята, рекруты! Смирно! Голову выше! Поднять ружья! Возьмите их в руки! Следите за командой! Марш рядами! Ружья к левому плечу! Вперед! Следить за рядом, не отставать! Держись прямо! Эй, ты там, держись лучше! Не то отправлю под арест! Раз, два, раз, два! Ты, осел, не можешь слушать! Потряси еще раз у меня локтями, идиот! Настоящее несчастье иметь дело с этими болванами! Ничему их не научишь! Шагом марш! Довольно!»

Я говорю наконец:

— Скушайте этот апельсин, затем к вам прилетит ангел, он вас разбудит дуновением в глаза.

Она берет воображаемый апельсин, аккуратно очищает его от кожи, складывает ее на ночной столик, с аппетитом кушает одну-две дольки и вынимает носовой платок, предва-

рительно выплюнув зерна, чтобы обтереть рот, и затем прячет платок. Потом она обращается с закрытыми глазами кверху, и ее лицо просветлевает, она открывает глаза и просыпается».

Сколько должна была проявить доброты и мягкости старушка, чтобы добросовестно проделать все, подсказанное гипнотизером, и ни разу не обидеть его отказом от роли кучера или капрала, дающего солдатам по зубам.

Да... Недаром говорят: старость почтенна.

Глава пятая. СПИРИТИЗМ

Спиритизмом называется искусство довести деревянный стол до такого состояния, чтобы он заговорил.

Делается это так: несколько человек сговариваются «заглянуть нынче вечерком в потусторонний мир»...

Вечером съезжаются в одно место, закрывают двери, гасят огни и, усевшись вокруг стола, соединяют свои руки в непрерывную цепь.

Главное сделано. Остальное — пустяки.

Дав столу оправиться от первого смущения, вступают с ним в задушевный разговор.

— Дух, ты здесь?

— Здесь,— отвечает смущенно столик, почесав ножкой воображаемый затылок.

— А зачем ты здесь, дух?

— Вот, ей-Богу, странные люди,— недовольно бормочет столик.— Сами же собрались, вызвали меня, да сами же и спрашивают — зачем.

Он хмурит брови и неуверенно стучит ножкой семь раз.

— Дух! Зачем ты стукнул семь раз?

— Хотел и стукнул,— отвечает столик.

— Дух, кто ты такой? Как тебя зовут?

— Я царский истопник при дворе царя Алексея Михайловича. Зовут меня Петя.

— Дух Петя! Расскажи нам, что делается у вас на том свете.

«Ишь куда метнули»,— ошарашенно думает Петя.

Но ответ дает более деликатный.

— Нам запрещено говорить об этом. Нельзя. Мне тяжело.

— Почему тебе тяжело, дух Петя?

— Да все задают глупые вопросы, вот и тяжело.

После этого наступает на мгновение неловкое молчание...

Однако руководитель спиритического сеанса быстро

овладевает собою и начинает приставать к духу с разными просьбами:

— Если ты здесь, дух Петя, то прояви себя.

— Как я вам себя еще проявлю,— уныло бормочет Петя.

— Ну, сделай что-нибудь.

Петя размахивается и дает подзатыльник ближайшему.

— Он меня коснулся!— радостно кричит ближайший.— Он меня тронул! Я уже тронутый.

— И я тронутая,— ревниво подхватывает дама.— Душечка дух! Брось что-нибудь на пол.

Дух вздыхает и покорно бросает на пол заранее приготовленную для этого случая гитару.

— Бросил!— радостно кричат всё.— Он бросил на пол гитару.

«Что тут удивительного,— про себя недоумевает дух. — Неужели это так трудно? Неужели никто из них не мог бы этого сделать?»

— Дух, станцуй что-нибудь.

Очевидно, в царствование Алексея Михайловича весь народ был кротким и покладистым: услышав просьбу, Петя несколько раз притоптывает тяжелой ногой и смущенно смолкает.

«Отпустили бы они меня,— тоскливо думает призрак.— Ну чего там зря мучить?»

Пишущему эти сроки приходилось несколько раз присутствовать на спиритических сеансах, и всегда его поражало одно: полное отсутствие фантазии как у духов, так и у спиритов: «Дух, разбросай по полу спички...» — «Извольте». Разбрасывает. «Дух, выбери из трех карт бубнового туза».—«Извольте». Выбирает, откидывает в сторонку. А что дальше? Для чего спиритам эта карта? Повертят ее задумчиво и недоуменно в руках и снова сунут в колоду.

Нет существа с более бедной фантазией, чем вызванный дух. Все его поступки необычайно примитивны: то он коснется холодной рукой чьего-то колена, то постучит ногами, то сбросит на пол с этажерки книгу, то найдет в уголке кусочек бумажки и сомнет ее.

По-моему, раз дух вызван и если он сам ничего путного не придумает, отчего бы им не воспользоваться с утилитарной целью: поставить кофейную мельницу, чтобы дух смолол фунта два кофе, положить на стол неразрезанную книгу и костяной ножик (всегда такая лень самому разрезать книги...), поручить почистить картофель к ужину или перебрать ягоды для варенья.

И в хозяйстве прибыток, да и духу приятно, что он не зря коптит небо.

Для этого нужно только раз навсегда отрешиться от взгляда на духа как на существо особенное, чудесное; не надо глядеть на него, как пошехонцы на гоночный автомобиль... Нужно помнить, что дух такой же человек, как и мы, а если он сейчас находится на особом положении — ну что ж такое: никто из нас от этого не застрахован.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читатель! Мы дали тебе в руки могучее и страшное оружие, раскрыв перед твоими глазами все тайны природы.

Читатель! Будь мудр и действуй этим оружием с толком. Не употребляй его во зло: если вызовешь духа, не обижай его, если загипнотизируешь знакомого — не вытаскивай из его кармана бумажник, пользуясь тем, что он в каталепсии, и если тебе удастся ивзлечь из любимой женщины астральное тело — не давай волю своим рукам — помни, что оно эфирно и беспомощно.

Читатель! Старайся быть достойным нас, благородных оккультистов и йогов.

Прощай, читатель.

ЧАД

План у меня был такой: зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчаса по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за работу. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздремнуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга — постараться вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует и на другое утро со свежими силами засесть за работу.

Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке.

Сзади меня послышался голос:

— Освежиться? На скорую руку?

Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидевшего в углу за столиком в компании с театральным рецензентом Буйносовым.

Все мы обрадовались чрезвычайно.

— Я тоже зашел на минутку,— сообщил юбилейный

друг.— И вот столкнулся с этим буйносным человеком. Садись с нами. Сейчас хорошо по рюмке хватить.

— Можно не снимая пальто?..

— Пожалуйста!

Юбиляр налил три рюмки водки, но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил:

— Мне не наливай. Мне еще рецензию на завтра писать нужно.

— Да выпей! Какая там еще рецензия...

— Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С почками неладно.

— Глупости,— сказал я, закусывая первую рюмку икрой.— Какие там еще почки?

— Молодец, Сережа!— похвалил меня юбилейный друг.— За что я тебя люблю: за то, что никогда ты от рюмки не откажешься.

Именно я и хотел отказаться от второй рюмки. Но друг с таким категорическим видом налил нам по второй, что я безропотно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.

И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил.

— Да выпей!— умоляюще протянул я.— Ну, что тебе стоит? Ведь это свинство: мы пьем, а ты не пьешь!

— Почему же свинство? У меня почки...

— А у нас нет почек? А у юбиляра нет почек? У всякого человека есть почки. Это уж, брат, свыше...

— Ну, я только одну...

— Не извиняйся! Можешь и две выпить.

Буйносов выпил первую, а мы по третьей.

Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: «Какой я красивый!»

Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщинами — и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей.

Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:

— Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты дождался еще одного юбилея и чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь.

— Браво! Спасибо, милый. Выпьем. Спасибо. Буйнос! Пей — не хами.

— Я не хам... хамлю,— осторожно произнес странное слово Буйносов.— А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со свежей головой.

— Вздор! После напишешь.

— Когда же после... Ведь ее в четверть часа не напишешь.

— Ты?!— с радостным изумлением воскликнул юбилейный друг.— Да ты в десять минут отхватаешь такую рецензию, что все охнут!

— Где там...— просиял сконфуженный Буйносов и, чтобы отплатить другу любезностью за любезность, выпил вторую рюмку.

— Ай да мы! Вот ты смотри: скромненький, скромненький, а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет...

— А вы что же думали,— засмеялся Буйносов.— И заткну. Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Э-э!.. Сережа, Сережа! А ты почему же свою не выпил?

— Я... сейчас,— смутился я, будто бы меня поймали на краже носового платка.— Дай ветчину прожевать.

— Не хами, Сережа,— сказал юбилейный друг.— Не задерживай чарки.

Я вспомнил о своей работе.

— Мне бы домой нужно... Дельце одно.

К моему удивлению, возмутился Буйносов.

— Какое там еще дельце? Вздор — дельце! А у меня дела нет?! А юбиляру на вечере хлопот мало? Посидим минутку. Черт с ним, с дельцем.

«А действительно,— подумал я, любуясь в зеркало на свои блестящие глаза.— Черт с ним, с дельцем!..»

Вслух сказал:

— Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.

— Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!

— ...И пива я бы кружку выпил...

— Вот! Так. Освежиться нужно.

Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга.

— Сережа... милый...— сказал Буйносов.— Я так вас двух люблю, что черт с ней, с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу выпить с тобой на «ты».

— Да ведь мы и так на «ты»!— засмеялся я.

— Э, черт. Действительно. Ну, давай на «вы» выпьем.

Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение.

— Графинчик водки!— крикнул Буйносов.

— Водку?— удивился я.— После пива?

— Это освежает. Освежимся!

— Неужели водка освежить может? — удивился я.

— Еще как! Об этом даже где-то писали... Сгорание углерода и желтков... Не помню.

— Обедать будете?— спросил слуга.

— Как? Разве уже... обед?..

— Да-с. Семь часов.

Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы: «На миру и смерть красна».

— Семь часов?!— всплеснул руками юбиляр.— Черт возьми! А мой юбилей?

Буйносов сказал:

— Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим! Черт с ней, с рецензией.

— Да, брат...— поддержал и я.— Ты посиди с нами. На юбилей еще успеешь.

— Мне распорядиться нужно...

— Распорядись! Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и белого винца.

Юбиляр подмигнул.

— Вот! Идея... Освежает!

Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой.

— Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят.

Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру:

— Слушай! Плюнь ты на сегодняшний юбилей. Ведь это пошлятина: соберутся идиоты, будут говорить тривиальности. Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна управится.

— Да как же: юбилей, а юбиляра нет.

Буйносов задергался, заерзал на своем месте, засуетился:

— Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразна! Юбилеи однообразны! А это свежо, это молодо: юбилей идет своим чередом, а юбиляра нет. Где юбиляр? Да он променял общество тупиц на двух друзей... которые его искренне любят.

— Поцелуемся!— вскричал воодушевленно юбиляр.— Верно! Вот. Будем освежаться бенедиктином.

— Вот это яркий человек! Вот это порыв,— воодушевился Буйносов.— В тебе есть что-то такое... большое, оригинальное. Правда, Сережа?

— Да... У него так мило выходит, когда он говорит: «Не хами!»

— Не хамите!— с готовностью сказал юбиляр.— Сейчас бы кюрассо был к месту.

— Почему?

— Освежает.

Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмке, каждой перемене напитка, что кюрассо был признан единственным могущим освежить нас напитком. . . . .
. . . .

— Извините, господа, сейчас гасим свет... Ресторан закрывается.

— Вздор!— сказал бывший юбиляр.— Не хами!

— Извините-с. Я сейчас счет подам.

— Ну, дай нам бутылку вина.

— Не могу-с. Буфет закрыт.

Буйносов поднял голову и воскликнул:

— Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру...

— Завтра пойдешь. Ну, господа... Куда же мы? Теперь бы нужно освежиться.

В мою затуманенную голову давно уже просачивалась мысль, что лучше всего — поехать домой и хоть отчасти выспаться.

Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга.

Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг другу и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пьяной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую, свежую постель, под толстое уютное одеяло... Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь.

Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истомленные попойкой лица.

— Пойдем ко мне,— неожиданно для себя предложил я.— У меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить сварить кофе.

— Освежиться?— спросил юбиляр.

«Как попугай заладил,— с отвращением подумал я.— Хоть бы вы все сейчас провалились — ни капельки бы

не огорчился. Все вы виноваты... Не встреть я вас — все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал».

Единственное, что меня утешало, это — что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр пропьянствовал свой юбилей.

— Ну, освежаться так освежаться,— со вздохом сказал юбиляр (ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне),— к тебе так к тебе.

Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча, безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но, тем не менее, в одном подходящем случае показал веселость своего нрава; именно: разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое «Не хами!»— и с хохотом побежал за нами...

— Вот дурак,— шепнул я Буйносову.— Как так можно свой юбилей пропустить?

— Да уж... Не дал господь умишка человеку.

«А тебе,— подумал я,— влетит завтра от редактора... Покажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утречко». . . . .
. . . .

Я долго возился в передней, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он, вообще, не хамил.

Было смертельно скучно и как-то особенно сонно... противно. Заварили кофе, но оно пахло мылом, а я, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень.

Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я надеялся, что Буйносов последует его примеру (это развязало бы, по крайней мере, мне руки), но Буйносов сидел запрокинув голову и молчаливо рассматривал потолок.

— Может, спать хочешь?— спросил я.

— Хочу, но удерживаюсь.

— Почему?

— Что же я за дурак: пил-пил, а теперь вдруг засну — хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я посижу.

И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна капля которой не должна быть потеряна.

— Ну, а я пойду спать,— сухо проворчал я.

Проснулись поздно.

Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением.

— Здорово вчера дрызнули,— сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага.

— Сейчас бы хорошо освежиться!

Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятыми лицами...

Ели лениво, неохотно, устало.

«Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться! Не встречаться, по крайней мере, дня три!!!»

По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделать: вино спаяло всех трех самым непостижимым, самым отвратительным образом...

ВИКТОР ПОЛИКАРПОВИЧ

В один город приехала ревизия... Главный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек с громким, властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих.

Главный ревизор начал ревизию так: подошел к столу, заваленному документами и книгами, нагнулся каменным, бесстрастным, как сама судьба, лицом к какой-то бумажке, лежавшей сверху, и лязгнул отрывистым, как стук гильотинного ножа, голосом:

— Приступим-с.

Сожержание первой бумажки заключалось в том, что обыватели города жаловались на городового Дымбу, взыскавшего с них незаконно и неправильно триста рублей «портового сбора на предмет морского улучшения».

— Во-первых,— заявляли обыватели,— никакого моря у нас нет... Ближайшее море за шестьсот верст через две губернии, и никакого нам улучшения не нужно; во-вторых, никакой бумаги на это взыскание упомянутый Дымба не предъявил, а когда у него потребовали документы — показал кулак, что, как известно по городовому положению, не может служить документом на право взыскания городских повинностей; и, в-третьих, вместо расписки в получении означенной суммы он, Дымба, оставил окурок папиросы, который при сем прилагается.

Главный ревизор потер руки и сладострастно засмеялся. Говорят, при каждом человеке состоит ангел, который

его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городового Дымбы заплакал.

— Позвать Дымбу!— распорядился ревизор.

Позвали Дымбу.

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Ты не кричи, брат, так,— зловеще остановил его ревизор.— Кричать после будешь. Взятки брал?

— Никак нет.

— А морской сбор?

— Который морской, то взыскивал по приказанию начальства. Сполнял, ваше-ство, службу. Их высокородие приказывали.

Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком.

— Превосходно... Попросите-ка сюда его высокородие. Никаноров, напишите бумагу об аресте городового Дымбы как соучастника.

Городового увели.

Когда его уводили, явился и его высокородие... Теперь уже заливались слезами два ангела: городового и его высокородия.

— Из... зволили звать?

— Ох, изволил. Как фамилия? Пальцын? А скажите, господин Пальцын, что это такое за триста рублей морского сбора? Ась?

— По распоряжению Павла Захарыча,— приободрившись, отвечал Пальцын.— Они приказали.

— А-а.— И с головокружительной быстротой замелькали трущиеся одна об другую ревизоровы руки.— Прекрасно-с. Дельце-то начинает разгораться. Узелок увеличивается, вспухает... Хе-хе. Никифоров! Этому — бумагу об аресте, а Павла Захарыча сюда ко мне... Живо!

Пришел и Павел Захарыч.

Ангел его плакал так жалобно и потрясающе, что мог тронуть даже хладнокровного ревизорова ангела.

— Павел Захарович? Здравствуйте, здравствуйте... Не объясните ли вы нам, Павел Захарович, что это такое «портовый сбор на предмет морского улучшения»?

— Гм... Это взыскание-с.

— Знаю, что взыскание. Но — какое?

— Это-с... во исполнение распоряжения его превосходительства.

— А-а-а... Вот как? Никифоров! Бумагу! Взять! Попросить его превосходительство!

Ангел его превосходительства плакал солидно, с таким

видом, что нельзя было со стороны разобрать: плачет он или снисходительно улыбается.

— Позвольте предложить вам стул... Садитесь, ваше превосходительство.

— Успею. Зачем это я вам понадобился?

— Справочка одна. Не знаете ли вы, как это понимать: взыскание морского сбора в здешнем городе?

— Как понимать? Очень просто.

— Да ведь моря-то тут нет!

— Неужели? Гм... А ведь в самом деле, кажется, нет. Действительно нет.

— Так как же так — «морской сбор»? Почему без расписок, документов?

— А?

— Я спрашиваю — почему «морской сбор»?!

— Не кричите. Я не глухой.

Помолчали. Ангел его превосходительства притих и смотрел на все происходящее широко открытыми глазами, выжидательно и спокойно.

— Ну?

— Что «ну»?

— Какое море вы улучшали на эти триста рублей?

— Никакого моря не улучшали. Это так говорится — «море».

— Ага. А деньги-то куда делись?

— На секретные расходы пошли.

— На какие именно?

— Вот чудак человек! Да как же я скажу, если они секретные!

— Так-с...

Ревизор часто-часто потер руки одна о другую.

— Так-с. В таком случае, ваше превосходительство, вы меня извините... обязанности службы... я принужден буду вас, как это говорится: арестовать. Никифоров!

Его превосходительство обидчиво усмехнулся.

— Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а арестовывают меня одного.

Руки ревизора замелькали, как две юрких белых мыши.

— Ага! Так, так... Вместе разрабатывали?! С кем?

Его превосходительство улыбнулся.

— С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.

— Да-а? Кто же этот человечек?

Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок:

— Виктор Поликарпович.

Была тишина. Семь минут.

Нахмурив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом свои руки...

И нарушил молчание:

— Так, так... А какие были деньги получены: золотом или бумажками?

— Бумажками.

— Ну, раз бумажками — тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше превосходительство. Гм... гм...

Ангел его превосходительства усмехнулся ласково-ласково.

— Могу идти?

Ревизор вздохнул:

— Что ж делать... Можете идти.

Потом свернул в трубку жалобу на Дымбу и, приставив ее к глазу, посмотрел на стол с документами.

Подошел Никифоров.

— Как с арестованными быть?

— Отпустите всех... Впрочем, нет! Городового Дымбу на семь суток ареста за курение при исполнении служебных обязанностей. Пусть не курит... Кан-налья!

И все ангелы засмеялись, кроме Дымбиного.

РОБИНЗОНЫ

Когда корабль тонул, спаслись только двое:

Павел Нарымский — интеллигент.

Пров Иванов Акациев — бывший шпик.

Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля, и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу.

Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:

— Ваш паспорт!

Голый Нарымский развел мокрыми руками:

— Нету паспорта. Потонул.

Акациев нахмурился.

— В таком случае я буду принужден...

Нарымский ехидно улыбнулся:

— Ага... Некуда!..

Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом, молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.

* *
*

Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков дом.

Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал:

— Ага! Попался! Вы это что делаете?

Нарымский улыбнулся:

— Предварилку строю.

— Нет, нет... Это вы дом строите?! Хорошо-с!.. А вы строительный устав знаете?

— Ничего я не знаю.

— А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?

— Отстанете вы от меня?..

— Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения.

Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь.

Акациев тяжко вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.

Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.

Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи.

Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и выстрелил.

Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:

— Ага! Попался... Вы имеете разрешение на право ношения оружия?

Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами:

— Чего вы пристаете? Занимались бы лучше своими делами.

— Да я и занимаюсь своими делами,— обиженно

возразил Акациев.— Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение впредь до разбора дела.

— Так я вам и отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!

— За находку вы имеете право лишь на одну треть...— начал было Пров, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил:— Вы еще не имеете права охотиться!

— Почему это?

— Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?

— А у вас календарь есть?— ехидно спросил Нарымский.

Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:

— В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.

— Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки!

Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.

*
* *
*

Возвращался Нарымский другой дорогой.

Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.

Приблизившись, прочел:

«Езда по мосту шагом».

Пожав плечами, наклонился, чтоб утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:

«Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные подвергаются...»

Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собой мрачного и решительного Прова Акациева.

— Что вам угодно?

— Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений...

— А предписание вы имеете?— лукаво спросил Нарымский.

Акациев тяжко застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты.

Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:

— Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания и вы не заявили о хранении их начальству — виновные подвергаются...

Нарымский сладко спал.

*
* *
*

Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.

Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.

Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника.

— Вы... живы?— с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.

— Жив.— Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского.— Скажите... Вот вы рисковали из-за меня жизнью... Спасли меня... Вероятно, я все-таки дорог вам, а?

Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката,— и просто, без рисовки, ответил:

— Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутораста лет.

И, помолчав, добавил искренним тоном:

— Дай вам бог здоровья, долголетия и богатства.

ХЛОПОТЛИВАЯ НАЦИЯ

Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом, у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные, представления и толкования слов, слышанных от взрослых.

Слово «хлопоты» я представлял себе так: человек бегает из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы.

«Это и есть хлопоты»,— думал я.

И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал затылок.

Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот — в бегстве и бормотании.

С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработке и кристаллизации.

Но представление о слове «хлопоты» так и осталось у меня детское.

Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на Южный берег Крыма.

— Идея,— похвалили друзья.— Только ты похлопочи заранее о разрешении жить там.

— Похлопочи? Как так похлопочи?

— Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет. Куприн тоже хлопочет.

— Как же они хлопочут?— заинтересовался я.

— Да так. Как обыкновенно хлопочут.

Мне живо представилось, как Куприн и Арцыбашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы... У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей.

— Ну, что ж,— вздохнул я.— Похлопочу и я.

С этим решением я и поехал в Крым.



Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным: неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму — нужно еще хлопотать? Я православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта — и мне же еще нужно хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть русским... Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем.

В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили:

— Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы.

— По какой причине?
— На основании чрезвычайной охраны.
— А по какой причине?
— На основании чрезвычайной охраны!
— Да по ка-кой при-чи-не?!!
— На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!
Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла.
Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил:
— Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!! Что — это какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли — ваша чрезвычайная охрана?!! Ведь я не болен чрезвычайной охраной — за что же вы меня высылаете?.. Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой?! Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?
Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать:
— Могу.
Но вместо этого сказал:
— Удивительная публика... Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право выслать вас на основании охраны? Имеем. Ну, вот и высылаем.
— Послушайте,— смиренно возразил я.— За что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрещины, хотя некоторые очень ее и заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смирненько смотреть на птичек, собирать цветные камушки... Плюньте на вашу охрану, разрешите жить, а?
— Нельзя,— сказал губернаторский чиновник.
Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал:
— Ну, разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие писатели, которые, может быть, каждый день по человеку режут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе мускулатуру... Я тихий. Разрешите? Можно жить?
Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, и есть хлопоты.
Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, который возвышался у него над плечами. И заявил:
— Тогда — если вы так хотите — начните хлопотать об этом.

Я с суеверным ужасом поглядел на него.

Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голову — не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные, утомительные, которые мне надлежит взвалить себе на плечи, чтобы добиться права побродить по этим пыльным берегам?..

Да ну вас к...

Я уехал.

*
* *
*

Теперь я совсем сбился:

Человек хочет полетать на аэроплане.

Об этом нужно «хлопотать».

Несколько человек хотят устроить писательский съезд.

Нужно хлопотать и об этом.

И лекцию хотят прочесть о радии — тоже хлопочут.

И револьвер купить — тоже.

Хорошо-с. Ну, а я захотел пойти в театр? Почему — мне говорят — об этом не надо хлопотать? Галстук хочу купить! И об этом, говорят, хлопотать не стоит!

Да я хочу хлопотать!

Почему револьвер купить — нужно хлопотать, а галстук — не нужно? Лекцию о радии прочесть — нужно похлопотать, а на «Веселую вдову» пойти — не нужно. Откуда я знаю разницу между тем, о чем нужно хлопотать и — о чем не нужно? Почему просто «о радии» — нельзя, а «Радий в чужой постели» — можно?

И сижу я дома в уголке на диване (кстати, нужно будет похлопотать: можно ли сидеть дома в уголке на диване?) — сижу и думаю:

— Если бы человек захотел себе ярко представить Россию — как она ему представится?

Вот как:

Огромный человеческий русский муравейник «хлопочет».

Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать: бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут.

Хорошо бы это все взять да изменить...

Нужно будет похлопотать об этом.

ЧЕТВЕРГ

В восемь часов вечера Ляписов заехал к Андромахскому и спросил его:

— Едете к Пылинкиным?

— А что?— спросил, покривившись, Андромахский.— Разве сегодня четверг?

— Конечно, четверг. Сколько четвергов вы у них бывали, и все еще не можете запомнить.

Андромахский саркастически улыбнулся.

— Зато я твердо знаю, что мы будем там делать. Когда мы войдем, m-me Пылинкина сделает радостно-изумленное лицо: «Господи! Андрей Павлович! Павел Иванович! Как это мило с вашей стороны!» Что мило? Что мило, черт ее возьми, эту тощую бабу, меняющую любовников,— не скажу даже, как перчатки, потому что перчатки она меняет гораздо реже! Что мило? То ли мило, что мы являемся всего один раз в неделю, или то — что мы, войдя, не разгоняем сразу пинками всех ее глупых гостей? «Садитесь, пожалуйста. Чашечку чаю?» Ох, эта мне чашечка чаю! И потом начинается: «Были на лекции о Ведекинде?» А эти проклятые лекции, нужно вам сказать, читаются чуть ли не каждый день! «Нет, скажешь, не был».— «Не были? Как же это вы так?» Ну что, если после этого взять, стать перед ней на колени, заплакать и сказать: «Простите меня, что я не был на лекции о Ведекинде. Я всю жизнь посвящу на то, чтобы замолить этот грех. Детям своим завещаю бывать от двух до трех раз на Ведекинде, кухарку вместо бани буду посылать на Ведекинда и на смертном одре завещаю все свое состояние лекторам, читающим о Ведекинде. Простите меня, умная барыня, и кланяйтесь от меня всем вашим любовникам!»

Ляписов засмеялся:

— Не скажете!

— Конечно, не скажу. В том-то и ужас, что не скажу. И еще в том ужас, что и она и все ее гости моментально и бесследно забывают о Ведекинде, о лекциях и с лихорадочным любопытством набрасываются на какую-то босоножку. «Видели танцы новой босоножки? Мне нравится». А другой осел скажет: «А мне не нравится». А третий отвечает: «Не скажите! Это танцы будущего, и они мне нравятся. Когда я был в Берлине, в кафешантане...» — «Ах,— скажет игриво m-me Пылинкина,— вам, мужчинам, только бы все кафешантаны!» Конечно, нужно было бы сказать ей — кафешантаны. А тебе бы все любов-

ники да любовники? «Семен Семеныч! Чашечку чаю с печеньицем, а? Пожалуйста! Читали статью о Вейнингере?» А чаишко-то у нее, признаться, скверный, да и печеньице тленом попахивает... И вы замечаете? Замечаете? Уже о босоножке забыто, танцы будущего провалились бесследно до будущего четверга, разговор о кафешантане держится две минуты, увядает, осыпается и на его месте пышно расцветает беседа о новой пьесе, причем одному она нравится, другому не нравится, а третий выражает мнение, что она так себе. Да ведь он ее не видел?! Не видел, уверяю вас, шут этакий, мошенник, мелкий хам!! А ты должен сидеть, пить чашечку чаю и говорить, что босоножка тебе нравится, новая пьеса производит впечатление слабой, а кафешантаны скучны, потому что все номера однообразны.

Ляписов вынул часы:

— Однако уже скоро девять!

— Сейчас. Я в минутку оденусь. Да ведь там только к девяти и собираются... Одну минуточку.

* * *

В девять часов вечера Андромахский и Ляписов приехали к Пылинкиным.

M-me Пылинкина увидела их еще в дверях и с радостным изумлением воскликнула:

— Боже ты мой, Павел Иваныч! Андрей Павлыч! Садитесь. Очень мило с вашей стороны, что заехали. Чашечку чаю?

— Благодарю вас!— ласково наклонил голову Андромахский.— Не откажусь.

— А мы с мужем думали, что встретим вас вчера...

— Где?— спросил Андромахский.

— Как же! В Соляном Городке. Грудастов читал о Пшебышевском.

На лице Андромахского изобразилось неподдельное отчаяние.

— Так это было вчера?! Экая жалость! Я мельком видел в газетах и, представьте, думал, что она будет еще не скоро. Я теперь газеты, вообще, мельком просматриваю.

— В газетах теперь нет ничего интересного,— сказал из-за угла чей-то голос.

— Репрессии,— вздохнула хозяйка.— Обо всем запрещают писать. Чашечку чаю?

— Не откажусь,— поклонился Ляписов.

— Мы выписали две газеты и жалеем. Можно бы одну выписать.

— Ну, иногда в газетах можно натолкнуться на что-нибудь интересное... Читали на днях, как одна дама гипнотизмом выманила у домовладельца тридцать тысяч?

— Хорошенькая? — игриво спросил Андромахский.

Хозяйка кокетливо махнула на него салфеточкой.

— Ох, эти мужчины! Им бы все только — хорошенькая! Ужасно вы испорченный народ.

— Ну, нет,— сказал Ляписов.— Вейнингер держится обратного мнения... У него ужасное мнение о женщинах...

— Есть разные женщины и разные мужчины,— послышался из полутемного угла тот же голос, который говорил, что в газетах нет ничего интересного.— Есть хорошие женщины и хорошие мужчины. И плохие есть там и там.

— У меня был один знакомый,— сказала полная дама.— Он был кассиром. Служил себе, служил и — представьте — ничего. А потом познакомился с какой-то кокоткой, растратил казенные деньги и бежал в Англию. Вот вам и мужчины ваши!

— А я против женского равноправия!— сказал господин с густыми бровями.— Что это такое? Женщина должна быть матерью! Ее сфера — кухня!

— Извините-с!— возразила хозяйка.— Женщина такой же человек, как и мужчина! А ей ничего не позволяют делать!

— Как не позволяют? Все позволяют! Вот одна на днях в театре танцевала с голыми ногами. Очень было мило. Сфера женщины — все изящное, женственное.

— А по-моему, она вовсе не изящна. Что это такое — ноги толстые, и сама скачет, как козел!

— А мне нравится!— сказал маленький лысый человек.— Это танцы будущего, и они открывают новую эру в искусстве.

— Чашечку чаю!— предложила хозяйка Андромахскому.— Может быть, желаете рюмочку коньяку туда?

— Мерси. Я, вообще, не пью. Спиртные напитки вредны.

Голос из угла сказал:

— Если спиртные напитки употреблять в большом количестве, то они, конечно, вредны. А если иногда выпить рюмочку — это не может быть вредным.

— Ничем не надо злоупотреблять,— сказала толстая дама.

— Безусловно. Все должно быть в меру,— уверенно ответил Ляписов.

Андромахский встал, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

— Однако я должен спешить. Позвольте, Марья Игнатьевна, откланяться.

На лице хозяйки выразился ужас.

— Уже?!! Посидели бы еще...

— Право, не могу.

— Ну, одну минутку!

— С наслаждением бы, но...

— Какой вы, право, нехороший... До свиданья. Не забывайте! Очень будем рады с мужем видеть вас.

Ласковая, немного извиняющаяся улыбка бродила на лице Андромахского до тех пор, пока он не вышел в переднюю. Когда нога его перешагнула порог — лицо приняло выражение холодной злости, скуки и бешенства.

Он оделся и вышел.

*
* *
*

Захлопнув за собой дверь, Андромахский остановился на полутемной площадке лестницы и прислушался. До него явственно донеслись голоса: его приятеля Ляписова, толстой дамы и m-me Пылинкиной.

— Что за черт?

Он огляделся. Над его головой тускло светило узенькое верхнее окно, выходившее, очевидно, из пылинкинской гостиной. Слышно было всякое слово — так отчетливо, что Андромахский, уловив свою фамилию, прислонился к перилам и застыл...

— Куда это он так вскочил?— спросил голос толстой дамы.

— К жене,— отвечал голос Ляписова.

M-me Пылинкина засмеялась.

— К жене! С какой стороны?!

— Что вы!— удивилась толстая дама.— Разве он такой?..

— Он?!— сказал господин с густыми бровями.— Я его считал бы добродетельнейшим человеком, если бы он изменял только жене с любовницей. Но он изменяет любовнице с горничной, горничной — с белошвейкой, шьющей у жены, и так далее. Разве вы не знаете?

— В его защиту я должен сказать, что у него есть одна неизменная привязанность,— сказал лысый старичок.

— К кому?

— Не к кому, а к чему... К пиву! Он выпивает в день около двадцати бутылок!

Все рассмеялись.

— Куда же вы? — послышался голос хозяйки.

— Я и так уж засиделся,— отвечал голос Ляписова.— Нужно спешить.

— Посидите еще! Ну, одну минуточку! Недобрый, недобрый! До свиданья. Не забывайте нашего шалаша.

*
* *
*

Когда Ляписов вышел, захлопнув дверь, на площадку, он увидел прислонившегося к перилам Андромахского и еле сдержал восклицание удивления.

— Тссс!..— прошептал Андромахский, указывая на окно.— Слушайте! Это очень любопытно...

— Какой симпатичный этот Ляписов,— сказала хозяйка.— Не правда ли?

— Очень милый,— отвечал господин с густыми бровями.— Только вид у него сегодня был очень расстроенный.

— Неприятности!— послышался сочувственный голос толстой дамы.

— Семейные?

— Нет, по службе. Все игра проклятая!

— А что, разве?..

— Да, про него стали ходить тревожные слухи. Получает в месяц двести рублей, а проигрывает в клубе в вечер по тысяче. Вы заметили, как он изменился в лице, когда я ввернула о кассире, растратившем деньги и бежавшем в Англию?

— Проклятая баба,— прошептал изумленный Ляписов.— Что она такое говорит!

— Хорошее оконце!— улыбнулся Андромахский.

— ...Куда же вы?! Посидели бы еще!

— Не могу-с! Время уже позднее,— послышался голос лысого господина.— А ложусь-то я, знаете, рано.

— Какая жалость, право!

*
* *
*

На площадку лестницы вышел лысый господин, закутанный в шубу, и испуганно отшатнулся при виде Ляписова и Андромахского.

Андромахский сделал ему знак, указал на окно и в двух словах объяснил преимущество занятой ими позиции.

— Сейчас о вас будет. Слушайте!

— Я никогда не встречала у вас этого господина,— донесся голос толстой дамы.— Кто это такой?

— Это удивительная история,— отвечала хозяйка.— Я удивляюсь, вообще... Представили его мне в театре, а я и не знаю: кто и что он такое. Познакомил нас Дерябин. Я говорю Дерябину, между разговором: «Отчего вы не были у нас в прошлый четверг?» А этот лысый и говорит мне: «А у вас четверги? Спасибо, буду». Никто его и не звал, я даже и не намекала. Поразительно некоторые люди толстокожи и назойливы! Пришлось с приятной улыбкой сказать: пожалуйста! Буду рада.

— Ах ты дрянь этакая,— прошептал огорченно лысый старичок.— Если бы знал — никогда бы к тебе не пришел. Вы ведь знаете, молодой человек,— обратился он к Андромахскому,— эта худая выдра в интимных отношениях с тем самым Дерябиным, который нас познакомил. Ей-богу! Мне Дерябин сам и признался. Чистая уморушка!

— А вы зачем соврали там, в гостиной, что я выпиваю 20 бутылок пива в день?— сурово спросил старичка Андромахский.

— А вы мне очень понравились, молодой человек,— виновато улыбнулся старичок.— Когда зашел о вас разговор — я и думаю: дай вверну словечко!

— Пожалуйста, никогда не ввертывайте обо мне словечка. О чем они там сейчас говорят?

— Опять обо мне,— сказал Ляписов.— Толстая дама выражает опасение, что я не сегодня-завтра сбегу с казенными деньгами.

— Проклятая лягушка!— проворчал Андромахский.— Если бы вы ее самое знали! Устраивает благотворительные вечера и ворует все деньги. Одну дочку свою буквально продала сибирскому золотопромышленнику!

— Ха-ха!— злобно засмеялся старичок.— А вы заметили этого кретиновидного супруга хозяйки, сидевшего в углу?..

— Как же!— усмехнулся Андромахский.— Он сказал ряд очень циничных афоризмов: что в газетах нет ничего интересного, что женщины и мужчины бывают плохие и хорошие и что если пить напитков много, то это скверно, а мало — ничего...

Старичок, Ляписов и Андромахский уселись для удоб-

ства на верхней ступеньке площадки, и Андромахский продолжал:

— И он так глуп, что не замечал, как старуха Пылинкина подмигивала несколько раз этому густобровому молодцу. Очевидно, дело с новеньким лямиделямезончиком на мази!

— Хе-хе!— тихонько засмеялся Ляписов.— А вы знаете, старче, как Андромахский сегодня скаламбурил насчет этой Мессалины: она не меняет любовников как перчатки только потому, что не меняет перчаток.

Лысый старичок усмехнулся:

— Заметили, чай у них мышами пахнет! Хоть бы людей постыдились...

*
* *
*

Когда госпожа Пылинкина, провожая толстую даму, услышала на площадке голоса и выглянула из передней, она с изумлением увидела рассевшуюся на ступеньках лестницы компанию...

СЛУЧАЙ С ПАТЛЕЦОВЫМИ

Глава первая. КЛЮЧИ

Однажды летом, в одиннадцать часов вечера, супруги Патлецовы сидели на ступеньках парадной лестницы в трех шагах от своей квартиры и ругались.

— В конце концов,— пробормотал Патлецов,— это уже удивительно: стоит только поручить что-либо женщине — и она приложит все усилия, чтобы исполнить это как можно хуже и глупее.

— Молчал бы лучше,— угрюмо отвечала жена,— уже достаточно одного того, что мужчины картежники и пьяницы.

Муж горько, страдальчески засмеялся.

— В огороде бузина, а в Киеве дядька... Представьте себе,— обратился он к угловому солидному столбику на перилах, так как никого другого поблизости не было,— представьте, что я, выходя днем с нею из дому, вышел первый, а ее попросил запереть парадную дверь и ключи взять с собой... Что же она сделала? Ключи забыла внутри, в замочной скважине, захлопнула дверь на английский замок, а ключик от него висит тоже внутри, на той стороне

двери. Как вам это покажется! И представьте, чем эта женщина оправдывается. «А вы,— говорит,— картежники». Логично, доказательно, всеобъемлюще!

Госпожа Патлецова хлопнула кулаком по молчаливому слушателю своего мужа и, энергично обернувшись, спросила:

— Скажи: чего ты от меня хочешь?

— Мне было бы желательно знать, как мы попадем в квартиру.

Жена задумалась.

— Это ты виноват. Ты отпустил прислугу до завтра — ты и виноват. Если бы она была внутри — она бы открыла нам.

— Видели?— обратился к своему единственному другу — столбику — Патлецов и заскрежетал зубами.— Я виноват, что отпустил прислугу. А она ее нанимала — значит, она и виновата. А та заперла черный ход — она, значит, и виновата. А какой-то глупый англичанин изобрел английский замок — он и виноват.

— Недаром я так не хотела выходить за тебя замуж. Если бы не вышла — ничего бы не было.

— Что?.. Как вам это нравится?

После долгого саркастического разговора Патлецов предложил жене два проекта: поехать до утра в гостиницу или переночевать тут же, на площадке лестницы, у дверей.

Первый проект был забракован на том основании, что ездить по гостиницам неприлично. За второй проект автор его удостоился краткого слова:

— Ду-рак!

— Ну, что же,— кротко улыбнулся Патлецов.— Если я дурак, а ты умная— придумай сама выход. А я вздремну.

Он прислонился к перилам и действительно задремал. Его разбудил плач.

— Ты чего?

— Мне страшно. Ступай за слесарем.

— Да какой же слесарь в двенадцатом часу... Все честные слесаря спят...

— Бери хоть нечестного. Мне все равно.

Муж улыбнулся.

— Вот если бы сейчас поймать вора с отмычками — он оборудовал бы это моментально.

— Поймай вора.

— Что ты, милая!.. Как же это так... поймай вора!

Что это — блоха на теле, что ли? Где я его ловить буду?

И тут же Патлецов немедленно вспомнил: за углом той большой улицы, где они жили, был грязный переулок, а в переулке помещался трактир «Назарет», пользовавшийся самой печальной и скверной репутацией.

Сначала то, что думал Патлецов, показалось ему неимоверно глупым, чудовищным, а потом, когда он поразмыслил минут десять, план стал казаться гораздо проще и исполнимее.

Он сказал, что пойдет поискать слесаря, спустился с лестницы и исчез.

Глава вторая. «НАЗАРЕТ»

Теплый, влажный, пропитанный невыносимым запахом прокисшего пива и старых закусок воздух окутал Патлецова, когда он открыл темную липкую дверь.

Патлецов подошел к толстому одноглазому буфетчику и деликатно наклонился к нему.

— Не могу я навести у вас справочку?

— Ну,— сурово и подозрительно кивнул одноглазый.

— Мне нужен слесарь. Нет ли здесь... между вашими... гостями слесаря?

— А вам для чего?

— Ключи от дверей потеряли. В квартиру не могу попасть.

Вид у Патлецова был солидный, искренний. Буфетчик хмыкнул.

— Бог их знает... Все они слесаря так или иначе. Ходят тут всякие.

— Да вы мне только укажите на кого-нибудь... а я сам поговорю. Я заплачу ему.

— Вот туда идите,— ухмыльнулся буфетчик.— Видите, в углу роятся. Только меня не путайте. Может, они и не возьмутся. Мне-то что!

В углу сидело трое. Приняли они Патлецова недоверчиво, странно поглядывая на него, сбитые, очевидно, с толку его странным предложением.

Один носил странное имя — Зря, другого называли Аркашенькой, а третий был сложнее: Мишка Саматоха.

— Кто хочет, ребята, честно рубль заработать?

— Да мы всегда честно рубли зарабатываем,— с болезненным самолюбием вора проворчал Аркашенька.

— И прекрасно. Мне нужен слесарь... Ключи от дверей забыл. Так нужно открыть.

Все трое, как куклы, замотали головами.

— Не занимаемся.

— Как же так? Мне сказали, что кто-то из вас слесарь.

Мишка Саматоха, молодой, бритый парень с лицом актера и такими невыносимо блестящими глазами, что он беспрестанно гасил их блеск скромным опусканием век, возразил:

— Да как же так: ночью идти в чужую квартиру, отмыкать какие-то двери — бог его знает, что оно такое... Хорошо ли это?

— Да я хозяин квартиры,— загорячился Патлецов.— Понимаете, хозяин квартиры. И я вам разрешаю... Мало того, я даже прошу вас об этом. Вы меня выручите... Я два рубля дам! Я очень, очень прошу вас. Ну что вам стоит выручить человека?

— Да почему вы в слесарную мастерскую не обратились?— спросил, гася свои алмазные глаза, Саматоха.

— Заперто уже все. Господи! А мне сказали, что тут, в «Назарете», можно найти... этих... слесарей... безработных. Как же мы иначе попадем в квартиру! Мы бы с женой вам были очень благодарны, чрезвычайно.

Зря и Аркашенька снова сухо отказались. А сентиментальному Саматохе польстило, что его так просят и что этот господин в золотых очках и его жена, вероятно, красивая, не менее нарядная женщина, будут ему, Саматохе, очень благодарны.

А когда Патлецов, заметив колебания раскисшего Мишки, взял его за руку и горячо пожал ее, Мишка встал и, разнеженно усмехнувшись, буркнул:

— Идите вперед. Я... сбегаю за инструментом и догоню вас.

Глава третья. МИШКА САМАТОХА

Жена Патлецова была очень удивлена и обрадована, когда муж явился с каким-то человеком и сообщил радостно:

— Нашел. Вот он сейчас откроет.

У Саматохи в сукне были завернуты какие-то вещицы, издававшие металлический звон. Саматоха поклонился жене Патлецова, положил суконку на подоконник и развернул ее.

— О-ой, что это,— с кокетливым любопытством протянула госпожа Патлецова, заглядывая в суконку,— зачем так много?

— Инструменты, сударыня,— снисходительно улыбнулся Мишка Саматоха.— Разные тут.

— А это что?

— Это английский лобзик,— стал объяснять польщенный вниманием Мишка.— Пилочка такая... Преимущественно для амбарных замков и засовов. Вот этим ее смазывают, чтобы не слышно было.

— А зачем чтоб не слышно было?— спросила жена.

Патлецов и Саматоха перекинулись быстрыми смеющимися взглядами и отвернулись друг от друга.

— Это, изволите ли видеть, американский ключ — последнее слово техники. Со вставными бородками: можно вставить какую угодно, вот набор бородок.

Невыносимо алмазные глаза Мишки сверкали вдохновением артиста.

— Ну, а как же вы откроете нашу дверь?— спросил Патлецов.— Этим, что ли?

— Английский замок? Нет, этой штучкой. То совсем для другого. Вот, смотрите...

Мишке Саматохе хотелось под взглядом прекрасных женских глаз сделать свое дело как можно красивее, проворнее и с блеском.

— Только он не будет уже больше годиться,— предупредил он,— ничего? Английские замки нужно, видите ли, ломать снаружи, чтобы открыть.

— Все равно,— нетерпеливо сказал Патлецов.— Лишь бы попасть домой.

— Слушаюсь!

Послышался треск. Саматоха, с лицом доктора, делающего трудную операцию, суетливо нагнулся к своему набору инструментов, быстро вынул необходимый и сунул его куда-то вбок, в щель.

У своего плеча он слышал дыхание госпожи Патлецовой, с любопытством глядевшей на его работу.

И сам Патлецов был неимоверно заинтересован.

Потный, сияющий Саматоха чувствовал себя героем дня.

— Пожалуйте-с!

Госпожа Патлецова радостно вскрикнула и бросилась в открытую дверь. Патлецов посмотрел на собиравшего свои инструментыа Саматоху и сказал ему:

— Подождите здесь. Я сейчас вынесу деньги.

Дверь захлопнулась, и Саматоха остался один.

Прошло минут пять-шесть. К Саматохе никто не выходил. Саматоха уже хотел напомнить о себе деликатным стуком в дверь, как она распахнулась и в ее освещенном четырехугольнике показались Патлецов, дворник и городовой.

— А-ах!— крикнул протяжно Мишка Саматоха, отпрыгивая к окну.

— Вот что, милый мой,— строго обратился к нему Патлецов.— Ты, я вижу, слишком большой искусник и слишком большая персона, чтобы оставлять тебя на свободе. Сегодня ты открыл дверь с моего разрешения, а завтра сделаешь это без оного. Общество должно бороться с подобными людьми всеми легальными способами, какие есть в его распоряжении. Понимаешь? А такой субъект, как ты, да на свободе, да с этим инструментом — благодарю покорно! Да я ночей не буду спать!..

Когда Саматоху уводили, он уже не старался тушить бриллиантовый взгляд своих глаз. Они так сияли, что больно было смотреть.

Патлецов аккуратно запер дверь и, почесав спину, пошел спать.

ПЫЛЕСОС

Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор: с кем вы желаете иметь дело — с дураком или мошенником? — смело выбирайте мошенника.

Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба.

Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Упадет ли он вам с крыши на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас или заключит в объятия...— кто проникнет в тайны темной дурацкой психики?

Мошенник — математика, повинующаяся известным законам, дурак — лотерея, которая никаким законам и системам не повинуется.

Самый типичный дурак — это тот человек из детской

хрестоматии, который зарезал курицу, несущую ему золотые яйца.

Все проиграли от этой комбинации: и курица, и ее владелец, и государство, на котором, конечно, отражается благосостояние ничтожнейшего из его подданных.

А вдумайтесь — так ли бы поступил с курицей мошенник? Да он бы ее на руках носил и пылинке бы не дал на нее сесть, кормил бы отборным зерном. Мошенник прекрасно знает, что зерно не отборное, пополам с разной дрянью — втрое дешевле... Осмелился ли бы он подсунуть своей курице такое зерно? Нет!

Он бы, может быть, подсунул торговцу зерном фальшивый двугривенный или обсчитал бы его, но обидеть свою курицу — на это не способен самый отъявленный мошенник.

Почти всякий из нас, читатели,— курица, несущая кому-нибудь золотые яйца, и потому всякий из нас рискует быть зарезанным рукой дурака.

Поэтому — долой дураков!

Видели вы когда-нибудь, как магнит, сунутый в кучу самых разнородных мелочей, вытягивает из всего этого только железные опилки — как он чисто, ловко и аккуратно это делает! Всунули вы чистенький, гладкий, полированный стержень... Момент — и вытаскивается из кучи густо облипший опилками и железной пылью, потерявший форму комок.

И еще, видели ли вы, как работает так называемый «пылесос»?

Прекрасное, волшебное зрелище.

Как будто одаренный человеческим умом и энергией, нащупывает хобот аппарата залежи пыли. Глядишь: только прикоснулся к ним — и уже сверкает белизной грязное, загаженное место... Ни одной пылинки не оставит жадный хобот, все втянет аппарат своими могучими легкими.

И ни чахотки не знает он, ни даже простого кашля.

Однажды, когда я, сидя на диване, наблюдал из другой комнаты работу чудесного аппарата, ко мне пришел знакомый и сказал:

— А я вчера очень заинтриговал Елену Сергеевну...

— Каким образом?

— Да сказал, что видели вас в «Аквариуме» с одной блондинкой. Она долго допытывалась, да я — не дурак ведь — помучил, помучил ее, однако не сказал. Очень было весело.

— Кто же вас просил говорить об этом?
— Никто. Я просто заинтриговать хотел. Она чуть не плакала, да я-то не дурак, слава богу, хе-хе... Не выдал вас.
Пылесос свистел и шумел, ощупывая хоботом своим пыльный карниз.
Я глядел на его работу и думал:
«Отчего никто не выдумает такой пылесос для дураков? Хорошо бы сразу высосать всех дураков из нашего города, втянуть их куда-нибудь всех до последней крошечки. Жизнь сразу бы посветлела, воздух очистился, и дышать сделалось бы легче».
Эта мысль — придумать пылесос для дураков — гвоздем засела во мне, и я часто к ней возвращался...

* * *

— Что я с ними буду делать, ты подумай!— плакался как-то, сидя у меня, один из моих друзей, получивший недавно наследство.— На что они мне, эти проклятые пятьсот десятин?! Место сырое, топкое, лесу нет, только песок и камень, вода за двадцать верст, дорог нет. Ближайший город — за двести верст.
Я потер рукой голову.
— Вот что... Садись за стол и пиши объявление в газеты...
Он сел.
— Ну?
— Пиши: «В сырой холодной местности, лишенной питьевой воды, продаются участки для постройки на них домов и усадеб. Полное отсутствие леса; почва — песок и глина. Ближайший город за двести верст. Полное бездорожье, отсутствие медицинской помощи, лихорадочная, малярийная местность. Квадратная сажень земли стоит 50 коп. При больших покупках — дороже. Лиц, желающих приобрести землю и поселиться в этом месте, просят обращаться туда-то. Контора по продаже земли в поселке Каруд».
— Господи Иисусе,— ахнул мой друг.— Кто же может откликнуться на это предложение?.. Разве только круглый дурак.
— Ну да же! Подумай, какая прелесть: это будет единственное место, где дураки соберутся в этакую плотную компактную массу. Твоя земля — это пылесос, который сразу вытянет всех дураков из нашей округи... То-то хорошо дышать будет.

— Да ведь они там помирать шибко будут. Жалко...

— Дураков-то? Да пусть мрут на здоровье. Боже ты мой!

— Ну так я хоть припишу, что летом там очень прохладно.

— Ни за что! Пиши так: «Холодная бесснежная зима, жаркое, душное лето, полное отсутствие растительности...» Есть?

— Есть. Да только уж и не знаю — выйдет ли что-нибудь из этого?

*
* *
*

Вышло.

В «Контору по продаже земель в поселке Каруд» посыпались письменные запросы.

Спрашивали:

«Действительно ли нет лесу поблизости, а если нет, то я прошу записать на мое имя четыре десятины, посырее, потому что у меня часто пересыхает горло, и вообще в лесу мало ли что может быть!»

Один господин писал:

«Если публикация говорит правду в параграфе о песчаной каменистой почве, то я покупаю 10 десятин: мне песок и камень нужны для постройки дома. Сообщите также, как понимать выражение «лихорадочная местность»? Не в смысле ли это «лихорадочной деятельности в этой местности»?

Дама писала:

«Меня очень соблазняет отсутствие медицинской помощи. Действительно, эти доктора так дерут за визиты, а пользы ни на грош. Хорошо также, что нет воды: от нее страшно толстеешь; я пью лимонный сок и остаюсь с почтением Василиса Чиркина».

*
* *
*

Через два месяца половина участков в поселке Каруд была распродана.

Пылесос работал вовсю.

ОПОРА ПОРЯДКА

I

Вольнонаемный шпик Терентий Макаронов с раннего утра начал готовиться к выходу из дому. Он напялил на голову рыжий, плохо, по-домашнему сработанный парик, нарумянил щеки и потом долго возился с наклеиванием окладистой бороды.

— Вот,— сказал он, тонко улыбнувшись сам себе в кривое зеркало.— Так будет восхитительно. Родная мать не узнает. Любопытная штука — наша работа... Приходится тратить столько хитрости, сообразительности и увертливости, что на десять Холмсов хватит. Теперь будем рассуждать так: я иду к адвокату Маныкину, которого уже достаточно изучил и выследил. Иду предложить себя на место его письмоводителя. (Ему такой, я слышал нужен. А если я вотрусь к нему — остальное сделано.) Итак — письмоводитель. Спрашивается: как одеваются письмоводители? Мы, конечно, не Шерлоки Холмсы, а кое-что соображаем: мягкая цветная сорочка, потертый пиджак и брюки, хотя и крепкие, но с бахромой. Вот так! Теперь всякий за версту скажет: письмоводитель!

Макаронов натянул пальто с барашковым воротником и, выйдя из дому, крадучись зашагал по направлению к квартире адвоката Маныкина.

— Так-то,— бормотал он сам себе под нос.— Без индейской хитрости с этими людьми ничего не сделаешь. Умные, шельмы... Да Терентий Макаронов поумнее вас будет. Хе-хе!

У подъезда Маныкина он смело нажал кнопку звонка; горничная впустила его в переднюю и спросила:

— Как о вас сказать?

— Скажите: Петр Сидоров. Ищет места письмоводителя.

— Подождите тут, в передней.

Горничная ушла, и через несколько секунд из кабинета донесся ее голос:

— Там к вам шпик пришел, что под воротами допреж все торчал. Я, говорит, Петр Сидоров и хочу наниматься в письмоводители. Бородищу наклеил, подмазался — прямо умора.

— Сейчас я к нему выйду,— сказал Маныкин.— Ты его где оставила, в передней?

— В передней.

— После посмотришь под диваном или за вешалкой — не сунул ли чего? Если найдешь, выброси.

— Как давеча?

— Ну, да! Учить тебя, что ли? Как обыкновенно.

Адвокат вышел из кабинета и, осмотрев понурившегося Макаронова, спросил:

— Ко мне?

— Так точно.

— А знаешь, братец, тебе борода не идет. Такое чучело получилось...

— Да разве вы меня знаете? — с наружным удивлением воскликнул Макаронов.

— Тебя-то? Да мои дети по тебе, брат, в гимназию ходят. Как утро, они глядят в окно: «Вон, говорят, папин шпик пришел... Девять часов, значит. Пора в гимназию собираться».

— Что вы, господин,— всплеснул руками Макаронов.— Какой же я шпик?! Это даже очень обидно. Я вовсе письмоводитель — Петр Сидоров.

— Лизавета!— крикнул адвокат.— Дай мне пальто. Ну, что у вас в охранке... Все по-старому?

— Мне бы местечко письмоводителя...— сказал Макаронов, хитрыми глазами поглядывая на адвоката.— По письменной части.

Адвокат засмеялся:

— А простой вы, хороший народ, в сущности. Славные детишки. Ты что же сейчас: за мной, конечно?

— Местечка бы,— упрямо сказал Макаронов.

— Лизавета! Выпусти нас.

Вышли вместе.

— Ну, я в эту сторону,— сказал адвокат.— А ты куда?

— Мне сюда. В обратную сторону.

Макаронов подождал немного и потом, опустив голову, опечаленный, поплелся за Маныкиным. Он потихоньку, как тень, крался за адвокатом, и единственное, что тешило его,— это что адвокат его не замечает.

Адвокат приостановился и спросил, обернувшись вполоборота к Макаронову:

— Как ты думаешь, этим переулком пройти на Московскую ближе?

— Ах, как это странно, что мы встретились,— с искусно разыгранным удивлением вскричал Макаронов.— Я было решил идти в ту сторону, а потом вспомнил, что мне сюда нужно. К тетке зайти.

«Ловко это я про тетку ввернул»,— подумал, усмехаясь внутренне, Макаронов.

— Ладно уж. Пойдем рядом. А то, смотри, еще потеряешь меня...

— Нет ли у вас места письмоводителя?— спросил Макаронов.

— Ну и надоел же ты мне, ваше благородие,— нервно вскричал адвокат.— Впрочем, знаешь что? Я как будто устал. Поеду-ка я на извозчике.

— Поезжайте,— пожал плечами Макаронов. («Ага! Следы хочет замести... Понимаем-с»). А я тут к одному приятелю заверну.

Маныкин нанял извозчика, сел в пролетку и, оглянувшись, увидел, что Макаронов нанимает другого извозчика.

— Эй,— закричал он, высовываясь.— Как вас... письмоводитель! Пойди-ка сюда. Хочешь, братец, мы экономию сделаем?

— Я вас не понимаю,— солидно возразил Макаронов.

— Чем нам на двух извозчиках трепаться — поедем на одном. Все равно ты ведь от меня не отвяжешься. А расходы пополам. Идет?

Макаронов некоторое время колебался, потом пожал плечами и уселся рядом, решив про себя: «Так даже, пожалуй, лучше. Можно что-нибудь от него выведать».

— Ужасно тяжело, знаете, быть без места,— сказал он с напускным равнодушием.— Чуть не голодал я, вдруг — вижу ваше объявление в газетах насчет письмоводителя. Дай, думаю, зайду.

Адвокат вынул папиросу.

— Есть спичка?

— Пожалуйста. Вы что же, адвокатурой только занимаетесь или еще чем?

— Бомбы делаю еще,— подмигнул ему адвокат.

Сердце Макаронова радостно забилось.

— Для чего?— спросил он, притворно зевая.

— Мало ли. Знакомым раздаю. Послушайте... У вас борода слева отклеилась. Поправьте. Да не так!.. Ну вот, еще хуже сделали. Давайте я вам ее поправлю. Ну, теперь хорошо. Давно в охранном служите?

— Не понимаю, о чем вы говорите,— обиженно сказал Макаронов.— Жил я все время у дяди — дядя у меня мельник, а теперь места приехал искать... Может, дадите бумаги какие-нибудь переписывать или еще что?

— Отвяжись, братец. Надоел.

Макаронов помолчал.

— А из чего бомбы делаете?

— Из манной крупы.

«Хитрит,— подумал Макаронов.— Скрывает. Проговорился, а теперь сам и жалеет».

— Нет, серьезно, из чего?

— Заходи — рецептик дам.

II

Подъехали к большому дому.

— Мне сюда. Зайдешь со мной?

Понурившись, мрачно зашагал за адвокатом Макаронов.

Зашли к портному.

Маныкин стал примерять новый жакет, а Макаронов сел около брошенного на прилавок адвокатом старого пиджака и сделал незаметную попытку вынуть из адвокатова кармана лежавшие там письма и бумаги.

— Брось,— сказал ему адвокат, глядя в зеркало.— Ничего интересного. Как находишь — хорошо сидит жакет?

— Ничего,— сказал шпик, пряча руки в карманы брюк.— Тут только как будто морщит.

— Да, в самом деле морщит. А жилет как?

— В груди широковат,— внимательно оглядывая адвоката, сказал шпик.

— Спасибо, братец. Ну, значит, вы тут кое-что переделаете, а мы поедем.

После портного адвокат и Макаронов поехали на Михайловскую улицу.

— Налево, к подъезду,— крикнул адвокат.— Ну, милый мой, сюда тебе за мной не совсем удобно идти. Семейный дом. Ты уж подожди на извозчике.

— А вы скоро?

— Да тебе-то что? Ведь ты все равно около меня до вечера.

Адвокат скрылся в подъезде. Через пять минут в окне третьего этажа открылась форточка и показалась адвокатова голова.

— Эй, ты... письмоводитель, как тебя? Поднимись сюда, в номер десятый на минутку.

«Клюет»,— подумал радостно Макаронов и, соскочив с извозчика, вбежал наверх.

В переднюю высыпала встречать его целая компания: двое мужчин, три дамы и гимназист:

Адвокат тоже вышел и сказал:

— Ты, братец, извини, что я тебя побеспокоил. Дамы, видишь ли, никогда не встречали живых шпиков. Просили показать. Вот он, mesdames. Хорош?

— А борода у него, что это... Привязная?

— Да, наклеенная. И парик тоже. Поправь, братец, парик. Он на тебя широковат.

— Что, страшно быть шпиком?— спросила одна дама участливо.

— Нет ли места какого?— спросил, делая простодушное лицо, Макаронов.— Который месяц я без места.

— Насмотрелись, господа?— спросил адвокат.— Ну, можешь идти, братец. Спасибо. Подожди меня на извозчике. Постой, постой... Ты тут какие-то бумажки обронил. Забери их, забери... А теперь иди.

Когда адвокат вышел на улицу — Макаронова не было.

— А где этот фрукт, что со мной ездил?— спросил он извозчика.

— Да тут за каким-то бородастым побёг.

— Этого еще недоставало! Не ждать же мне его тут на морозе.

Из-за угла показалась растрепанная фигура Макаронова.

— Ты где же это шатаешься, братец?— строго прикрикнул Маныкин.— Раз тебе поручили за мной следить — ты не должен за другими бегать. Жди тебя тут! Поправь бороду. Другая сторона отклеилась. Эх, ты... На что ты годишься, если даже бороды наклеить не умеешь. Отдери ее лучше да спрячь, чтоб не потерялась. Вот так... Пригодится. Засунь ее дальше — из кармана торчит. Черт знает что! Извозчик! В ресторан «Слон».

Подъехали к ресторану.

— Ну, ты, сокровище,— спросил адвокат.— Ты, вероятно, тоже проголодался? Пойдем, что ли.

— У меня денег маловато,— робко сказал сконфуженный шпик.

— Ничего, пустое. Я угощу. После сочтемся. Ведь не последний же день вместе. А?

«Пойду-ка я с ним,— подумал Макаронов.— Подпою его да и выведаю, что мне нужно. Пьяный всегда проболтается».

*
* *
*

Было девять часов вечера. К дому, в котором помещалось охранное отделение, подъехали на извозчике двое: один мирно спал, свесив набок голову, другой заботливо поддерживал его за талию.

Тот, который поддерживал дремавшего, соскочил с пролетки и, позвонив у дверей, вызвал служителя.

— Вот,— сказал он ворчливо.— Привез вам сокровище. Получайте... Ваш?

— Будто наш.

— Ну, то-то. Тащите его, мне нужно дальше ехать... И как это он успел так быстро и основательно нарезаться... Постойте, осторожнее, осторожнее! Вы ему так голову расквасите. Берите под мышки! Постойте... У него из кармана что-то выпало. Записки какие-то литографированные... Гм!.. Возьмите... Ах, чуть не забыл... У меня его борода в кармане. Забирайте и бороду. Ну, прощайте. Когда проспится, скажите, что я завтра пораньше из дому выйду,— чтоб не опоздал. Извозчик, трогай!

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ О СТАРОЙ ШКОЛЕ

РАССКАЗЫ О ДЕТЯХ

РАССКАЗЫ

Аверченко А. Т.

А19 Кривые Углы: Рассказы/Сост. и предисл. П. Горелова; Худож. В. Юрлов.— М.: Сов. Россия, 1989.— 304 с., ил.

В сборник вошли лучшие рассказы известного русского писателя-сатирика. Среди них — цикл «Рассказы о старой школе»,— искрящееся юмором воспоминание о «старой», но никогда не стареющей школе детской души, оно не только веселит и увлекает читателя, но и учит, наставляет, воспитывает.

А $\frac{4803010101-354}{М\text{-}105(03)89}$ 207—1989 **Р2**

ISBN 5—268—00867—6

Для детей старшего школьного возраста

Аркадий Тимофеевич Аверченко

КРИВЫЕ УГЛЫ

Редактор
К. К. Покровская

Художественный редактор
М. В. Таирова

Технический редактор
В. А. Преображенская

Корректор
Т. Б. Лысенко

ИБ № 5558
Сдано в набор 03.04 89. Подп. в печ. 30.08.89. А05176. Формат 84×108/32. Бум. типогр. № 1. Гарнитура академическая. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.-отт. 15,96. Уч -изд. л. 16,52. Тираж 675 000 экз. (1-й з-д 1—200 000 экз). Заказ № 116. Цена 1 р. Изд. инд. ЛД-273.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия»

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»